

# ВИКТОР ВАСНЕЦОВ



Владислав  
Тыцребекин



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

На основании исследования имеющихся публикаций и новых материалов, касаясь сложнейших проблем художественной жизни России конца XIX – начала XX века, в книге рассказывается о выдающемся русском живописце Викторе Михайловиче Васнецове. Книга сопровождается многочисленными иллюстрациями.

---

- [Владислав Бахревский](#)
    - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
    - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
    - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
    - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
    - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
    - [ПОСЛЕДНЕЕ](#)
    - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. М. ВАСНЕЦОВА](#)
    - [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
-

**Владислав Бахревский**  
**Виктор Васнецов**

# ГЛАВА ПЕРВАЯ

## РЯБОВО

Сидя на печи – и видно, и слышно, и ничего-то не боязно: ни зимы, ни человека пришлого.

В доме нынче странники. Их четверо. Стряпуха поставила перед ними каравай хлеба да горшок со щами.

Звезды на щак частые, и все золотые. Один из едоков, совсем уж дедушка, вытянул из-под онучей деревянную ложку, отер ладонью, обдул, сунул в горшок.

– Стоит ложка! Добрый дом! Пошли бог хозяину и хозяйке здоровья да прибыли.

Странники крестятся на икону, хлебают, покряхтывая, посапывая, – намерзлись.

– Горячи щи-то! С мясцом. Люблю мясцо.

– Сытно, да грешно.

– Зато в брюхе не урчит. Пустыми щами хоть по горло залейся, жижа вся – в пот, и уж через час кишка кишке песни нудит.

Странник со своей ложкой веселыми глазами постреливает на печь.

– Айда, ребятишки, с нами хлебать! Воробьиным хлебцем побалую.

– Воробьиным?! – Тонкое личико мальчика светлеет, но в глазах строгость и укор – дедушка пошутил?

– Гляди! – Веселый странник достает из котомки каравай величиной с детскую ладошку. – Вчера весь день шли не евши. Загоревали. Тут воробей пролетал, да и пожаловал нас воробьиным своим подаянием.

Второй раз упрашивать не надо.

Старшему мальчику лет семь, младшему и трех, наверное, нет. Старший делит воробьиный хлеб на четыре части.

- А это кому? - спрашивает странник.

- Папеньке и маменьке.

- Вот оно как! В добром доме и детки добрые.

Входит стряпуха с горшком каши на рогаче.

- А вы уж тут как тут!

Старший мальчик вдруг страшно краснеет, разламывает свой кусочек хлеба надвое.

- Это воробьи странникам послали! Стряпуха берет хлеб, серьезно съедает.

- Скусно!

- Скусно! - кивают белыми головами братья, и оба как два солнышка, большое и маленькое.

- Как зовут-то их? - спрашивает стряпуху старик.

- Витюша и Петяша.

За окнами синё. Значит, странники останутся ночевать. В глазах старшего, Витюши, и радость, и беспокойство.

...На улице скрипит снег, шлепает веник по валенкам. В клубах морозного пара входят раскрасневшиеся батюшка Михаил Васильевич и матушка Аполлинария Ивановна.

- Как на облаке! - срывается с губ Витюши.

- Как... как на обла-на-оке! - подхватывает маленький, смеша взрослых.

- Рано нынче зима! - Михаил Васильевич снимает шубу и шапку.

- Ахти крепкая! - вздыхают странники. - Уж мы-то ее на себе вот как чуем!

- Далеко ли идете?

- В Кайские леса, к подвижникам.

- Глухое место.

- В глухих только и спасаться.

Витюша стоит напряженный, глаза то вскинет на отца, то опустит.

- Оставайся с гостями! - разрешает Михаил Васильевич.

У мальчика от радости даже уши вспыхивают.

- Нас странники хлебушком воробьиным угостили. Вот! И тебе, и маме.

- Спасибо, дети! - Аполлинария Ивановна отведывает хлеба и забирает Петяшу на руки. - Спокойной нам ночи, добрые люди! Отдыхайте с дороги.

Стряпуха стелит на полу старые тулупы, а маленький хозяин уже на печи.

Лучина в светце догорает. В поддон с водою падают и шипят последние угольки.

Странники ложатся на тулупы, а веселый и самый старший лезет на печь.

- Какой завтра день-то? - спрашивают с пола.

- Святого пророка Ахии и блаженного Иоанна Власатого. Оба великие господни старатели. Много им бог открыл.

- Я про такого пророка и не слыхивал, - признается один из странников.

- А вам бог много открывает? - тихонько спрашивает Витюша.

- Премудростей господних изведать не сподобились, - вздыхает старик. - А белый свет все же видывали... Ну, про что тебе рассказать, голубчик?

- Про море.

- Ишь ты! Живешь среди лесов, а мечтаешь о море. Видно, душа у тебя, как у птицы.

Старик умолкает, не зная, видно, с чего начать, а кто-то из его товарищей бурчит:

- Ничего в нем в этом море нет. Вода и вода. Был я на Черном, был и на Белом - вода и вода.

- Не-ет! - Старик улыбается во тьме. - Скажешь тоже - вода и вода. Идет корабль по синему, как по

небу. А бывает, и не углядишь, где небо, где море. Сольются стихии – и такой восторг, словно птица Сирий пролетела над головой.

– А кто это, птица Сирий? – замирая сердцем, спрашивает мальчик.

– Птица, зовомаю Сирий, пребывает в Едемском раю. Ее пение обещает праведникам вечную радость. Живущие же во плоти гласа птицы Сирий не слышат, ну а кто услышит, тотчас забудет себя и пред богом предстанет. А еще есть птица Алконост. Эта обитает на реке Ефрате возле райских кущ. Когда сия птица пение испускает, то уж себя не помнит, а кто вблизи ее будет, тот разумом не устоит, ибо Алконост считывает письма, какие у бога запечатлены на свитке судеб.

– Зима-то коли такая жестокосердная постоит с неделю, – переводит разговор на житейское один из странников, – то, пожалуй, до озимых достанет. Снег неглубок, а у мороза когти, как у медведя.

– Бог не попустит! – вздыхает кто-то из лежащих на полу. – Война ли, мороз, город строят али ломают, праздник ли у царя, поминки ли, а в ответе все крестьянин. Ему для такой жизни шею бы надо иметь бычью.

– Или как у исправника! Старик смеется.

– У иных крестьян шеи тоже подходящие. Прошлым летом в Порецк я забрел. Вот, доложу вам, живут. У каждого пятистенок.

– Чего они сеют-то в землю, уж не серебро ли?

– Сеют лук, а кормятся – подаянием. Все, как один, побирушки!

– А куда барин смотрит?

– Барину деньги подавай, а как добыты, он и знать не хочет.

– Не исхитришься – не проживешь.

– А я вот прожил! – ерепенится старик. – Всю жизнь без хитрости прожил – и душе моей спокойно. И ничего-

то я не желаю.

- Желаешь!

- Это чего же?

- Ковер-самолет.

- Верно! - Старик даже причмокивает. - Эх, ребяташки! Вы только помаракуйте мозгами-то!.. Летишь! В небе, тихо, и на земле тихо. Леса, реки, туманы белые. А потом глядь, город с башнями, с куполами...

Солнце на замороженном окне как жар-птица. В людской никого! Ушли!

Ноги в валенки, шубу на плечи. Шуба до самой земли. За старшим братом Николаем матушка дала донашивать. А шапка своя и рукавички свои.

Огромные деревья за усадьбой в кипени инея. Солнце щекастое, малиновое. Снега то полыхают, то меркнут. В небе, движимое воздухом, колышется колючее морозное облако. Мальчик бежит по дороге, но околица уже за третьим домом.

Пусто на дороге.

Дорога припорошена мелким сеном, копну спозаранок провезли. Не видно следов!

Мальчик оглядывает поляну у подножья черных высоченных лип. Вот отсюда они и улетели на ковре-самолете, коли следов-то нет!

В доме переполох: значит, будут гости! Мама со стряпухой хлопчут у печи, пахнет пирогами. Детям дают по пирожку, по кружке молока и выставляют с кухни.

Младший кукуется, а старшему - свобода!

Его санки самые быстрые в Рябове, со стальными полосками па полозах. Мчат они седока преданно. Все скорей, скорей! Жуть и веселие в сердце! Веселие и жуть!

По накатанной дорого с горы, с «прыжка», на запруду и по льду.



Снизу запорошенное снегом село, как на рождественской картинке.

Церковь – как наседка, а дома, как цыплята. Дом отца дьякона, дом псаломщика, дом пономаря, избашка церковного сторожа. Их дом. Он самый большой здесь. Батюшка Михаил Васильевич – не дьякон и не пономарь – священник.

Мужики и бабы за глаза о батюшке дурного не говорят. Батюшка за всех обиженных ходатай.

...Солнце, поднявшись над деревьями, слепит глаза. На снег тоже не посмотри – огнем горит! И в сердце зайчиком радость – не жалко солнцу солнца для их Рябова! Вон его сколько!

И тотчас на радость набегают, притемняя, тревога.

Как же это солнце находит Рябово? На такой-то огромной земле?! Отчего солнце знает его, Витю Васнецова, а царь не знает? Отчего солнца хватает всем, и куполам на церкви, и лесу, и самой малой снежинке?

И уже не тревога, печаль сжимает ему сердце. Солнце любит всех, а вот много ли у него любви? Хватит ли ее, чтобы любить всех? Он начинает быстро вспоминать, кого любит: папу, маму, дедушку Кибардина, брата Николая – ах, как он далеко теперь, в Вятке! – Петяшу, стряпуху, вчерашних странников, соседей, мужиков и баб из окрестных деревень – прихожан их церкви, конюха Кирю... Он рад и других людей любить, но только не знает их.

Но что это? Из церкви валом валят люди. Впереди хоругви, иконы – Крестный ход.

Он бежит на гору. Дети отца дьякона тараторят наперебой:

– Оп-п-полчение! Вражью силу идут воевать!

– Вятские пошли! На турку! На англичан с французами!

Крестный ход троекратно обходит храм, через ворота спускается на дорогу. Благодичинный, священник, дьякон и весь причт с холма кропят воинство святой водою.

Батюшка Михаил Васильевич сильным, светлым голосом возглашает:

- И даждь им сердце мужественно на сопротивныя враги...

Женщины утирают глаза концами платков, мужчины и дети кричат «ура!». И Витя кричит «ура!». Его душа озарена восторгом: он ведь тоже частица великой русской силы.

Благочинный высок и грузен. Борода у него шелковая, на пальцах горящие огнями перстни. Он румян, добр и одновременно величествен. К нему под благословение подводят детей. Петяша улыбается и нагибает голову. Витя стоит как столбик, но смотрит на благочинного во все глаза: если воинов благословил сам благочинный, так ведь, наверное, их уж не убьют на войне?

Так он думает, и его завораживает человек, могущий заступиться перед богом за любого человека.

Благочинного серьезный взгляд мальчика настраивает на веселый лад.

- Как тебя зовут? - спрашивает он, удобно располагаясь в отцовском кресле.

- Виктырь!

- Виктор - победитель. Брат у тебя Николай, что значит - победитель народов, а ты кого победил? Видно, тараканов?

Все смеются, и благочинный звонче и веселее всех. Вите обидно, что он победитель тараканов, но он не смеет убежать из гостиной.

Стряпуха вносит огромный пирог в виде ладьи.

- О-о! - восклицает благочинный, - на таком корабле только из варяг да в греки!

- К отплытию! К отплытию! - басит на весь дом отец дьякон.

Взрослые хвалят стряпуху, придвигаются к столу, звенит посуда, голоса звенят. О Вите наконец забыли.

Он уходит в людскую, садится к окошку и ногтем выцарапывает на ледяной корочке свой корабль. Парус уже готов - мороз постарался. Так и сверкает звездами.

Приходит стряпуха.

- Ты что пригорюнился? Боишься, что пирога не останется? Гляди-ко!

Она достает из печи точно такую же ладью. Только маленькую, но зато с парусом из капустного листа.

- Вот и наш брат в накладе не остался! - смеется стряпуха. - Отведай. Наш-то пирог с яблочком!

И заговорщицки шепчет мальчику:

- Аполлиария Ивановна всполошилась, как благочинному-то приехать. Чем угощать?! Ничего нету! А я говорю: «Успокойся! Голь на выдумки хитра!» Едят за обе щеки, нахваливают, хоть и разносолов нет, и того нет, и пятого, и десятого... Рыжики в пироге - хоть царю подавай.

Мальчик думает про ополчение. А у стряпухи свой разговор.

- В прежние времена ублажить благочинного - все равно что от грозы спастись. Твой дедушка, сказывала Аполлиария Ивановна, до того был небогат, что накормил благочинного одним только студнем да кашей ячменной. Так благочинный твоего дедушку чуть живьем не съел.

- Как?

- Ну, это так говорится - живьем съел. Замордовал, одним словом.

Стряпуха достает свечу, вставляет в светец вместо лучины.

- Сегодня всюду велено свечи жечь. Витя наконец задает свой вопрос.

– А куда ополчение пошло?

– В Крым. За христиан пошли биться!

И понял Витя: надо вырасти богатырем. У богатыря сила, где ее добыть?

Повадился дрова колоть. Конюх Киря смекнул: паренек силу свою ищет, стал указывать на кряжи.

– А ну-ка к этому подступись!

Сосновая чурка в три обхвата. Витя сначала с краев полешки оттяпывал, да сам на себя и рассердился: не силой действует, хитростью. И по центру, со всего маху – а-а-ах! Чурка и распалась надвое.

– Молодец! – похвалил Киря и подкинул березовый чурбанчик, не больно толстый и без сучков вроде бы.

Витя хватить его по центру, а колун отскочил, как от железа.

Топор не просекает, колун не колет. Клин вошел по макушку. Ни туда ни сюда.

– Ничего, – ободрил Киря, – дерево не человек. Не нынче, так завтра поддастся. Не отступай!

И сам ушел по делам: Витю от усталости уже шатает.

Скинул шубейку, снегом умылся, повалил чурбак набок, давай вдоль рубить. Древесина свилеватая, упирается. Зашвырнул Витя в сердцах топор – и домой. Сел книжку читать. Глаза читают, страницы летят, а в голове – пусто.

Черпнул из бадейки кружку квасу – и к поленнице.

Уж рубил он тот чурбак березовый и с обоих концов, и клал его, со стороны на сторону поворачивал. Не дерево – Евпатий Коловрат. Живого места на теле нет, а не раскалывается.

Пошел Витя за околицу. Рук от усталости не чует.

Ели вдоль дороги в инее. Бояре, а не деревья.

Вышел на гору. Окрест поглядел. Леса, снега. Небо, как глаза матушкины, тихое. В воздухе серебряные

иглочки посверкивают. Морозно. Ни лесам, ни снегам – конца-края нет. Богатырское место.

Мужик на розвальнях проехал. Не здешний, но Витя, радуясь человеку, снял шапку. Мужик свою приподнял.

«Как богатырь богатырю», – подумалось мальчику, и опять пошел он к несносному чурбану.

Матушка обедать позвала.

А после обеда сражение продолжилось. И тупо бил, и с приглядкой, выбирая податливое место. И в отчаянье – поперек, поперек!

Уж звезда показалась, когда, тяжело заскрипев, разъехался измочаленный чурбан надвое.

Киря тут как тут.

– Ну и дерево! Будто его из конского волоса сплели. Силен, Михалыч! Силен! Я бы этой чурки, право слово, не одолел. Кинул бы прочь, пусть сгниет, проклятая.

У Вити порадоваться сил не осталось. Ушел за баньку, прислонился спиной к срубам и заплакал: каждая жилочка в нем болела и ныла. И ведь еще и горько: чурку жалел. Теперь что? Кинут в печь – и сгорит.

Вот уж педелю метет на дворе. Время от времени Киря ходит на колокольню бить в колокол, подает надежду на спасение сбившимся с пути. Звоны колокола скучные, одинокие...

Ночью Витя слышал, как выли волки. К нему даже батюшка в спальню приходил.

– Не боишься?

– Не боюсь, – сказал правду Витя, а когда отец ушел, представил себе ополчение среди белого поля, метель, волчью стаю и долго, горячо молился о здравии русского воинства.

А с утра все то же. Окна, как бельма. Ветер в трубе кряхтит, ворочается и вдруг стонет, будто кутенку хвост отдавили.

Петяша верхом на кочерге, но копь его тоже понурый, бродит из угла в угол, едва перебирая ногами.

- Потя-молотя, - твердит всадник, - потя-молотя.

- Сегодня потя! - сердится на брата Витя. - Теперь до самого Рождества потя.

«Потя» на домашнем языке постный день, «молотя» - молочный. «Потя» каждую среду и пятницу и по большим постам.

Скучно.

Даже колокол вот уже третий день как не звонит. Батюшка с матушкой в церкви. Стряпуха спит.

- Я как медведь, - говорит она, - меня зимой в сон клонит.

Витя берет с полки журнал. Журналы в их доме старые. Батюшкины друзья присылают из Вятки комплекты прошлогодних, выписывать денег нет.

Хоть смотрены журналы по многу раз, Вите все равно интересно рассматривать картинки - вдруг увидишь то, что проглядел. И еще есть у мальчика тайная надежда застать картинку врасплох. Пока книга закрыта, наверное, на картинках все, как в жизни: лошади скачут, люди разговаривают, корабли плывут, пушки палят...

Витя разом открывает журнал и цепко смотрит на застывшее перед ним море, корабль, остров. На острове пальмы и вулкан с белым облачком пара над кратером.

В зарослях джунглей прячутся дикари. Один с копьем припал к земле, другой с луком и с отравленными стрелами сидит на дереве среди лиан.

На корабле убрали паруса и опускают якорь. Остров никем еще не открыт, матросов пугает тишина и неизвестность.

Пока этот корабль - чужой. Все здесь чужое. Чужие дикари, чужое море, но Витя уже умеет «чужое» превращать в свое. Он берет бумагу, отточенный отцовский карандаш и срисовывает картинку. Он мог бы срисовать ее очень похоже, но, чтобы картинка ожила, чтобы в ней была история не о чужом корабле, а о его,

Витином, нужно нарисовать не этот остров, а другой, похожий па него. И еще надо нарисовать самого себя. Себя он изобразил на вершине кратера. Фигурка получилась корявая и нескладно большая, чуть ли не с гору. Тогда фигурка превращается в черный дым – вулкан извергается.

Приходят батюшка и матушка. Батюшка смотрит, как рисует сын.

– Хорошо! Только карандаш держи свободнее. Не нажимай. Вот смотри.

Берет у Виктора карандаш и легкими, неуловимыми черточками рисует окно, лавку под окном, кошку на лавке...

– Папа! – изумляется Виктор. – Ты художник.

– Нет, Витя. Чтобы стать художником, надо много и долго учиться. Вот прадедушка твой, Козьма Иванович, мог бы в художники выйти... Поедешь учиться, поглядишь его рисунки. До сих пор выставлены в Духовном училище.

– А что же он не учился?

– Средств не было. Проклятых средств! Да он и не жалел. Он свое священство, хоть и беден был, но ставил высоко. По призванию пошел в священники.

– А другие идут не по призванию?

– Бывает и так, не по призванию. Таким-то еще и легче. Они не о деле пекутся, о себе. Перед начальством угодничают... Но что это, сын, мы проводим время в таких скучных разговорах? Не лучше ли почитать... На какой странице мы остановились? А впрочем, страницы ты и не помнишь... В прошлый раз уснул.

– И я к вам! – говорит матушка Аполлинария Ивановна. Она усаживается у печи с вязанием, отец садится в кресло. Петяша калачиком – у ног матери, Витя с новым листом бумаги за столом.

- Итак, «Атлантический океан». - Михаил Васильевич открывает журнал, заложенный четками. - «Кораблям, шедшим из Европы в Америку, обыкновенно нечего было бояться флибустьеров, ибо на них по большей части находились только товары, которых продажа была и обременительна и скучна для разбойников; напротив, корабли, нагруженные золотом и драгоценными камнями и возвращающиеся в Европу, почти всегда становились их добычей, ибо флибустьеры никогда не пугались превосходства в силе...» Витя, а ты помнишь, почему морские разбойники назывались флибустьерами?

- Потому что плавали на открытых барках, называемых «флибот».

- Прекрасная у тебя память. Уверен, будешь получать высокие баллы. Ну, продолжим. «Петр де Гран, один из их вождей, родом из Диеппа, имел только одну барку с четырьмя пушками и двадцать восемь человек; с этой горстью людей напал он на большой вице-адмиральский корабль, зацепился за него крючьями и собственноручно прорубил в нем большое отверстие, так что он начал тонуть; в это самое время Петр и его товарищи вскочили на него и так испугали этим испанцев, что ни один из них не взял оружия для защищения себя. Вошедши в каюту начальника корабля, который играл в карты и ничего не знал о случившемся, он приставил к груди его пистолет и принудил сдаться...»

Подражая отцу, быстрыми линиями Витя рисует вице-адмиральский корабль и барку флибустьеров. Пираты лезут через борт, в руках у них кривые ножи, они все с трубками, а на корабле мешки с золотом.

- Хоть бы непогода унялась, - говорит Аполлинария Ивановна, распуская клубок. - Как бы Киря не заплутал.

- Киря не заплутает, - успокаивает матушку Михаил Васильевич, - да ведь и лошадь умница.



«Коля на каникулы едет! – ликует Витя. – Скорее бы проходил этот долгий вечер! Скорее бы!»

И карандаш сам собою рисует крытые санки, лошадь, кучера в тулупе...

Витя просыпается, как выныривает из пушистого теплого сугроба. Комната наполнена тихим добрым светом. Солнце словно прикрыло веками глаза, чтобы не разбудить детей невзначай.

Сегодня день необычный, но, заспавшись, Витя никак не вспомнит, в чем это необычайное? Молотья? Нет! Нынче сочельник – потя. Да еще какая потя! Сегодня не едят до первой звезды.

Ах, как трудно ждать вечера, но какая радость первому увидеть на небе светлую искорку.

Витя улыбается, встает... Но что это – на пустующей Колиной кровати спит человек. Витя поднимается на носки – Коля! Это Коля!

Руки и ноги сами собой сгибаются и выпрямляются, и Витя вылетает в соседнюю комнату в длинной ночной рубахе, встрепанный, пляшущий невероятную пляску радостного дикаря.

– Коля! Коля! Коля!

Все домашние собираются поглядеть на счастливое, такое непривычное в Вите буйство. Батюшка, матушка, дедушка Кибардин, стряпуха, вставший спозаранок Петяша, даже Киря и пробудившийся наконец Коля.

А потом голодный, сладко томительный день. Не только дети, но и взрослые чаще обычного подходят к окнам, смотрят – темнеет ли?

– Это еще дни короткие! – говорит стряпуха. – А вот коли бы в июне звезды ждали, живот набок бы съехал.

Петяша украдкой проверяет свой живот. Ему, как маленькому, давали сухарик, но он тоже голоден и тоже ждет не дождется первой звезды. Наконец терпения уже ни у кого не осталось. Слюнки текут, у

стряпухи напечено, напарено, наварено, мазюней<sup>[1]</sup> пахнет. Все выходят на улицу.

Ели совсем уже черные, а снег синий, небо же, наоборот, серебряное, четко очерченное с двух сторон лесом, похоже на поднос для осетра.

- Горит! - воздев руки, радостно вскрикивает Михаил Васильевич, и все крутят головами и спрашивают: «Где? Где? Ну, где же?»

И находят вдруг, и замирают.

- А вон! - кричит Витя.

- А вон! - тычет в небо кулаком Петяша. Никто не торопится за столы, за еду. Один Коля вдруг убегает в дом и скоро возвращается. Но что это? Из рук его сыплются острые сверкающие звездочки, целый вихрь звездочек.

- Ах! - говорит Петяша.

И все смотрят на это диво, и брат, любимый, жданный, становится для Вити существом необычайным. Он - маг, житель чудесного места, зовомого Город.

Расплескав все огни, волшебная палочка в руках Коли гаснет, и Коля бросает ее в снег.

- Дети, дети, - радостно волнуясь, говорит Михаил Васильевич, - посмотрите же на небо! Вы посмотрите только, какие миры, какие светы смотрят на нас. Это ведь все - солнца! Каждая пылинка небесная - это солнце! Ах, разума не хватает объять величие сих просторов, но, слава богу, человеку дано - радоваться. Смотрите же! Смотрите! Нет зрелища более достойного и прекрасного, чем небо, полное звезд. И помните, что бы с вами ни случилось в жизни, вы - счастливы, потому что видели это лучшее из чудес: паше небо.

Витя смотрит, смотрит на звезды во все глаза, и ему чудится, что он напивается их таинственным, их тревожащим душу светом.

И тут из дома выходит стряпуха и кличет:

– Разговляться!

– Раз! Говляться! – кричит Петяша, мчится к дому, падает в снег, вскакивает и опять бежит. – Раз! Говляться!

Их маленькая Батариха бушует. Ночами морозы успевают сковать землю, застеклить лужи. Тут только не проспять, чтобы первому промчатся по Рябову, круша льды, а потом замереть над заспавшимся на дороге ручьем, разглядывая белые пузыри воздуха на черной остановившейся воде. Снег в лесу поднялся дыбом, как шерсть на разъяренном медведе. Деревья не шелохнутся, ночью колдунья зима очаровала их, приморозила к месту, но перед разошедшейся Батарихой – никакие чары не сильны... Несет, переворачивает, заливает. А тут и солнце на подмогу. Начинается пиршество Весны.

Оттаивает крыльцо, оживает ручеек на дороге, проносятся стайки птиц. Ветер раскачивает вершины деревьев. И к обеду всё, всё – в движении: льется, мчится, гудит, звенит, грохочет!

Льдины, как белуги, высигивают из омутов Батарихи. Дальше их путь в речку Рябовку, из Рябовки в Кардягу, в Чепцу, в Вятку, в Каму, в Волгу. Весна!

Грязь такая, что о езде думать забыли, на месяц, а то и на два. Дожди моют избы, леса, землю, залежавшиеся сугробы растут книзу. И с каждым днем прибывает птиц.

Однажды, весь в свету, пропитанный запахами утреннего воздуха, приходит батюшка, лицо как у заговорщика, а губы сжаты, вот-вот рассмеется.

– Ребята! – говорит он. – Скорее одевайтесь! Да скорее же вы! Скорее! Листочки! Зеленехонькие!

И сам весь в нетерпении, словно листочки вспорхнут и улетят.

А тут и пасха. Сладкий творог, крашеные яйца. Все друг у друга просят прощения за обиды, скопившиеся за год.

На пасху ополченцы, ходившие «на турку», надели мундиры.

- Как в Петербурге! - удивленно качал головою конюх Киря. - Всё военные, военные!

Ополченцы успели дойти до Владимира, откуда и возвратились за ненадобностью на войне. Не повоевали, а все - герои, да еще в мундирах.

Весна, весна!

А за весною - лето, лето окунается в осень, осень в зиму, зима оборачивается весной...

И вот уже Киря увозит в далекую Вятку и Колю, и Витю. Пришла пора учиться.

Священником был прадед, дед, отец, отец матери... Родовая дорога натоптанная. Старший брат в лучших учениках, и Витя уж заранее слово себе дал - учиться никак не хуже. Нельзя хуже. Нельзя опозорить любимого брата.

До Вятки девяносто верст. Все больше лесом, но чем дальше, тем все чаще деревни, села, церкви. И птицы. Столько птиц, оказывается, на белом свете! Поднимись они все в небо - получились бы облака. Поющие облака. Вот чудо-то!

Но чудо это придуманное, а впереди - город... Господи, да какой же он? Да когда же он? Это ведь и сердце не выдержит, ожидаючи!

Сердце выдерживает. Ему жить и жить. Ему столько еще всего - любви, волнений, недоумений, обарыванья, напора, но и немощи. Бессильной перед вечным, горькой перед человеческим, преходящим...

\* \* \*

Итак, в 1858 году десятилетний Виктор Михайлович Васнецов, второй сын сельского священника Михаила Васнецова, отправился на учебу торной дорогой своих дедов и прадедов – в Вятское духовное училище.

У Виктора Михайловича, родившегося 3(15) мая 1848 года, в отличие от отца и предков, был хотя бы правовой выбор. Император Николай I законом 1850 года освободил детей духовенства от обязательного обучения в духовных школах.

Строгости начались еще с Петра Великого. Предписав в 1714 году завести при архиерейских домах и знатных монастырях цифирные школы, Петр, как всегда, взял круто: учение для детей духовенства – обязательно, не желающих учиться – в солдаты, негодным в солдаты запрещено жениться.

Впрочем, угроза попасть в солдаты оставалась и при Николае I. По распоряжению 1829 года безместные служители и дети духовенства, не попавшие в училища или исключенные, увольнялись из духовного звания и как «праздные» забирались в солдатскую службу.

Надо помнить, что духовенство и церковь понятия далеко не тождественные... Церковь была опорой самодержавия испокон века, оправдывая и благословляя произвол власти. Высшие иерархи церкви соперничали в роскоши с царским двором, монастыри владели тысячами крепостных душ.

Но в то же самое время рядовое духовенство так никогда и не было выделено в привилегированное сословие. Юридически – да, а на деле – нет.

Духовное звание ни по каноническому, ни по светскому закону не знало права наследования. У прихожан сохранялся и оберегался обычай выбирать в священники лучшего, приходское общество всегда могло предложить на вакантное место своего кандидата.

Крепостничество, впрочем, уже при Алексее Михайловиче резко сузило сословный круг, годный к избранию для церковного служения. Собор 1667 года запретил посвящать крепостных людей, а потомство посвященных было возвращено в крепостное состояние.

«Тишайший», первый из царей, кто посягнул на свободу духовенства, приказав забирать в солдаты детей попов, не умеющих читать.

Единственной большой привилегией духовенства явилось освобождение от подушного оклада, а вот от битья кнутом священников и дьяконов избавили только в 1801 году, а в 1808 году привилегию распространили и на их семейства.

Царская власть без особой охоты и спешки предоставляла духовенству привилегии. В 1724 году Петр почтил священников освобождением от тягостного воинского постоя, но уже в 1726 году московские власти вменили священнослужителям в обязанность нести ночную полицейскую службу и являться на тушение пожаров. Священников посылали к колодникам и в офицерские дома для работ.

Екатерина II, разделяя подданных па три рода: на благородных, средних и низкорожденных, отнесла духовенство к среднему, мещанскому роду.

Жизнь сельского священника никогда не была манной небесной. Постоянно находясь среди крестьян, зная сокровенную жизнь народа – ведь священнику исповедовались в самых тяжких грехах, – именно это сословие выдвинуло из своих рядов те великие демократически настроенные умы, которые стали подлинными вождями передовой думающей России: Белинского, Чернышевского, Добролюбова.

## **ГЛАВА ВТОРАЯ ВЯТКА**

Курс низших духовных училищ был рассчитан на шестилетнее обучение с тремя двухлетними классами. Три двухлетних класса были и в семинарии: риторики, философии, богословия. В училище преподавали наравне с другими предметами физико-математические науки, в семинарии – сельское хозяйство, медицину, естественные науки, библейскую историю, катехизис (основы христианской веры в вопросах и ответах), патрологию (деяния святых), полемическое богословие, церковную археологию, герменевтику (истолкование древних текстов).

Виктора Васнецова приняли сразу во второй класс училища.

На первое занятие пожаловал сам ректор.

Ряса на нем шелковая, нагрудный крест – не самоварное золото, что на отце, не горит, как жар, его блеск серьезен, в нем какая-то особая, не каждому человеку ведомая тайна, тайна сильных мира сего. Лицо ректора почти голубое, истомлено постами. Оно строго, неподступно, но оно притягивает.

– Вы вступаете на стезю познания сокровенных премудростей, – говорит ректор сильным, властным голосом. – Будущее служение ваше, будущая ваша жизнь принадлежит и богу и людям. Не познав божественного, вы не сможете быть полезными людям, не познав человеческого, не сможете служить богу. Помните об этом во все дни пребывания в стенах училища и семинарии.

Ректор обводит взглядом своих слушателей и указывает перстом на сидящего перед ним отрока.

- Скажи, что есть богослужение?

Глаза спрашиваемого наполняются ужасом. На шее у бедного вздрагивает, дергается жилка.

- Отчего такой страх? Вы же знаете это! Ректор тычет перстом в соседа.

Мальчик вихраст, одежда на нем сидит как-то боком, он и говорит, словно за ним гонятся:

- Богослужение, когда в колокола, да когда певчие, да когда батюшка, когда на Пасху, когда дьякон кадит...

Ректор бледнеет, но на лице его нет гнева и раздражения. Оно печально.

- Об истинах не гадают, истины знают. Кто ответит? Встало сразу двое.

- Ты! - указывает ректор на высокого тоненького мальчика.

- Богослужение есть богопочтение или благоугождение богу, выражающееся в молитве и других священных действиях.

- Ответ похвальный. С таким учеником приятно беседовать, а потому не изволишь ли назвать нам святого, к кому ты расположен душою?

- Я часто молюсь князю Александру Невскому.

- Любопытно. А какие святые, я подчеркиваю, святые подвиги защитника рубежей отечества тебе известны?

- Почитание благоверного князя началось сразу же по его погребению. Было чудо: святой сам протянул руку за разрешительной молитвой.

Лицо ректора озаряет улыбка. Впервые за целый час.

- Думаю, не ошибусь, предрекая тебе, отрок, большой успех на поприще священнослужителя. Как твое имя?

- Виктор Васнецов!

- Отлично, Васнецов!



Наконец-то урок, рисования! Учитель Николай Александрович Чернышев в класс входит медленно, глядя перед собой, не видя учеников, не слыша говора, который через минуту уже не говор, а базар.

У Васнецова слезы навертываются на глаза, он так ждал этого урока! Но ученикам дела нет до Николая Александровича, а тому нет дела до учеников. И это первый! Первый в жизни урок, научающий рисовать! Урок-то первый, но уже всем известно – Чернышев не страшный, Чернышев не наказывает, на уроках Чернышева хоть на голову стань!

И некоторые становятся... На голову, на руки, на руках ходят по проходу между столами. Николай Александрович не обращает на баловников никакого, совершенно никакого внимания...

– Вот, – говорит он скорее самому себе, нежели классу, – это есть куб. Поглядите на него внимательнее. На тени, какие на нем и какие от него. И рисуйте!

Кто-то щелкает семечками, кто-то в открытую читает светскую книжку. Васнецов – рисует. От старания губы так сжались, что заболели.

– Ничего! – Васнецов вздрагивает. Позванивая мелочью в карманах, возле его стола, склонив голову набок, стоит учитель. – Штриховочка жирновата. Надо легче.

Учитель берет карандаш из рук ученика, поправляет рисунок...

Но вот уж и конец уроку. Николай Александрович забирает куб и все так же медленно, никого не замечая, уходит. Он свое отбыл.

Васнецов бежит к брату, рассказывает, как все шумели, как все это неправильно, да как же такое может быть в духовном училище! Николай утешает.

– Не обращай внимания. Тебе интересно – рисуй. Николай Александрович добрая душа и художник очень

хороший. Ты старайся! Он заметит старание и пригласит в свою иконописную.

И верно. Пригласил!

В иконописной это был совсем иной человек. На глаз быстрый, острый, на слово щедрый.

- Вот поглядите! - приглашает он учеников к старой иконе. - И ты подходи ближе! Васнецов, голубчик, ближе! Тебе же из-за спин не видно... Вот это и есть строгановское письмо. Поглядите на нимбы. Это ведь не золотая краска, это сам свет. А каков Иоанн Предтеча?! Кто же скажет, что он не в звериных шкурах, но шкуры-то будто из золотого руна. Здесь от всего свет. От ног, рук, одежды. А взгляните в лицо. Скорбное лицо. В глазах - печаль. Печаль мировая, однако ж как оно светится. Скорбь тоже может быть светлой. Утешительной... Говорят, наши предки мало знали. Может, и мало, да умели много. Нам бы столько уметь.

И, спохватившись, Николай Александрович спешит поставить каждого к нужному, к посильному, чтоб получилось, чтоб нравилось.

...Учил, объяснял. Трижды мог повторить непонятное ученикам. Радовался, когда получалось, страдал, когда не выходило, больше самого ученика страдал.

Квартира, где жили и столовались братья Васнецовы, от училища была далеко, вставать приходилось рано, после занятий времени хватало поесть да приготовить уроки. А главное, с пяти часов вечера до восьми учащиеся могли подвергнуться инспекторской проверке. В эти часы положено учить правило, а стало быть, сидеть дома. Поколениями семинаристов была даже выработана формула ответа, каков прислуга или домашние давали инспектору, если ученик отсутствует: «Пошли по ландкартам да по лексиконам снискивать!»

- Когда же мы пойдем в город? - спрашивал Виктор старшего брата. - Уж столько времени живем, а я его и не видел.

- Да ты поди сам! - разрешил Николай. - Держись Раздерихинского оврага и не заплутаешь. Выйди к Трифоновскому монастырю - оттуда на реку Вятку вид с птичьего полета. Чтоб к городу привыкнуть, надо одному ходить.

Собравшись с духом, Виктор вышел за ворота дома. В Рябове ходить в одиночку было не страшно - ни в лесу, ни в лугах. Там все деревья свои и простор свой.

Но лес деревьев был милее леса домов. У каждого дома свой погляд, свой нор. Иные глядят недобро. Как на врага глядят. Избушки, дома, хоромы собираются в улицы - крест-накрест, крест-накрест.

Но страшнее всего многолюдье. Идут куда-то, поспевают. И все - чужие.

Учитель старших классов Александр Александрович Красовский прочитал им лекцию по истории Вятки. Раньше город назывался Хлыновом, Екатерина Великая переименовала. А основан Хлынов еще семьсот лет тому назад, и не какими-то добрыми поселянами - новгородскими ушкуйниками. Ушкуйник же все равно, что разбойник. Жили хлыновцы вольно. Москве покорились чуть ли не последними. Сначала Иван III Новгород смирил, а уж потом Хлынов. Может, благодаря хлыновцам само иго Золотой Орды поспешило пасть. Пока хан Ахмат стоял против Ивана III, проворные хлыновцы напали на его стольный град Сарай и ограбили.

Мальчик поглядывает на прохожих с опаской. Хоть ушкуйниками были прапрапра, а все-таки...

Только возле Трифоновского монастыря почувствовал себя уверенней.

О святом Трифоне им подробно рассказывал ректор.

Родом Трифон был из Архангельской губернии, а спастись ушел на Каму. Здесь и монахом стал. Послушание ему назначили тяжелое. Был Трифон пекарем. И заболел. В забытии явился ему святитель Николай, исцелил, напороочил подвижническую жизнь.

Ходил Трифон к пермякам, обращал в христианство язычников остяков и вогулов, а в 1580 году пришел в Хлынов и основал Успенский монастырь. Был Трифон к себе строг, во все дни свои носил власяницу и тяжелые вериги.

Покрестился мальчик на соборные кресты, успокоился и, потирая надранные морозом щеки, обежал монастырскую стену, чтобы поглядеть на речку.

И впрямь дух обмер от восторга. На сто верст видать. Белым-бело!

Лес чуть не по самые вершины утонул в снегах. Дымковскую слободу сразу и не углядеть, кабы печи не топили. Дым стоймя стоит. И тоже белый, словно и его инеем прихватило.

Сердце простору радуется. Поглядел мальчик на дали и вздохнул весело. А потом другой раз вздохнулось. Иначе. Через реку дорога, на дороге крестьянские розвальни. Этой дорогой можно до дома доехать.

Ах, высока гора! Далеко с нее видно. А все же Рябова, хоть пальцами веки раздвинь, – не усмотришь.

Виктор о тоске своей помалкивает, но вот уж другую неделю вся жизнь его – ожидание рождественских каникул.

Киря, улыбаясь, оглядывает седоков. Подтыкает старый тулуп поглубже в душистое, пахнущее Рябовом сено и крестится.

– С богом! Тронулись!

Две лошади, запряженные цугом, дружно взяли крытый рогожей возок. Мелькают каменные дома купцов, лавки, стены монастырей. Дорога уходит вниз,

на реку, и вот уже и река позади, а впереди лес, долгая дорога.

Поднятый ворот Кириногo тулупа седеет от инея, и на лошадкаx иней – расшалился мороз.

Уже сипело, когда Николай, встрепенувшись, потянул Кирию за плечо.

– Влево гляди!

– Мать честная! – охнул Кирия. – Возьми в сене. Виктор понял: случилось что-то серьезное, но брат посмотрел на него спокойно.

– До Полома не больше трех верст. Не посмеют вблизи жилья.

– Да кто же там?! – не понял Виктор.

Брат достал из сена топор, поправил рукавицы.

– Коля, ушкуйники, что ли, гонятся? – взмолился Виктор.

Николай не улыбнулся, отодвинув рогожу, показал в поле: цепочка черных точек на белом снегу, пять или шесть.

– Успеет, Кирия?

– Вроде бы не приближаются.

– Это волки?

Николай не ответил, и Виктор сжал кулаки, другого оружия не было. Ему почему-то не себя жалко, а батюшку с матушкой, ведь они ждут! И очень обидно: дома братец Аркаша родился, а они его не видели еще. И Аполлинария жалко, ему всего два года. Забудет, что у него братья были.

Виктор снова выглядывает из возка. Волки ближе, лошади чуют стаю, скоком пошли.

– Держись, ребятки! Главное, не перевернуться. Дорога под гору и сразу вверх на косогор. А на косогоре – деревенька, люди.

– А ты смелый, – улыбается Николай, обнимая брата.

– Нет, – говорит Виктор. – Я боялся.

- Да как же их не бояться! - Киря утирает вспотевшее лицо. - У них, у супостатов, зубы хуже пилы. Бояться - не грех. Главное - голову не терять. Ну да скоро Полом. Заночуем.

Ночь в чужом доме. И опять плывут навстречу поля, леса - белая, белая Родина.

И снова их застал вечер. Уж звезды начали загораться.

- Коля, что это?!

От звезды растекалась по небу светлая полоска.

- Не знаю.

- Мабуть, знак божий? - предположил Киря, задирая к небу голову. - Еще разок вверх, вниз и дома. Батюшка Михаил Васильевич все и растолкует.

Батюшка и впрямь уж за воротами заждался. Обнял сыновей, расцеловал.

- Звезда? Это не звезда - комета Донати. Про нее уж и в газетах написано. Ночи светлые - еще наглядимся. Скорее домой, а то у матушки уж глаза на мокром месте.

Учеба. Какая она несносно долгая для учащихся. Взрослый же человек вспомнит учебу и головой покачает: словно день единый.

Время - карусель. Летит по одному и тому же месту, и седоки одни и те же. Вроде бы ничего не происходит в мире, не меняется. Но, стоит сойти с круга хоть ненадолго, а потом вернуться на карусель, увидишь наконец: не тот город, не те люди, и сама жизнь - иная.

3 мая 1866 года Виктору Васнецову, семинаристу второго, философского, класса исполнилось восемнадцать лет. День был обычный, пирог имениннику обещан вечером, но уж то было замечательно, что сам про себя знал - восемнадцать лет! И свидание с гимназисткой после уроков.

Свидание назначено в самом центре города в сквере за оградой Александро-Невского собора.

Собор этот – всей Вятки центр, отовсюду его видно. Указующим перстом высоко в небо поднят, кругом собора галереи. Просторнейшие, любое многолюдье поглотят. И в то же время сооружение так ладно, так естественно, все равно что дерево, растущее из земли.

Сей Александр Невский – творение ссыльного архитектора Александра Лаврентьевича Витберга.

Вот уж кому не повезло! Заложил храм Христа Спасителя на Воробьевых горах. Проект грандиозный. Но уж больно мягок был Александр Лаврентьевич. В человека он, видите ли, верил, в высокое его предназначение.

Огромные средства умудрились разворовать подрядчики и чиновники у философа-зодчего. Строительство было прекращено, а главный строитель после суда отправился в Вятку.

Не повезло Витбергу и с собором Александра Невского, взорвали потомки, по фотографиям только и можно судить о красоте и величии замысла.

...Семинарист Васнецов уж десять раз обошел галерею – нет его гимназистки. Так приветлива была на последней встрече, так восторженна. Васнецов в нетерпении выходит за ограду и чуть не сталкивается с девушкой.

– Ах, это вы!

– Это я.

– Вам велено передать, что это несносно, нечестно, глупо, наконец!

Опешил.

– Нечестно? Глупо?

– Да! Да! Да! Глупо. Взялись писать сочинение, так писали бы как следует.

– Я как следует. Я очень старался.

– Вот и перестарались. Учитель сказал, что так пишут семинаристы. Ее теперь «семинаристом» зовут, и все смеются!

- Что же мне делать-то?

- Вам делать ничего не надобно. Вам надобно забыть мою подругу. Навсегда! - повернулась, пошла. И резко, через плечо, уничтожая взглядом: - Вы - забыты!

Вот тебе и любовь. Ах, как глупо все! Действительно, глупо! И стыдно, и горько.

Опамятовался перед знакомой дверью. Ноги сами привели к дому Александра Александровича Красовского.

- Васнецов?! - На лице учителя ни радости, ни приветствия, одна озабоченность.

Подошел к окну. Не трогая занавесок, осмотрел улицу. Васнецов понял, что явился не вовремя.

- Извините, Александр Александрович!

- Садись, - Красовский наконец-то улыбнулся. - Думаешь, отчего это он так мрачен? А как не помрачнеть? Служишь отечеству всем умом своим, всем сердцем и любовью, а тебе говорят - не надо! Не надо ума, умен, и будь доволен. Не надо сердца и тем более любви. Без любви хлопот предостаточно. Следи тут за вами, любящими. И следят.

- За вами?

- Дай бог, чтоб только за мной. К особливому вниманию привычен, проходил по казанскому делу. У друга моего ближайшего, у Вани Красногорова, при обыске нашли листовку «Льется польская кровь, льется русская кровь». Вины моей не доказали, но окрестили основателем вятского нигилизма.

Посмотрел Васнецову в глаза.

- Я понимаю, как в нашей провинции важно иметь доброго старшего друга, у которого хоть что-то есть за душою... У меня бывать больше нельзя. Моя библиотека закрыта. Запрещена, одним словом. А стало быть, сам я тоже запрещен. Не возражайте, Васнецов. И никогда не лезьте на рожон. Пустой героизм сродни туповатому



упрямству. Испортят жизнь самым подлым образом, и не поймете – за что.

Быстро, нервно заходил по комнате, снова поглядел в окно.

– Талантливому человеку надо сторониться провинции как зачумленного места... У вас к рисованию способности самые недурные, надо в Петербург ехать... Впрочем, советовать не волен. Я не художник и могу ошибаться. Толкнуть в мир искусства человека легко, всякий из нас рад чувствовать в себе особое предназначение. А если... это не так? Какая мука – нянчить всю жизнь свою посредственность. Такие люди на весь белый свет бывают в обиде.

Александр Александрович закурил папироску, подошел к полке с книгами, бережно дотронулся тонкими длинными пальцами до корешков книг.

– Я рад, что все эти тома, хоть отбери их теперь у меня, – стали не только моим достоянием, но и многих, многих! И вас, и ваших друзей, и тех, кто уже вышел в жизнь. Уроки Чернышевского и Белинского незабвенны. Поздно, господа надзиратели! Отнять совести, привитой мыслью на мысль, невозможно... А что вам, кстати, Васнецов, более всего помнится из Белинского?

Васнецов, слушавший учителя со строго сдвинутыми бровями, встал, как на уроке.

– Многое. «Итак, в Татьяне, наконец, совершился акт сознания: ум ее проснулся». Я когда прочитал это, даже за голову себя руками пощупал, потому что прямо-таки наяву почувствовал, как во мне совершился вдруг акт сознания.

– Вы умница, Васнецов.

– Не-ет! Я, конечно, люблю Белинского, но не могу ему простить, разночинцу, одной вполне барской фразы.

– Ой-ля-ля, Васнецов! Какой же?

- «Пушкин автор „Полтавы“ и „Годунова“ - и Пушкин, автор... мертвых, безжизненных сказок». Сказки Пушкина все живые и все великие! Они выше «Полтавы»!

- А «Годунова»?

- Это другое. Другая совсем вершина. Рядом. Александр Александрович подошел к Васнецову, обнял. На глазах его блестели слезы:

- Я недаром прожил свою жизнь. - Отстранился, посмотрел ученику в глаза. Они были одного роста. - Пора передать тебя в иные руки. За дело, мой друг! Коли нужные душе слова прижились в душе, стали самую душой, пора за дело. Пошли, я познакомлю тебя, Васнецов, с Трапицыным. Это человек, которому уже сегодня пригодится твой художественный талант. Талант требует постоянного испытания. Подвергать талант испытаниям, да на пределе, - это не растрата, это единственная возможность взрастить его до каких-то никому не ведомых высот. К Трапицыну! К Трапицыну!

Ему казалось, что облака летят навстречу. Облака были розовые, маленькие, очень похожие на нераспустившиеся бутоны чайных роз. Земля по-вечернему была темна, а небо светло. Только света уже не хватало на земле.

Васнецов не умел гулять, прохаживаться или просто идти - он всегда летал. Даже приказывая себе двигаться медленно, он, увлеченный какой-либо мыслью, скоро забывался - и вот уж ноги несли, подгоняли воображение, а вереница картин, сменяя одна другую, подгоняла ноги.

Поймал себя: опять не ходьба, а пробег. Остановился. Облака, летевшие ему навстречу, замерли. Теперь он разглядел, что тьма земли не черная. Она совершенно золотая, только золото очень старое, потемневшее, но оно посвечивает сквозь налет

времени. Первый заказ! Подумать только. Господин Трапицын заказал ему, семинаристу, целый альбом рисунков. Не десять, не двадцать, а несколько десятков. Да и сама задача увлекательна. Господин Трапицын собирает русские народные пословицы и поговорки. И вот все эти пословицы и поговорки нужно изобразить. Рисунок должен подтверждать мысль, а мысль должна рождаться рисунком...

- Вот вам самая ходовая мудрость, - сказал господин Трапицын. - Человек предполагает, а бог располагает. Что бы вы изобразили?

- Речку, мужика и лошадь, провалившуюся под лед... Васнецов вспомнил свой ответ и кивнул сам себе: хорошо придумалось. Александр Александрович сразу одобрил.

- Вот простота, какая многого стоит!

Господин Трапицын, хоть и задумался, но тоже согласился.

- Народная мудрость потому и естественна, что рождена жизнью. Тут художнику действительно надо от печки танцевать. Мудрость русская, и печка должна быть своя.

Васнецов снова пошел, набирая скорость, и так легко ему было, так счастливо, что уж и печаль о гимназистке совсем растаяла.

Весна!

И замер. Для него весна, для всех людей, для всего живого - весна. А матушка этой весны уж не увидит.

Матушка умерла в марте. Не дожидая до травы, до цветов. И очень это было горько, что не дожидая до настоящей-то весны, до птичьей, до радости. Коли дожидая, может, и не ушла бы...

Шел скорее и скорее, чтоб возле братьев быть, чтоб не думать. У самого дома вдруг вспомнил, как матушка говорила им, малым:

- Божеское чти честно, чтоб было видимо и вестно. Надо сказать об этой пословице господину Трапицыну. Можно Рябово нарисовать, церковь, богомольцев.

И расплакался. Свернул в переулок, во тьму, чтоб в себя прийти.

...Дверь им отворили не сразу, но сразу и обрадовались, и распекли.

- Трапицын! - восклицала молодая женщина, сидя за столом и от возмущения не поднимая на вошедших глаз. - Трапицын! Как можно? Вы опоздали на два часа.

- Это не я, это Васнецов виноват! - нежданно отговорился Трапицын. - Доказывал, что его клерикальная поговорка народная и не испортит моего сборника. А чтобы вконец меня сразить, он принялся рисовать и нарисовал картину к своей поговорке. Ничего не скажешь, рисунок вышел трогательный.

- Что же это за поговорка? - Женщина подняла наконец глаза, и Васнецов обмер: она посмотрела на него и от него ждала ответа.

- Божеское чти честно, чтоб было видимо и вестно, - тихо, но внятно сказал Васнецов.

- И что же вы нарисовали?

- Церковь, деревню, богомольцев.

- Вы семинарист, что ли?

- Семинарист.

- Значит, вы воруете?

Женщина была совсем молодая и очень уж красивая.

Красота повергала его в смущение, требовала немоты, и он бы молчал, но она желала его ответов.

- Я верую, - сказал он, вздохнув.

- Пропала твоя вера, семинарист! - засмеялся некто кудлатый, вольный и наверняка чахоточный.

- Нет, - сказал он, - не пропала. Если вы веруете во что-то дурное, я лучше уйду теперь.

- Вот ты сам и скажи, дурное это или не очень дурное. - И кудлатый, откидывая голову назад, прочитал стихи.

Царь наш - немец русский —  
Носит мундир узкий.  
Школы все - казармы,  
Судьи все - жандармы.  
Только за парады  
Раздает награды.  
А за правду-матку  
Прямо шлет в Камчатку.

Прочитал и вытаращил на семинариста зеленые кошачьи глаза.

- Это не дурное, - сказал Васнецов, - это запрещенное.

Все рассмеялись, и звонче других женщина. Она легко поднялась из-за стола, подошла к Васнецову, подала ему руку.

- Меня зовут Мария Егоровна Селенкина.

- Виктор Михайлович Васнецов, - ответил он, беря ее руку в свою и тотчас смешавшись: видимо, поцеловать надо было руку-то.

- Пожалуйста, проходите, - сказала Мария Егоровна, впрочем, тотчас обращая сердитые глаза на Трапицына. - И все-таки вам должно быть совестно. Я сегодня читала свою повесть. Ту самую, что собирается напечатать журнал «Женский вестник».

- Виновны! Тысячи раз виновны! - поднял руки Трапицын. - Но теперь мы - лучшие слушатели.

- Сегодня собирались читать девятую статью «Очерков гоголевского периода», но уже все устали, и решено ограничиться вступлением и страницами о славянофилах.

Вступление Мария Егоровна читала сама. Ее голос зазвенел, заблестали глаза, когда она произносила:

«Люди живого, настоящего, выступайте же вперед бодрее, решительнее, сильнее!»

Тут чтение, едва начавшись, прервалось, потому что всем хотелось поговорить. И все стали говорить, один другого умней, бесстрашней и, главное – складно.

Кудлатый вновь принялся читать стихи, а все должны были угадать автора.

Преданность вечно была в характере русского люда.

Кто же не предан теперь? Ни одного не найдешь.

Каждый, кто глуп или подл, наверное, предан престолу;

Каждый, кто честен, умен, предан, наверно, суду.

Угадали: Михайлов. Все, да не все. Васнецов о Михайлове только слышал, от того же Красовского.

Стихи, так стихи. Стали декламировать по кругу. Васнецов слушал с удовольствием, стихи забористые, хлесткие.

Общество было весьма либеральное,  
Шли разговоры вполне современные,  
Повар измыслил меню гениальное,  
Вина за ужином были отменные,  
Мы говорили о благе людей,  
Кушая, впрочем, с большим аппетитом.

Эти стихи Курочкина не без иронии преподнес собравшимся ехидный Трапицын.

Сатирик из «Вятских губернских ведомостей», выразительно поглядывая на семинариста, прочитал из Огарева:

Я не люблю попов, ни наших, ни чужих —  
Не в них нуждаются народы.  
Попы ли церкви, иль попы свободы —  
Все подлецы. Всех к черту! Что нам в них?  
Наместо этих иноков бесплодных  
Давайте просто нам – людей свободных.

Васнецов вспыхнул, но сказать было нечего. И он сидел, сжимая руки.

– Ваша очередь, – обратилась к нему Мария Егоровна и дружески положила свою руку на его плечо.

Минуту назад Васнецов судорожно перерывал свою память и ничего, кроме Пушкина, вспомнить не мог. И тут осенило: вспомнилось, как дедушка Кибардин однажды прочитал отцу:

Тюрьма мне в честь, не в укоризну;  
За дело правое я в ней.  
И мне ль стыдиться сих цепей,  
Коли ношу их за Отчизну.

Мария Егоровна посмотрела ему в глаза и сказала, улыбаясь:

– А вы, оказывается, совершенно наш.

– Васнецов! – воскликнул Трапицын. – Нарисуй портрет Марии Егоровны. Это ведь грех – не запечатлеть такую красоту!

– Перестаньте, Трапицын! Вы только смущаете милого, скромного человека.

- Человеком он может быть и милым, и скромным, и даже немым, как рыба, но коль он художник, так сам должен просить вас об одолжении позировать ему.

- Я не откажу и даже сама попрошу написать портрет с меня, если Виктор Михайлович не против?

- Я... не знаю, - снова запыхал Васнецов. - Это очень непросто. Вернее, это возможно, но скоро никак нельзя. Вы - сложная.

- Да чем же, господи?

- Тем, что красавица! - ввернул словцо Трапицын.

- Нет! Нет! - запротестовал Васнецов. - То есть и это, конечно. Но в лице у Марии Егоровны столько перемен в минуту. Она давеча, когда о полах читали, даже совершенно некрасивая была. От сердитости, а потом, в одно и то же мгновение, гневалась на чтеца и была согласна с ним, меня жалела, что-то наперед решала и решила... Ужасно сложно написать такое лицо.

- А вы рискните! - сказала Мария Егоровна.

- Я бы, может, и рискнул, но ваше лицо прежде чем рисовать, надо знать. Надо много смотреть на него.

Он опять всех насмешил, но Мария Егоровна строго поглядела на своих друзей и сказала:

- А вы бывайте у меня. Они все ходят, смотрят. И вы приходите. И даже тогда, когда их не будет.

- Мне очень даже хочется посмотреть на вас, когда вы будете одни! - сказано было так искренне и простодушно, что съязвить даже у Трапицына язык не повернулся.

Портрет Марии Егоровны Виктор Михайлович написал.

К сожалению, Селенкина - страница в биографии Васнецова если не совсем белая, то все-таки очень скудная, хотя краеведы настойчиво утверждают, что Мария Егоровна - это первая большая любовь Виктора



Михайловича. Может, так оно и было, но гадать не станем.

Портрет Селенкиной датируется 1868 годом. Известно, писательница печаталась в разных журналах, и в таком солидном, как «Вестник Европы». В литературной судьбе Марии Егоровны принял участие В. Г. Короленко. Это было уже в восьмидесятых годах, но в ее жизни есть горькая строка, которая, видимо, отразилась, и весьма существенно, на судьбе Васнецова.

Впрочем, об этом в своем месте.

На раннем майском румяном рассвете долетела до спящей Вятки через стены каменные и деревянные, через сны сладкие и тяжкие уж такая звонкоголосая трель, что многим в дреме почудилось: Жар-птица. И всяк вятч проснулся и ждал. Ответили. Да еще как разбойно! От такого посвиста листья с дерев падают. А вот кто-то – тоненько, как лягушонок: «Тру-уу-у! Труууу!»

Свистунья!

Пришла Свистунья в Вятку. Праздник ни в какие календари не записанный, но чтимый всем вятским народом. Веселая память по событию не только невеселому, но и горькому.

Когда, точно никто уж не знал, то ли во время Батыева ига, то ли позже, а может, и ранее, но ждали хлыновцы врага. К отпору приготовились, позвали на помощь устюжан.

И вот ночью случился бой. Да жестоким. Утром только и разобрались, свой своего колотил. Тогда-то и пришло на ум – свистки делать.

О том, что свисток принадлежность ратного снаряжения, забылось, стал свисток – свистулькой.

Мастерицы из Дымковской слободы десятками и сотнями готовили расписную свою забаву к майской Великорецкой ярмарке.

Братья Васнецовы спешили на Раздерихинский овраг. С обеих сторон уже собралась молодежь. Пересвисты. Перекидки. Овраг широк, надо иметь немалую сноровку, чтобы перебросить свисток на другую сторону.

Снуют лоточники, книгоноши с лубками. Нарядная публика глазеет. Праздник.

Уже трое Васнецовых в Вятке. Николай, Виктор, Петр. Осенью приедет в училище Аполлинарий. Правда, Николай выпускник, но зато на подходе еще двое: Аркадий и Александр. Возможно, Аркадий уже в этом году приедет вместе с Аполлинарием, Аполлинарий пойдет во второй класс, Аркадий в первый.

Спасибо, учеба бесплатная! Где бы отцу столько денег набраться, чтоб всех шестерых выучить? На куличах да пасхальных красненьких яичках капитала не накопишь.

Виктор поглядывает, смеясь глазами, на Петра и Пиколу. Один уж совсем бородатый дядя, но увлечены одинаково.

Свистят! Кидают! Ищут переброшенные свистки.

Виктор тоже занят поисками, но в богатырской забаве участия не принимает. Ему жалко расстаться с находками. Вот Олень – Золотые рога. Ушки черненькие, хвостик черненький, копытца. По груди и ногам кружки в линию. Желтый с оранжевой сердцевинкой, черная точка, оранжевый кружок, опять черная точка, и повтор. Совсем просто, но олень и впрямь смотрится благородным.

А вот – индюк. На хвосте сама ярмарка. И не больно заковыристо: малиновое перо, синее, кое-где – золото. Поглядишь – улыбнешься. Попробуешь понять, отчего улыбаешься, не поймешь.

– Наши семинаристы тоже здесь, вся Вятка здесь!

Виктор вздрагивает, роняет свистульку. В пяти шагах от него сразу два архиепископа, один свой,

вятский, а другой – виленский, из ссыльных, Адам Красинский.

– Покажи нам, студиус, свою добычу.

Виктор поднимает упавшую свистульку, показывает. Адам Красинский берет оленя. Любуется.

– Художественные академии напичкивают студентов бездной знаний о самых высоких предметах. А сей зверь сотворен одним наитием души. Бабой, чьи помыслы не идут дальше избяного порога. Ей бы натопить печку, сварить щи, пряжи напрядь.

– М-да! – важно почмокивает губами вятский владыко.

У ссыльного архиепископа глаза внимательные, но очень быстрые. Глянул и уже все понял, все знает.

– Скажите, молодой человек, а что вы думаете по этому поводу? Откуда в бабе чувство меры, ритма, цвета? Я бывал в Дымковской слободе, смотрел...

Васнецов краснеет. Запросто разговаривать с архиепископами ему не доводилось. Воззрился на оленя. Вятский владыко хмурится – неприятно, что семинаристы перед Европой телями выглядят. Вильно для Вятки – Европа.

– Думаю, все это от радости да еще от сказки, – говорит Васнецов.

– От радости и от сказки?! – На лице Адама Красинского удивление и удовольствие. – От радости и от сказки... Просто, здраво и, как у вас говорят, в точку.

Лицо владыки расплывается улыбкой: не подкачал семинарист!

– А вы задумывались, молодой человек, над истоками непревзойденной красоты «Слова»? Помните? «Се ветри, Стрибожи внуци, веют с моря стрелами на храбрыя плъкы Игоревы. Земля тутнет, реки мутно текут; пороси ноля прикрывают, стязи глаголют... Дети бесови кликом поля перегородиша...» Подумать только!

Кликом поля перегородиша! – Красинский даже руки вскинул.

Длинный Васнецов еще более худеет и длиннеет.

– Не знаешь?! – хватил себя по ляжкам владыко.

– Не знаю.

– Не слыхивал?

– Не слыхивал.

– А что вы слыхивали? «Вере Павловне хотелось донести до того, чтобы прибыль делилась поровну между всеми. До этого дошли только в половине третьего года...» Что смотришь? Мы тоже почитывали, но не обмерли от восторга.

Владыко, совершенно сердитый, тянет Красинского за собой.

– Не огорчайтесь, – говорит тот семинаристу. – Я знаю «Слово», потому что переводил его на мой родной язык. Если вам будет интересно, приходите за книгой.

Так вот взял, да и пришел, к архиепископу-то! Ох, судьба!

Ведать не ведал семинарист Васнецов, что уже на той же неделе быть ему в архиерейских покоях, быть по делу срочному и необычайному.

Прибежал в семинарию взмыленный архиерейский служка.

– Васнецов! Собирай скорей все, что ты намалевал, и галопом к самому. Он требует!

Сердце в пятки ушло: за что хотят выволочку устроить? Брал рисунки, какие краше, благолепнее. А служка над душой стоит, охает:

– Живей ты, бога ради! Он никакого промедления не терпит. Страсть ведь как суров.

До архиерейских покоев рысью шпарили. На крыльце служка Васнецова за руку ухватил.

– Теперича отдышись. Рожа-то вон красная. Вот гребешок, волосенки-то расчеши. Ну, вздохни еще разок, и с богом!

Прихожая. Икона Спаса Нерукотворного. Лестница на второй этаж. Служка распахивает дверь.

- Вот он! Вот он, Васнецов! - восклицает архиепископ и сам идет ему навстречу. - Ну, показывай, показывай!

Вроде бы голос не страшный, не гневливый, но куда положить рисунки?

- Кладите прямо на пол! - Васнецов вскидывает глаза: молодое и какое-то особенное лицо. Незнакомец ободряюще улыбается. Васнецов быстро раскладывает на полу рисунки.

- Михаил Францевич, вам карты в руки! - обращается к молодому господину архиепископ.

Тот ловко нагибается, поднимает один рисунок, другой, третий.

- Вы взяли то, что более всего закончено, а мне было бы интересно посмотреть все ваши работы! - Это он говорит оторопевшему семинаристу. Шел на убой, а вроде бы убиением не пахнет.

- Выразительные рисунки, - говорит Адам Красинский. - А вот этот печальный ангел, обведенный темным контуром, думаю, надолго в памяти останется. Что ты нам скажешь, Эльвино?

Молодой господин, которого называли сначала Михаилом Францевичем, а теперь Эльвино, переложил рисунки из правой руки в левую, правую же подал семинаристу.

- Хочу пожать вам руку, будущий мой коллега и сподвижник.

- Так, значит, есть толк в нашем студиозусе?! - восклицает архиепископ. - А мне тоже нравится.

- Лепо, владыко! Лепо! - Это уже запели келейники и священники, и все подошли поздравить семинариста, хлопнуть по плечу, улыбнуться.

- Мне поручают расписать новый храм! - объяснил ничего не понимающему рисовальщику господин с

непривычным лицом. – Без помощников это невозможно.

Впрочем, нам пора познакомиться: художник Эльвио Андриолли.

– Васнецов, – назвал себя Васнецов.

– Для художника звучит неплохо – Васнецов.

– Так ведь и Пушкин звучит, – улыбнулся Адам Красинский. – Какой-нибудь Ружьев, Саблев, Мушкетов – не звучит, а когда произносишь «Пушкин» – о пушках уже и не вспоминаешь.

– С богом, Васнецов! С богом! – воскликнул радостно архиепископ.

– Подойди под благословение! – шепнули Васнецову услужливо.

Подошел, благословился.

– Завтра я вас жду в храме, – сказал Андриолли, – и, пожалуйста, возьмите все свои рисунки, даже наброски. Они-то меня более всего интересуют.

– Мне ваше лицо знакомо, – сказал виленский архиепископ, тоже подходя к Васнецову. – Вы показывали нам свистульки.

– Да, – потупил глаза Васнецов.

– Что же вы за книгой не пришли?

– Духу не набрался, ваше высокопреосвященство.

– А вы набирайтесь. Художнику много нужно духа. Как никому, пожалуй. Думаю, что «Слово о полку Игореве» вам этого духа прибавит. Совершенно особенное произведение.

Вышел из архиерейского дома – в глазах радужные точки плывут.

– Чай не больно поругали-то? – спросил служка, участливо заглядывая семинаристу в глаза.

– Да нет, не поругали.

– Ну и слава богу! – перекрестил его служка. – Не поругали, и слава богу!

Набраться духу – дело совсем непростое, понедельник не выходил из головы до самого понедельника. Но все оказалось и просто, и сердечно.

Адам Красинский вышел к нему с прекрасным изданием «Слова».

– Скажите, вам не странно видеть это: ссыльный поляк, католик, в сани – занят переводом книги народа, у которого он, хоть и в почетном, но – плену.

Васнецов сдвинул брови. Таких вопросов ему никогда еще не задавали.

– Не смущайтесь. Я отвечу сам. «Слово о полку Игореве» – великая книга. Если культуру представить себе цветущим лугом, то этот цветок – не один из множества, но достояние луга. Он – прекрасен. Через него я пришел к любви. Я люблю русский народ, не испытывая никаких симпатий к вашему, оно и наше – увы! – самодержавию. Но слава богу! Правительство и народ – не одно и то же. Вы это позже поймете.

– Нет, не пойму, – сказал Васнецов, от волнения глухо, прервавшимся голосом.

Архиепископ улыбнулся.

– Вы удивительно честный юноша. Вера в единство – счастливая вера. Редко кто живет с нераздвоенной душой.

– Верующему человеку всегда покойно.

– Покойно ли? – Архиепископ дотронулся до креста на груди.

Удивленным уходил семинарист от архиепископа. Целый день велено заниматься делом, к которому душа лежит. До сих-то пор рисовал, сам себя стыдясь, отнимал время от занятий.

Но скоро, очень скоро пришло иное понятие про художество. Горбом понял, что это за труд. Ох как сводит затекшие мышцы на спине, как быстро немеет рука: мешки и те легче таскать, чем за кисточку день-денской держаться. Не труд – каторга.

Да только просыпался с радостью, шел в собор с песенкой в сердце. Счастливой бабочкой себя ощущал.

Однако усталость накапливалась, и Андриолли отпустил его на месяц в Рябово, освежить тело и душу.

Дом полон, а без матери все пуст. Виктор целую неделю промаялся этой пустотой. Куда ни поворотись – мамино. Кресло, клубок шерсти со спицами, ложка, шкатулка, зонт, туфли!.. Все вещи на месте, целы, ухожены, а ее нет.

Глазам вдруг открылось, как обветшало все: и дом, и отец, и само Рябово. В этом обветшании он увидел указующий перст. Рябово – само детство. Оно отбаливает в нем, отходит прочь, оставляет наедине с жизнью. Как мышонок, душа попискивала, но он знал – прошлое изжито почти уже до самого конца, скоро он уйдет отсюда... Не думать бы про все это – не спростясь в голову лезет.

На счастье, ребята рябовские с лошадьми собрались в ночное. Напросился с ними.

Ребята устроились над речкой, искупались, и он тоже выкупался. Вода была ледяная, но тело потом горело, показывало хозяину силу.

Виктор нашел хорошей глины. Налепил лошадок, зверушек. Ребятам понравилось. Заодно и привыкли к вятскому гостю, перестали перешептываться.

– За месяцем будем глядеть. У него нынче праздник.

Виктор вспомнил:

– На урожай, что ли, гадают?

– На урожай, – ответили вежливо, но без лишнего слова, по-рябовски.

Виктор расстелил па земле старый отцовский козух, лег лицом в небо. Было слышно, как ходят близко кони, было видно, как прибывает на земле тьмы.

– Месяц!

Месяц был тоненький, совсем ребеночек. И снова тишина, пофыркивающие лошади, плеск воды. И



сладкий сон, слетевший с трепетных вершин крутогрудых берез.

- Перебегает! Перебегает!

Открыл глаза. По небу летели пушистые облачка, и месяц нырял то в одно облако, то в другое.

- Если перебегает - с хлебом, - сказал старший мальчик и, видно, потянулся. - Сколько звезд нынче будет!

- Говорят, по звездам можно всю жизнь человеческую рассказать. Ты сам в люльке, а уже все известно. И смертный час твой, и сколько детей у тебя будет, и кто твоя жена. Только надо звездочку свою угадать.

- Попробуй угадай!

Виктор слушает ребячий разговор и тоже смотрит на звезды. Кем же ему-то суждено быть, попом? Николай тверд: сана принимать не буду.

- Теперь на тебя, сынок, надежда, - сказал отец Виктору. - Васнецовы испокон века священствовали. Нехорошо, если родовая пуповина прервется. Впрочем, я знаю, ты у своего начальства на виду.

Проснулся от прохлады. Сказал ребятам:

- Отвезите домой мой кожушок. Пойду по лесам, по долам.

Пролез по чащобинам и вышел на отдыхающих косарей.

- Здравствуйте, добрые люди! Бог помочь!

- Здравствуй, попович! Садись, молочка покушай. Сел с мужиками, выпил молока с черным хлебом.

- Вкусно.

- А ты хлеб-то сольюй посыпь. Ужас, как хорошо. Поел хлеба с солью.

- Можно, я вас порисую?

- Отчего ж нельзя? Рисуй на здоровье. Как батюшка Михаил Васильевич поживает? Без матушки уж больно скучен стал. Хорошая была пара. Михаил Васильевичу

теперь одна забота – вас на ноги поставить. Мило тому, у кого много в дому. А ваш батюшка больше дает, чем берет. Уж мы-то все знаем.

Виктор достал тетрабочку, карандаш. Стал рисовать ребенка с деревянной ложкой в руке. Ребенок взмахивал ложкой, ложка на солнце блестела узорами, ребенок радовался.

– Рисуй, рисуй, с нас не убудет! – сказал мужик и поднялся, поднялись и другие косари.

Виктор попробовал рисовать их – не пошло. Не получалось живого движения. Вздохнул. Закрыв тетрабочку.

– Пойду!

– Ну, пойдя, – согласился мужик. – Кланяйся от нас батюшке.

Придя домой, сел на кухне, нарисовал отдельно печь, стол, окно. Потом весь угол.

Пришел старик странник. Ему дали щей и хлеба. Старик ел, а Виктор рисовал. На этот раз получилось. Пошел поглядел сборник Трапицына. Остановился на поговорице: «Обед тогда варят, когда дрова горят». Тотчас и нарисовал. Девочка у печи, ребенок крутит ложкой в миске.

Вроде бы то, что надо, покой и благополучие. К брату подошел Аполлинарий, поглядел-поглядел и попросил:

– Дай мне карандашик, я тоже рисовать буду.

«Не лепы ли ны бяшетъ, братие, начати старыми словесы трудных повестий о пълку Игореве, Игоря Святъславлича? Начата же ся тѣй песни по былинам сего времени, а не по замышлению Боянью...»

Тяжело и скучно.

«Боян бо вещей, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу...»

Виктор закрыл книгу и вспомнил мудрые глаза Адама Красинского. Почему поляку вся эта словесная

вязь представляется цветком на лугу?

Снова открыл книгу. Читал, откладывая и все-таки опять читал, насильно впихивая в себя слова, абзацы, страницы. Добил, но не понял Адама Красинского. Опять покой потерял: не по нему это было – отступить. Поскучнел.

Вышел на крыльцо – отец из леса идет. Потный, радостный. Камень на плече тащит. Поспешил навстречу – помочь.

– Ничего, я сам! Запачкаешься. Зашел во двор, свалил груз на траву.

– Гляди.

На камне сиял перламутровый след от доисторической раковины.

– Разве не диво?

Виктор только головой покачал.

– В Вятке музей господина Алябьева открылся. Он такому экспонату был бы очень рад.

– Вот я ему и отправлю находку, вместе с вами.

– Батюшка, а как же с Библией быть? Ученые говорят: окаменелостям – многие миллионы лет, а по писанию, от сотворения мира нынче 7374-й год.

– А я про то не думаю, – сказал отец просто. – Ученые, может, тоже ошибаются на сколько-то миллионов, но они правы.

– Значит, раздвоенность души?

– Нет, Витя! Нет у меня раздвоенности. Я по-стариковски, и ученым верю, и господу богу. Как уж там, когда, но сотворение было. Бог сотворил и землю, и душу человеческую. Земель я мало на своем веку повидал, да уж и не увижу ничего, кроме Рябова, но душе не перестая удивляться. Нет творения более великого, чем незримая, но живая душа наша.

– Батюшка! – только и сказал Виктор, пораженный и чистотой, и честностью отца.

Человеческая жизнь - кружево, сплетенное из бесчисленного множества отношений.

Редко, но случается: исполняя свой долг, чью-то просьбу, обязательство перед кем-то, люди, сами того не ведая, вызывают к жизни огромной силы созидательную творческую энергию.

Вятский владыка из симпатии к Адаму Красинскому добился для его визави - ссыльного художника Эльви́ро Андриолли заказа на роспись собора. Владыка, почитая себя за пастыря просвещенного и памятуя о деяниях Великого Петра, велел послать в помощь Андриолли и для перенимания его искусства самых толковых вятских иконописцев и среди них семинариста богословского факультета Виктора Васнецова. Заботились о судьбе Андриолли и невзначай решили судьбу Васнецова.

О новом человеке в малом городе, будь он за семью царскими печатями, знали все и если не всё, так уж и не меньше властей.

Эльви́ро Андриолли, хоть и художник, а туда же - в сабли, в пистолеты. За то ему и назначена Вятка. Но учености у него не отнимешь, в Париже бывал, в Лондоне. В императорской Академии художеств учился, в Санкт-Петербурге. Мало показалось - в Риме ума набирался.

Когда человек нрава доброго, легкого, когда ремесло у него возвышенное, а сам в беде, гоним - для русских либералов лучшей аттестации не надобно. Недолго бедствовал во глубине сибирских руд. Посыпались заказы на портреты, охотно покупали гравюры. И вот уж и собор предоставили в полную власть. Ведь одно имя чего стоит - Эльви́ро Андриолли.

Легкий был человек, добрый.

- Васнецов, друг мой! - воскликнул однажды Михаил Францевич, рассматривая орнамент своего помощника. - Я этого решительно не понимаю!

- Вы же одобрили эскиз. - Руки сразу опустились, лицо несчастное.

- Господи! Да я не про орнамент, не про вашу работу. А впрочем, как раз и про орнамент, и про образы. Зачем вы готовите себя к священническому сану? Священников и без вас много, а вот людей с художественным дарованием значительно меньше. Бросайте семинарское занудство и отправляйтесь в Петербург в Академию художеств. Там вы научитесь всему, что необходимо таланту для воплощения замыслов. И ради бога, не раздумывайте!

На квартиру Васнецов уже и не летел, как всегда, - молнией промелькнул. И сразу к «Жнице», за кисти, за краски. Картину он начал несколько недель тому назад, так, чтоб попробовать. Он знал, картины пишут долго, годами. А тут вдруг все получалось! За какой-то час, наверное, закончил. Совершенно закончил.

И сразу на улицу, на высокое место, откуда река Вятка как с птичьего полета.

«Неужто - художник! Я - художник? Все равно что лег спать без голоса, а проснулся - певцом».

Утром он пришел к ректору. Стоял, опустив голову, не зная, как заговорить о своей просьбе. Ректор сам пришел ему на помощь.

- Мы разговаривали о вас с господином Андриолли. Я разделяю его точку зрения. Много было священников на русской земле. Много! И прилежных до подвига, и ленивых до помрачения ума. А Рублев все-таки один. Я готов благословить вас на стезю живописца, но сначала посоветуйтесь с вашим отцом. Его слово станет решающим.

Май был на середине, а дорога в Рябово все еще не наладилась после весенней распутицы.

Чтоб не скрасить ожидание, а пережить его, перетерпеть, Васнецов принялся писать другую картину, которую назвал «Молочница». В семинарию

ходил по-прежнему, все выучивал, да еще, пожалуй, прилежнее, чем прежде.

Наконец дорога просохла.

Ехал домой с легким сердцем, не думая о предстоящем разговоре с отцом. На другое мысли сворачивал – вот возможность закончить последние рисунки для альбома пословиц и поговорок господина Трапицына. Уж и о деньгах на поездку в Петербург подумывалось. У отца денег никогда не было и теперь нет.

Дорога долгая. Смотрел в тетрабочку с записями пословиц, рисовал во время остановок на плотных листах бумаги то, что придумывалось.

«Не те денежки, что у бабушки, а те денежки, что у пазушки». И на эту же тему еще одна: «Ломоть в руке – не мой, а в брюхе – так мой».

Подъезжали как раз к мосту через речку, лошадей поили.

Нарисовал мост, мужика с полным возом на паре лошадей.

«Кто два зайца имаает, тот ни одного не поймает». Нарисовал мальчика и двух зайцев.

Михаил Васильевич встревожился неурочным приездом сына.

– Случилось что, Витя? – Улыбка робкая, плечи пообвисли, словно приготовились принять скорбную тяжесть.

– Нет, батюшка. Все хорошо! Обедать сели.

– Ты уж говори, если с ребятами что, – просительно сказал отец.

– Батюшка, все братья здоровы. С одним мною забота.

– С тобой? Да какая же с тобой забота? Виктор положил ложку, положил хлеб.

– Батюшка, я хочу художествам учиться. Меня и ректор на то благословил.

Отец тоже было перестал есть, а теперь у него и аппетита, кажется, прибавилось.

- Ешь, Витя! Ешь - остынет... Учиться художествам дело хорошее. Не противное богу.

После обеда попросил:

- Покажи мне твои рисунки.

Смотрел долго. Наконец поднял глаза на сына.

- Трудно сказать... Художником быть - мало. Люди, Витя, злые. Никогда этого тебе не говорил, но ты все-таки знай - злые. Художнику внимание нужно, тепло... А где его взять в чужом городе среди чужих людей... Ну, да с богом! Молиться буду за тебя.

Перекрестил.

Достал из стола шелковый кисет.

- Тут рублики складывал. Серебро, но мало... А больше нет, Витя... Ты уж прости меня - ничего не умел нажать. Ах, нищенство, нищенство!

- Спасибо, батюшка... Как-нибудь образуется с деньгами. Ты уж хоть об этом не печалуйся - образуется.

И было стыдно видеть, как страдает отец.

Провинция охоча до новых веяний. Просвещенное вятское общество наслышано было и о картинах Федотова, и о бунте «четырнадцати» в Академии художеств, и, главное, о том, что наконец-то - «русские пошли».

«Последний день Помпеи» - верх восторга, но опять-таки - Брюллов! Итальянец из русских. А ныне оказалось, что и свои кое на что способны: в литературе, музыке, живописи. Слух о способном юноше без всяких средств дошел до вятского губернатора.

Губернатору не очень понравилось, что хлопочут об этом юноше ссыльные поляки. Решил дело поправить, привлечь к судьбе таланта общественность.

В один прекрасный день объявили благотворительный аукцион, на котором разыгрывались две картины некоего семинариста по фамилии Васнецов. Одна картина называлась «Молочница», другая «Жница».

Сам «именинник» натянул белые нитяные перчатки, в добытом для случая сюртуке па извозчике отправился по именитым гражданам Вятки лично предлагать лотерейные билеты. Выручено было шестьдесят рублей. Одно не ясно: то ли лотерейные билеты покупались плохо, то ли уж так положено для провинции, но «Жница» попала самому губернатору, а «Молочница» Адаму Красинскому. Дальновидные были люди, понимали, что пути к бессмертию в памяти потомков неисповедимы. И угадали. Так помянем же господина Компанейщикова и его преосвященство Адама Красинского добрым словом.

В последний вечер Виктор Васнецов зашел попрощаться к учителю своему и наставнику Александру Александровичу Красовскому. Тот и обрадовался, и вроде бы затосковал.

- Петербург! Все, что живого есть в России, ныне там. Больше смотри, больше слушай, но вот тебе мой совет: ни па кого никогда не стремись походить. Умей оставаться самим собой.

Записал адрес своего брата-петербуржца. Напоил чаем, пошел проводить.

На улице преобразился, помолодел.

- Вот она наша Вятка. Но уж такая ли она заштатная? Собор Витберга, здания Дюссор де Невилля, Трифоновский монастырь.

Шли Вознесенской улицей.

- А этот деревянный дом, помяни мое слово, музеем станет. Здесь жил пронзительнейший человек России - Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Да и Герцен тоже наш, не по воле своей, как и Салтыков, но наш. И



не одно дурное увозили эти славные люди Отечества нашего из вятского края. – Посмотрел с любовью, но и с тревогой на строго шагавшего рядом совсем уж замолчавшего Васнецова. – Каким бы петербуржцем ты ни стал, никогда не заносись над исконной родиной своей. Избави тебя бог от подобного пренебрежения – это погибель для всего светлого, что есть в человеке. Талант же – светом жив.

Привел в сад Жуковского. Поэт приезжал в Вятку в 1837 году, и об этом вятичи помнили. Посидели в беседке. Совсем уж свечерело. В воздухе носились летучие мыши.

– Славно помолчали, – сказал Красовский, – спасибо тебе, Васнецов.

– Александр Александрович!..

– Я знаю, что говорю. Хороший ученик для учителя все равно, что драгоценная жемчужина для ныряльщика. Не всякому выпадает счастье. Верю в тебя.

Пожал руку и тотчас ушел.

А Васнецову зябко стало, вдруг понял: один он теперь. Один в Петербург поедет, и в Петербурге тоже будет – один.

\* \* \*

Почему мы так внимательны к детству и отрочеству художника? Почему чуть ли не каждую крупницу живых воспоминаний, добытых из высказываний самого Виктора Михайловича, сохраненных в памяти братьев, сыновей, внуков, племянниц и племянников, бережно вкрапляем в нашу мозаику?

Детство – золотой ключик к творчеству любого художника и особенно художника русского.

Русские художники, все без исключения, происходят из своего детства. В самом абстрактном виде оно есть совесть и совестливость.

Совесть – понятие социальное, но она пробуждается в человеке отнюдь не в пору зрелости. Может, на детство как раз и приходится самый острый пик ее развития. Именно пик – снежной белизны и чистоты колпак с острой иглой на вершине. Этот пик пронизывает судьбу художника во все его времена. И хоть чем дальше, тем гуще заслоняют вершину облака терпимости, соглашательства, житейской мудрости, игла – прокалывает! Даже самых бессовестных и слововопятых.

Как в завязях – будущее плода, так в детстве – устремления к высокому, к прекрасному, но и червоточина изъянов. И все, все, что дано личности, обремененной даром творца.

Жизнь, конечно, всему научит, но угодничать или стоять на своем, хоть убей, – человек обучается, и превосходно! – именно в птенячьи, от трех до семи-восьми лет.

Если детство закладывает фундамент самых общих человеческих ценностей, то отрочество и юность наполняют эти ценности живым социальным содержанием. Правда, до поры оно будет тяготеть к идеальному. Мерки юности только превосходные. И в утверждении, и в отрицании. Поэтому и задачи перед собой, исключительным, ставятся исключительные. Не всеми, конечно. Раннее осознание «обыкновенности», а то и «бездарности» ведет иногда к краху личности.

Дело тут не только в намеченном «потолке». Юность говорит: хочу быть учителем – не министром просвещения. Учитель – деятельность, министр – один из чипов, не самый высший, кстати. Юность говорит: буду солдатом, ибо нет выше долга, чем защита Отечества. Юность права. Можно быть счастливым

сельским учителем и несчастным министром. Знающим себе цену унтер-офицером и сознающим свое ничтожество фельдмаршалом.

Толпа равнодушно проходит ныне мимо огромных полотен ректора Академии художеств Фиделино Бруни и благоговеет перед этюдами нелюбимого академией Александра Иванова.

Искусству служили оба, с верой и страстью, оба полагались на одни и те же формулы и принципы, выработанные академической традицией. Но один служил ого императорскому величеству и довольствовался восхищением знати, другой желал творением своим прославить имя народа своего, а за высший суд почитал суд своего художественного «я».

Но, может быть, все дело только в таланте? Ведь, в конце концов, тема «Явление Христа народу» вполне отвечает духу Петербургской Академии художеств времен Бруни. Ото ведь работа по заданной теме. Правда, заданной самому себе. И все-таки разница между Бруни и Александром Ивановым огромная.

Бруни родился в Милане, но с младенчества жил в России, здесь учился и стал мастером. Он принимал участие в росписи двух самых замечательных храмов XIX столетия: храма Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Петербурге, последний, кстати, создавался по образу и подобию католического собора Петра. Свои картины на библейские мотивы, такие, как «Сотворение мира», «Введение первородного сына во вселенную», «Спаситель, вручающий апостолу Петру ключи от царства небесного» и т. п., Бруни писал в Италии, дабы насколько можно ближе быть к художественным идеалам. По академической концепции живопись – искусство подражательное, и Бруни был одним из самых замечательных подражателей. Обвинять чуждое нам время в непонимании чего-то – дело неблагодарное. Так было.

Мы только с большей или меньшей страстью можем ныне следить за борьбой художественных идей, сочувствуя горьким мытарствам близких нам по духу художников. И еще мы можем, исходя из собственных понятий о красоте и назначении искусства, некогда гонимых объявить великими, а некогда великих – отставить в уголок и забыть.

Справедливость рано или поздно торжествует! Но однако ж во всяком торжестве есть свой изъян. С падением старой Академии не только у нас, но и во всем мире была потеряна страсть к учебе, к приобретению совершенного мастерства. Это был шаг к дилетантизму в искусстве, к процветанию трюкачества, всяческих спекуляций, к знаменитой, все оправдывающей формуле: «А я так вижу».

Вернемся, однако, к Бруни и Иванову.

Иванов тоже написал не Волгу и не Москву, но его Палестина и сам евангелический сюжет – русские. Все понятия здесь русские. О рабстве, о власти, о духовной красоте, и прежде всего о боге как о надежде на справедливость. Это были живые мысли о живых людях и для живых людей. Мысли русского художника для русского народа. Старая Академия вполне так и не поняла, что Иванов своей картиной впадал в величайшую ересь, ибо она-то, Академия, стремилась к избранной красоте для избранных.

Шаг к своему народу был сделан, но для созревающего национального самосознания чужая одежда, сколь бы она ни была великолепной, – чужая.

Это понимали многие, и прежде всего Федотов, отворивший своим искусством дверь в современную ему Россию. Федотов недолго был одинок. «Бунт четырнадцати» и Крамской вывели русское искусство на путь самоопределения.

Васнецов ехал в Петербург не для того, чтобы себя показать или, того пуще, ниспровергнуть старое,

отжившее, он ехал научиться тому, что умеют господа художники. Он не знал еще, что Рябово, сидящее в нем, - это образ России и сама сущность русского искусства.

## **ГЛАВА ТРЕТЬЯ**

### **АКАДЕМИЯ И ЖИЗНЬ**

Одного он теперь боялся – дороге придет конец. Из Вятки до Петербурга дорога была длинная и долгая. Сначала пароходом Филиппа Тихоновича Булычева – по Вятке, по Каме, по Волге до Нижнего Новгорода.

Ох и страшно было покидать пароход! Однако ж от пристани до вокзала оказалось рукой подать. Вышло все так просто. О вокзале и спрашивать не надо, пошел за толпою и скоро был на месте. Купил билет, сел в вагон – поехал!

Подъезжая к Москве, все в окно смотрел – не видно ли Кремля? Кремля не увидел, но с пересадкой было еще проще, чем в Нижнем. Приехал на Казанский вокзал, а Николаевский – через дорогу.

Времени до отхода поезда было много, но с вокзала уйти не отважился – как бы поезд не прозевать!

Все обошлось: поезд не прозевал, до Петербурга доехал. Дорогу в Академию – через Невский проспект, через мост, по набережной – Андриолли ему и на словах не раз объяснил, и нарисовал. Шел вятич, шел да и увидал вдруг – она. Увидал, сердце екнуло, ноги мимо пронесли.

Ну а куда дальше-то? Над Невой постоял, на Исаакиевский собор посмотрел, на шапку его золотую. Зимний тоже – вот он! Подумать только!

На дворец поглядеть ничуть не страшно, а на Академию – сил никаких нет!

Осердился на самого себя, спросил не без ехидцы:  
– Ночевать, что ли, тут собрался?

И тотчас через дорогу, да в двери, а там, внутри – все равно что город. Коридоры, лестницы, на потолок

поглядеть – как в колодец. Десять рябовских церквей в одном крыле только поместятся.

Оробел.

Но мир не без добрых людей, подошли к нему, спросили, что надобно, повели, нужную дверь показали. Не забыли спросить, откуда, где остановился, дали адрес, по которому комнаты дешево сдают. Одним словом, и в Петербурге не пропал.

Более всего был он в тот день рад койке в каморке. Поместился он под вечер, а потому, хоть и голоден был, из дому выйти не осмелился.

Наутро первым делом отправился дорогу к Академии изучить – не дай бог в день экзаменов заблудишься. Академия художеств, само имя – Академия художеств! – звучало для нашего вятича чуть ли не так же, как Его Императорское величество.

Перед экзаменами Васнецова терзали сомнения: как быть с математикой, со словесностью? Книг прочитано немало, но современных, обжигающих правдой. О большинстве античных авторов наслышан, и только. Одно утешало: начинаются экзамены с главного, с рисования.

Безупречный гипс, безупречно чистая бумага и карандаш.

Потянулся карандашом к бумаге – рука дрожит. Закрыв глаза, про себя прочитал «Отче наш». Страшно!

Ведь нарисуй все как следует, и в академии.

«Ты уж, брат, расстарайся», – сказал себе.

Рисовал, по сторонам не глядя. Кончил – и паника охватила. У него готово, а другие работают. Коли время есть, зачем торопиться?.. Вглядывался в гипс, в рисунок, затирает, поправлял. Но теперь другая боязнь пришла – не испортить бы.

Огляделся-таки.

Большинство экзаменующихся одеты по моде, и лица-то все умные, уверенные – городские люди.

Мимо прошел преподаватель, на рисунок – полвзгляда, через плечо. И тотчас подошел сосед. Почмокал губами, усмешку скривил.

«Провалился», – подумал Васнецов.

Он вышел на набережную, чувствуя, что ноги у него – не свои. Остановился возле сфинксов, а на другой стороне Невы: Медный всадник, тяжкий Исаакий, веселые колоннады сената и синода, спокойное, счастливое Адмиралтейство. Других строений и представить себе невозможно на этом месте.

Стало вдруг очень стыдно. Ну, зачем ехал сюда? Зачем обманул отца, учителя Красовского, епископа Красинского, губернатора Компанейщикова, устроившего аукцион?

Он шел все дальше и дальше к Дворцовому мосту. Глаза его, растерянно окидывающие город, сужали и сужали кругозор, и наконец он стал смотреть себе под ноги. И увидел желтый одуванчик. Обыкновенный одуванчик, невесть как пробившийся меж гранитных плит.

– Главное, брат, не унывать, – сказал он одуванчику.

И повеселел, а повеселев, пошел в чайную, заказал чаю с баранками, напился всласть. Вышел из чайной, глянул на Петропавловку и обомлел: исчез ангел, держащий крест. Ведь был! А может, померещился?

Пошел, зачарованный, к крепости.

И ангел явился ему.

– Да это же флюгер! – хлопнул себя по лбу. – Эх, деревенщина!

Дома пересчитал деньги. Месяца два протянуть можно. Но делать-то что же? Возвращаться домой – ошиблись, мол, господа, нет у меня талантов! Себе позор, а главное – отцу. Подучиться бы...

Доброго словечка хотелось, да где его сыщешь в чужом городе, в громадной, несущейся мимо тебя столице? Надо было работу искать... Но где, какую,



кому ты нужен здесь, окающий лешак вятский? Шел по Невскому, витрины сверкают, вывески все серьезные, важные – не подступись. Остановился возле Гостиного двора, тоска... Чужая, как под коленками что-то мелко дрожит, и от этой дрожи и в голове было пусто, и на сердце.

– Господин Васнецов?

– Боже ты мой, господин Красовский!

Это был брат Александра Александровича, топограф, приезжавший в Вятку прошлым летом. Пришлось рассказать о себе.

– Не считайте провал концом жизни, – посоветовал Красовский. – Академия наша – старушка капризная. Ей не талант дорог – набитая рука.

– Мне бы поучиться... Но где?

– У Крамского, в школе при Бирже.

– У того самого...

– У того. В столице куда ни повернешься – все какая-нибудь знаменитость.

Васнецов опустил голову, краска стыда сначала схватила его за уши, а потом перекинулась на лицо: предстояло сказать о самом невыносимом, но городские люди и на это умны.

– Что же касается средств к существованию, – не дожидаясь вопроса, сказал господин Красовский, – то я представлю вас генералу Ильину. Он держит мастерскую литографии и, думается, найдет вам работу, которая и прокормит, и в рисовальном деле укрепит.

– Спасибо! – Васнецов поклонился. – Спасибо! Когда вот только прикажете...

– Да что же откладывать! Прямо вот и пойдём.

И уже через полчаса неудачливый абитуриент стоял перед генералом.

– Нарисуйте-ка нам на пробу... Ну, хотя бы это! – Генерал показал на причудливый вензель.

Васнецов нарисовал.

- Ну, что же, - сказал генерал. - Могу предложить вам двадцать пять целковых в месяц.

- Вот и устроилось! - сказал на улице Красовский. - Кусок хлеба есть, теперь можете и о хлебе духовном подумать. Идите в Крамскому. Это, может, и не академия, но очень серьезно.

О рисовальной школе на Бирже оставил воспоминания Репин. Помещалась она на стрелке Васильевского острова и официально именовалась Школой Общества поощрения художеств. Вот как Репин рисует обстановку в школе и ее учителей.

«Главное лицо в рисовальной школе был директор Дьяконов. Высокий старик, с белыми курчавыми волосами, он похож был на Саваофа. Я не слышал ни одного слова, им произнесенного. Он только величественно проходил иногда из своей директорской комнаты куда-то через все классы, не останавливаясь. Лицо его было так серьезно, что все замирало в семи классах и глядело на него. Одет он был во все черное, - очень чисто и богато.

И вот я в рисовальной школе. Я рисую отформованный с природы лист лопуха.

У нас два учителя - Верм и Жуковский. Несколько рисунков Верма висят на стенах как оригиналы для подражания. Они нарисованы с таким совершенством великолепной техники и чистоты отделки, что около них всегда глазают ученики; не оторвать глаз - дивная работа...

...Еще учитель был в классе масок и гипсовых фигур - Гох. Но больше всего ученики говорили об учителе Крамском: этот приходил только в воскресенье утром; в его классе нельзя было добиться места: сидели „один за другим“, локоть к локтю...

Вот и воскресенье, двенадцать часов дня. В классе оживленное волнение, Крамского еще нет. Мы рисуем с

голова Милона Кротонского. Голова поставлена на один класс. В классе шумно... Вдруг сделалась полнейшая тишина, умолк даже оратор Ланганц... И я увидел худощавого человека в черном сюртуке, входившего твердой походкой в класс. Я подумал, что это кто-нибудь другой: Крамского я представлял себе иначе. Вместо прекрасного бледного профиля у этого было худое скуластое лицо и черные гладкие волосы вместо каштановых кудрей до плеч, а такая трепаная жидкая борода бывает только у студентов и учителей.

- Это кто? - шепчу я товарищу.

- Крамской! Разве вы не знаете? - удивляется он.

Так вот он какой!.. Сейчас посмотрел и на меня. Кажется, заметил. Какие глаза! Не спрячешься, даром что маленькие и сидят глубоко во впалых орбитах; серые, светятся. Вот он остановился перед работой одного ученика. Какое серьезное лицо! Но голос приятный, задушевный, говорит с волнением... Ну и слушают же его! Даже работу побросали, стоят около, разинув рты: видно, что стараются запомнить каждое слово... Вот так учитель!.. Его приговоры и похвалы были очень вески и производили неотразимое действие на учеников».

- Висницов плишооол! - приплясывая, кричали дети, ожидая, когда он разденется.

Едва снял пальто, схватили за руки, потащили в классную комнату, где учителя давали им уроки.

- Висницов! У Маши баба-яга не получилась. Получилась корова с хвостом.

- Неправда! - хохотала Маша. - Это не хвост, а помело. Просто моя баба-яга - толстуха.

- Л что сегодня? Что сегодня будет? - горящими глазенками смотрел на Васнецова самый младший мальчик.

Васнецов не запомнил с первого раза имена детей и смущался этой нежданной детской любовью.

- Сегодня мы будем рисовать иное, - сказал Васнецов, когда дети, притихнув, сели за парты.

В комнате две парты, доска самая настоящая, большая географическая карта.

- Ах! - сказала Маша, замирая.

- Помните у Пушкина?

«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!

Что ты тих, как день ненастный?

Опечалился чему?» —

Говорит она ему.

Вот и попробуем нарисовать такое, чтоб сердце волновалось. Вы представьте себе: теплый тихий вечер, потемневшие перед ночью ели. В небе чисто, и вдруг разглядишь тоненький серпик месяца. И чтоб вода, и чтоб лебедь. Чтоб от красоты такой, от счастья слезы бы сами собой из глаз катились.

- Ах! - снова сказала Маша.

А ее маленький братец заерзал на парте.

- Висницов, а если не получится?

- Получится! - воскликнула Маша. - Месяц, ели, лебедь. Все просто.

- Да, - согласился Васнецов, - все очень просто, но помните: надо, чтоб в рисунке воздух был, не тесните, не рисуйте много деревьев, много птиц. Все должно быть скупо. Можно ведь и вообще ничего этого не рисовать, а нарисовать царевича. Да такого, чтоб, глядя на него, стихи Пушкина сами собой пришли на ум.

Васнецов внимательно посмотрел на каждого из троих, потом взял свою большую папку с рисунками и вздохнул.

- Вы начинайте, а я к вашему батюшке пойду, покажу, что у меня получилось.

- Висницов, милый! Покажите нам! - так вся и вспыхнула Маша.

- Нельзя, - сказал Васнецов, еще крепче завязывая тесемки.

- Но почему?

- А если сглазите? Ребята примолкли.

- Договоримся так. Если я вернусь счастливый, вы кричите: «Ура!» Если я вернусь... Ну, как будто ничего не случилось, и сразу же продолжу урок - после композиции у нас рисунок - вы тоже сделаете вид, что будто бы ничего не случилось. И главное - ни одного вопроса! Утерпите?

- Утерпим, - прошептал самый младший и поглядел исподтишка на сестру.

- Утерпим! - сказала Маша, но глаза у нее сделались печальные.

Генерал Ильин был у себя в кабинете. В мундире, на столе строгий порядок.

- Васнецов! - обрадовался генерал, выходя из-за стола, и оказалось, что он в домашних туфлях.

По лицу Васнецова скользнуло удивление, и генерал рассмеялся.

- Форма одежды - мое личное изобретение, Васнецов. В мундире работается строже, однако кабинет в жилом помещении, и, отдавая дань домашнему, я - в туфлях на меху. И знаете, в чем главная польза от всего этого: туфли все норовят увести в мечтательность, в прожекты, а мундир сдерживает. Однако и ему нет полной воли. Так-то!

И с опаской поглядел па большую папку в руках Васнецова.

- Принесли?

- Принес.

- Напомните, что вы у нас иллюстрируете?

- «Царскосельский арсенал», по оригиналам профессора Рокштуля.

- Да, конечно... Ну, что ж, показывайте. Генерал, явно волнуясь, платком вытер повлажневший лоб.

Васнецов положил папку на стол, пальцы у него задрожали, когда он распускал тесемки.

- Вот. «Восточное оружие XVII века» - булава Мамелюка, боевой топор, кинжал, «Итальянское, немецкое, французское оружие XVII-XVIII веков» - штуцер Карла XII, натрузки, мушкетон и пистолет, замок аркебузы - и «Немецкие латы XVI века».

Разложил листы, отошел от стола за спину генерала.

- Васнецов! Милый! - Генерал, разглядывая рисунки, надел очки. - Так, так, так! Ах, какое терпение! И, главное, вкус есть.

Латы и оружие были покрыты узорами, тончайшими, очень сложными, и художник не упустил ни одного, кажется, штриха.

- Говорите, первая проба? - спросил генерал Васнецова, а скорее самого себя. - Что могу сказать? Все это надо переводить на доску и литографировать.

Лицо генерала стало веселым, словно груз с плеч скинул. Ильин был из людей, которые, в чем-то преуспевая, желают, чтоб и все вокруг него были довольными, умелыми, нужными государству людьми.

- Знаете, Васнецов, я думал о вас. Теперь вижу - все у вас будет хорошо, однако ж денег в нашей мастерской, хороших денег не заработаешь. Я, разумеется, буду вас рекомендовать издателям... На нашем деле вам ни в коем случае замыкаться нельзя... Мои дети от вас в восторге. Короче говоря, Виктор Михайлович, чтобы несколько оградить вас от бранных забот, переезжайте на первое время к нам. У вас будет комната, где достаточно света, и, главное, не надо тратить время на дорогу.

Васнецов стоял, опустив длинные руки, весь длинный, неловкий.

- Спасибо... Я доброту вашу работой постараюсь...  
Позвольте к детям... Они урок исполняют.

- Позволяю, Васнецов! Позволяю!

Он вошел в класс, очень тихонько, прислонился плечом к косяку. Дети глянули и спрятали глаза. Но вот Маша опять посмотрела и просияла, тут и оба мальчика насмелились поднять глаза.

- Висницов! - прошептала Маша. - Ура!

- Ура! - грянули мальчики.

Дама, одетая по-французски и во французское - живое приложение к «Ниве», улыбнулась и предложила садиться.

- Рекомендация генерала Ильина - предполагает, что вы работаете профессионально и быстро. «Будильник» - журнал сатирический, а потому нас волнуют самые разные стороны жизни, но нам мало одного укора, нам нужно, чтобы явление, вынесенное на страницы журнала, было подвергнуто осмеянию.

Васнецов не мог понять, что необычного в этой твердой, уверенной речи, но что-то было не так.

«Она, наверное, курит», - подумал он, и женщина действительно взяла папиросу и закурила.

- Вы знаете наш журнал?

- Да, я смотрел. Кто же не знает «Будильника»?

- Вот-вот! Популярность ко многому обязывает.

Васнецов поднялся.

- Я вижу, вы человек деловой и быстрый. Это то, что мы ценим. - Дама улыбнулась. - Но прошу задержаться еще на две-три минуты. Вам, наверное, человеку деловому, будет интересно узнать, как мы платим. За рисунок на заданную тему один рубль двадцать пять копеек, причем автор обязан перевести свой рисунок на доску. За свою тему - два рубля. Но так у нас получают художники, которые уже заявили о себе. Для начала за доску по чужому рисунку - рубль и за доску по своему рисунку - полтора рубля. Вам подходят наши условия?

- Подходят.

- Тогда пройдите в редакцию, к нашему секретарю, получите рисунок для пробы.

Казалось, весь Невский проспект смотрел на него и завидовал. Ведь совсем уже скоро все эти люди будут разглядывать в «Будильнике» его рисунки, смеяться над тем, что он увидит в жизни смешного и грустного... Им и невдомек будет, что он – из Рябова, из глухомани.

Рубль за доску, полтора за тему. Ему будут платить за дело, которое он любит. Брюхо, борода, нос картошкой, сапоги – купец!.. Армячишко, лаптишки, хитрые глазищи – мужик!.. И пожалуйста – полтора рубля.

Нет, он положительно чувствовал себя счастливым плутом. Деньги за радость. И совсем не надо думать о куске хлеба.

Наверное, всякий, кто входил в журнальный мир, испытывал эту обманчивую радость и легкость жизни. Деньги, казавшиеся такими большими, когда ни копейки-то в кармане – окажутся горькими, жалкими. Но все это потом. А главное, ничто в жизни большого художника, кисти ли, слова, впустую не проходит, все годится для величественного здания, называемого – Творчество. Каждому кирпичику свое место.

Много лет спустя, на закате жизни, Виктор Михайлович скажет своему биографу:

«В петербургские годы я делал „деревяшки“, то есть резал по дереву свои рисунки. Я делал их, чтобы жить, кормиться, учиться и в дальнейшем иметь возможность создать то, к чему тянуло меня уже давно, что требовали моя фантазия, воображение, душа и сердце. Многое, содеянное тогда по нужде и по молодости лет, я хотел бы забыть, но все-таки все сделанное за это время меня многому научило».

Не такое уж и малое место в жизни художника занимает эта его поденщина, если она дала ему



возможность жить, кормиться, учиться и сама многому научила.

Просматривая «Будильник» тех лет, я так и не нашел работ, исполненных Васнецовым. И не угадал, что бы тут могло принадлежать ему. Васнецов подписывал свои графические работы по-разному: «В.», «В. В.», «В. Васнецов», «Васнецов».

В «Будильнике» таких подписей нет. Дело, видимо, в том, что Виктор Михайлович не был автором рисунков, он их только литографировал, переводил нарисованное кем-то на доску, зарабатывал рубль, а чуть позже – рубль двадцать пять копеек. Есть свидетельства, что три-четыре рисунка исполнены им по собственным темам. По какие?

Юмор в журнале был разного сорта.

«– Куда лезешь, борода! Здесь народное торжество будет!»

Но и такое:

«– Дома Сила Потапыч?

– Дома, почивают.

– Верно, пьян?

– Никак нет-с. В бесчувствии только находятся, а то ничего, как следует».

«– А ты, Семен, отчего не пускаешь детей в школу?

– Боюсь, барин. Учитель наш получает жалованье маленькое, так что и прокормиться-то ему нечем, а ну как с голодухи сожрет моих ребятишек. Тогда что?»

В первые годы петербургской жизни Васнецов сотрудничал во многих иллюстрированных журналах: в «Ниве», в «Семье и школе», во «Всемирной иллюстрации», в «Пчеле», оформлял дешевые народные издания. Но об этом чуть позже.

А пока о невероятном открытии, сделанном Виктором Михайловичем Васнецовым в Академии художеств, куда он явился в 1868 году, чтобы держать экзамен во второй раз.

О ужас! – вдруг выяснилось, что Васнецов Виктор Михайлович экзамен выдержал еще в прошлом году.

Матушка-провинция! И такие вот сказки приключались по твоей невероятной скромности да застенчивости. Из-за того, что не так поглядели, из-за того, что кто-то в усы фыркнул. Тут бы рассмеяться, но силы на смех не хватило. И потом не засмеялся, сказал сам себе со всею вятскою серьезностью:

– Что бог ни делает – к лучшему.

Пропал академический год, но зато был год учебы у Крамского, год досок по рублю за штуку. Работа для картографического заведения генерала Ильина, уроки детям Ильина. Наконец, друзьями обзавелся. Хорошими, для ума и сердца.

О них-то он и думал, выходя из Академии художеств: сказать о казусе или уж лучше промолчать?

Рисующих было меньше обычного, но появились новички. Возле него двое устроилось. Один студент, другой... человек неопределенных занятий.

Рисовали руку. Новички уже успели испортить по два-три листа и теперь приглядывались к работе Васнецова. Потом подошли.

– Не поделитесь ли секретом? – спросил студент. – У нас никак не получается.

– Не то чтобы не получается, – сказал человек неопределенных занятий, – а не получается в превосходной степени.

Васнецов встал на место одного, нарисовал контур руки и другому нарисовал.

– Штрихуйте.

– Ать-два, и готово! – покачал головой человек неопределенных занятий.

– Ну как же готово! – удивился Васнецов. – Вся работа впереди. Вы, должно быть, поступили, чтоб с Крамским завести знакомство.

- О нет! Преследуем высшие цели. Нас заедает гармония познания. Возможно ли почитать себя образованным человеком, коли невежествен в пластических искусствах! Впрочем, не пора ли нам познакомиться? Мстислав Викторович Прахов, филолог.

- И поэт, - сказал его товарищ. - А я Василий Тимофеев сын Савенков, студент.

- Виктор Михайлович Васнецов, а вот кто я?.. До сегодняшнего дня был никто. Вы люди здесь случайные, потому вам могу сказать не таясь... В прошлом году держал экзамен в Академию... Сделал все быстро, а потом кто-то хмыкнул за спиной, кто-то глянул не так. Вот и решил я, что провалился... А сегодня пошел в Академию, чтоб об экзаменах спросить, а, оказывается, я был... принят. Рисунок положительно, а общеобразовательные предметы мне зачли по семинарии.

- Ай-я-яй! - замотал головой Савенков. - Очень, наверное, обидно?

- Что бог ни делает - к лучшему. Здесь Крамской. Он за искусством-то не теряет человека. Ко всем с добрым словом.

- Вы - вятич! - определил Прахов решительно.

- Верно! Поговору смекнули?

- Смекнул... А не пойти ли нам на Неву? День нынче совсем весенний! Такой день для петербургской зимы - подарок.

Пошли на воздух.

Небо в легких облачках голубело по-деревенски простенько, в нем чудилось что-то девичье, нежное, несмелое. Нева была подо льдом, под снегом.

- Кажется, как стена Петропавловки, - сказал Савенков, кивая на лед. - Незыблемо! А ведь унесет за милую душу. Дохнет теплом, и царствие мороза кончится в считанные дни.

- Так же и Россия наша, - сказал Васнецов. - Все говорят - темна. Взять хотя бы и Вятскую губернию... Темна. Темна, да не безнадежна! Вот как вы говорите: дохнет теплом, и просветлеет вокруг.

- Радостно слушать такое! - воскликнул Прахов. - У нас ведь все привыкли поносить свое отечественное на чем только свет стоит. А у России все впереди! Вятич - в школе на Бирже, в академии - тоже уж вся Россия собралась. Пробуждаемся! Только слепые того не видят.

- Вы знаете стихи Хомякова? - спросил Савенков.

- Нет, - виновато улыбнулся Васнецов.

- Тогда послушайте и полюбите.

О Русь моя! Как муж разумный,  
Сурово совесть допросив,  
С душою светлой, многодумной,  
Идет на божеский призыв,  
Так, исцелив болезнь порока  
Сознанием, скорбью и стыдом,  
Пред миром встанешь ты высоко  
В сиянии новом и святом!  
Иди! Тебя зовут народы!  
И, совершив свой бранный пир,  
Даруй им дар святой свободы,  
Дай мысли жизнь, дай жизни мир!  
Иди! Светла твоя дорога.  
В душе любовь, в деснице гром,  
Грозна, прекрасна - ангел Бога  
С огнесверкающим челом.

- Хорошо, - сказал Васнецов. - Только восторгу больно много.

Прахов засмеялся.

- Верно. Многовато. Не все же о горестях плакаться. Взять хотя бы художников. Народными темами увлеклись - прекрасно! Но ведь мало жаловаться на жизнь, надо показать - и во всю мощь, - чем прекрасна Россия, то, чем все мы гордиться должны. Вы былины читывали?

- Нет, - снова признался Васнецов.

- Идемте после занятий ко мне. Художник должен узнавать свой народ не только по лаптям. Вот вы русский человек из глубины России, вы знаете своих русских богатырей?

- Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович...

- Илья, Добрыня и Алеша. Иные, правду сказать, и эту великую троицу не назовут. А ведь есть еще Васька Буслаев, Михайло Помык, Дюк, Дунай, Сухман, Ставр Гоудинович, ну и, конечно, Святогор.

- Я действительно многого не знаю, - признался Васнецов. - Узнать было негде. Но все-таки мои учителя, благословляя в дорогу, отпустили меня не совсем с пустой торбой. «Тогда вступи Игорь князь в злат стремя и поеха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступае. Ночь стонущи ему грозою...»

- «Птичь убуди, - подхватил Савенков. - Свист зверит веста: збися Див, кличт в реху древа: велит послушати земли незнаеме...»

- Васнецов, вы любите «Слово»! - воскликнул Прахов. - Прекрасно! Потому прекрасно, что нет ничего выше в нашей литературе, чем эти «преданья старины глубокой». А как у нас Савенков читает «Слово»! После занятий идемте ко мне. Вы обязательно должны послушать это чтение. Никогда уж боле не забудете.

Так началась эта дружба, много, очень много давшая внимательному провинциалу.

Внимательность - второй дар художника. Картину нельзя написать вообще. Художник потому и художник, что умеет остановить свой взор на том, что всем нам

примелькалось. Примелькавшееся вдруг оборачивается для нас открытием, и чем больше художник, то есть чем он внимательнее, тем величественнее открытие: мы открываем эпоху, народ, человека и самих себя.

1868 год - первый год учебы В. М. Васнецова в Академии художеств. Свидетельств об этом времени сохранилось очень немного. Но они по-своему замечательны. 30 октября Васнецов за этюд двух обнаженных был награжден Советом Императорской Академии художеств серебряной медалью второго достоинства. Успех с первых же шагов в постижении академической премудрости. Видно, горячо взялся учиться наш вятч. В следующем, 1869 году за работу «Христос и Пилат перед народом» или «Пилат умывает руки» он будет отмечен еще одной серебряной медалью, но это чуть ли не последний академический успех.

Репин, скажем, медали получал на протяжении всей своей учебы. Например, в декабре 1869 года ему присудили первую премию в размере ста рублей за картину, в 1870-м - третью, пятьдесят рублей, за скульптуру.

Имя Васнецова тоже находим в отчетах Академии за 1870 год, но как получившего пособие в двадцать пять рублей.

Нужда и учеба для многих были синонимами. Но нужду нельзя рассматривать как причину снижения интереса к академическим занятиям.

Дело, видимо, в том, что журнальная работа захватила Васнецова по-настоящему. Более того, картинки из народного быта принесли ему некоторую известность. Да ведь и реалистическое искусство, с точки зрения Академии, низкое, второсортное, скандальное - находило поддержку не только у передовой молодежи и таких радетелей национального искусства, каким был Стасов, но и в купечестве -

Третьяков, Солдатенков, Морозовы, Цветков, Свешников, – и даже среди императорского двора. Не кто иной, как Великий князь Владимир, бывший в ту пору вице-президентом Академии художеств, указал Репину на этюд «Бурлаков»:

– Вот этот сейчас же начинайте обрабатывать для меня.

Реализм становился знаменем эпохи. Другое дело, кто и в каких целях использовал это молодое, свежее течение в искусстве, ставшее национальным.

Вот почему одновременно с обнаженными, за которых Васнецов удостоился академической медали, он нарисовал карандашом «Монаха-сборщика».

Рисунок, надо думать, понравился генералу Ильину, от которого последовал заказ: нарисовать серию народных типов.

Так явился «Тряпичник», Васнецов сам и отлитографировал его.

К сожалению, многие рисунки того периода утрачены. Утрачены самым прозаическим образом, комнату художника обворовали, а так как взять было нечего, взяли картину и рисунки.

На том злоключения, однако, не кончились.

Хозяйка «Будильника» подала руку для поцелуя. И бедный Виктор Михайлович, покрываясь испариной, совершил сие светское действие.

– Приятно, что мы не ошиблись в вас, – сказала хозяйка, усаживая гостя за игривый карточный столик. – От милейшего генерала я слышала удивительную историю, происшедшую с вами. Да вы прямо беспощадны к себе, если в оценке экзаменационного рисунка строгостью превзошли академических хрычей. – Она весело засмеялась.

– Так уж вот получилось, – развел руками Виктор Михайлович. – История трагикомическая. Но я, пожалуй, даже рад, что целый год занимался у Крамского. Он

много внимательнее академических педагогов. Скажем, Бруни я видел только раз. Он показался нам, как папа показывается народу.

- Академия - притча во языцах! - Хозяйка «Будильника» грустно вздохнула. - Устала от редакционной суматохи... Не хотите ли в карты?

- Во что же?

- В преферанс.

- Вдвоем?

- А мы в «разбойничка», с обязательными играми... Да что вы стушевались. По маленькой, по четверть копеечки.

- Ну, разве что, - сдался Виктор Михайлович и тотчас спохватился. - У меня с собою всего полтина.

- А почему вы должны проиграть? - удивилась хозяйка. - Впрочем, в случае неудачи досками расплатитесь.

Первую партию Виктор Михайлович проиграл, но проигрыш его был менее пятиалтынного. Подняли ставку до полкопейки. И случился выигрыш - более чем в два рубля.

- А вы - рисковый человек! - смеялась хозяйка. - Рисковым везет. «Десятерную» сыграли чисто.

Потом было три проигрыша подряд, незначительный выигрыш и снова два проигрыша.

Подсчитали итог: с Виктора Михайловича причиталось всего десять досок. Хозяйка пригласила выпить чаю, он пил чай, разыгрывая невозмутимость. А вышел на улицу, снегом виски тер. Глупейшая игра обрекала на два месяца рабства.

Шел по Невскому, как в воду опущенный, и вдруг смешно стало. В последней партии он заметил, что хозяйка жульничает, но остановить ее постеснялся.

«Вот оно как богатство-то добывается. Большое - большим воровством, малое - малым».



Почему-то легко стало, словно решил для себя нечто важное, вечное.



*Н. П. Кузнецов. Портрет В. М. Васнецова. 1897.*



*В. М. Васнецов. Портрет отца М. В. Васнецова. Рис. 1870.*



*А. М. Васнецов. Наш дом. Рябово Рис. 1919.*



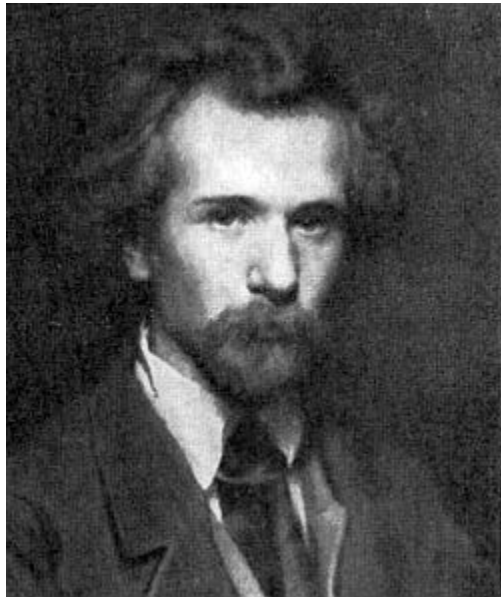
*Вятка. Александро-Невский собор (справа).*



*Петербург. Здание Академии художеств.*



*И. Н. Крамской. Автопортрет. 1867.*



*И. Н. Крамской. Портрет П. П. Чистякова.*



*В. М. Васнецов. Портрет художника В. М. Максимова.  
Рис. 1874.*



*В. М. Васнецов. Портрет художника А. И. Куинджи.  
1869.*



*И. Е. Репин. Портрет В. В. Стасова. 1873.*



*В. М. Васнецов. Портрет М. М. Антокольского. 1884.*



*В. М. Васнецов. Монах-сборщик. Рис. 1868.*



*В. М. Васнецов. Княжеская иконописная мастерская. Рис. 1870.*



*В. М. Васнецов. Книжная лавочка. 1876.*



*В. М. Васнецов. Акробаты. Первый вариант картины. 1876.*



*В. М. Васнецов. Автопортрет. Рис. 1868.*



*В. М. Васнецов. Портрет А. М. Васнецова, брата художника. 1872.*





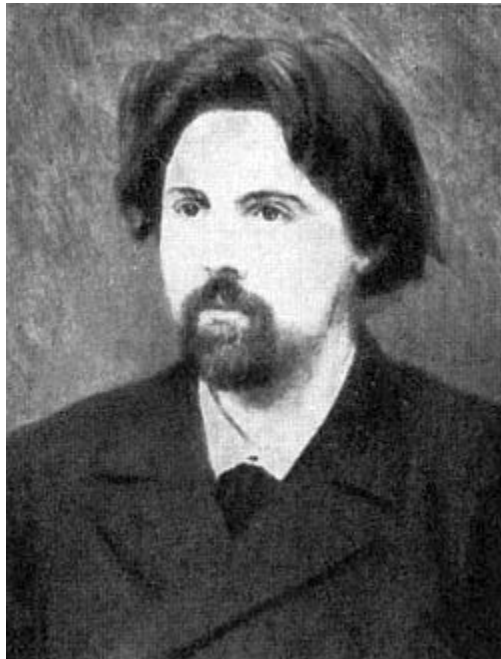
*В. М. Васнецов. Портрет А. В. Васнецовой, жены художника. 1878.*



*В. М. Васнецов. Портрет И. Е. Репина. Рис. 1882.*



*В. М. Васнецов. Портрет В. Д. Polenova. 1882.*



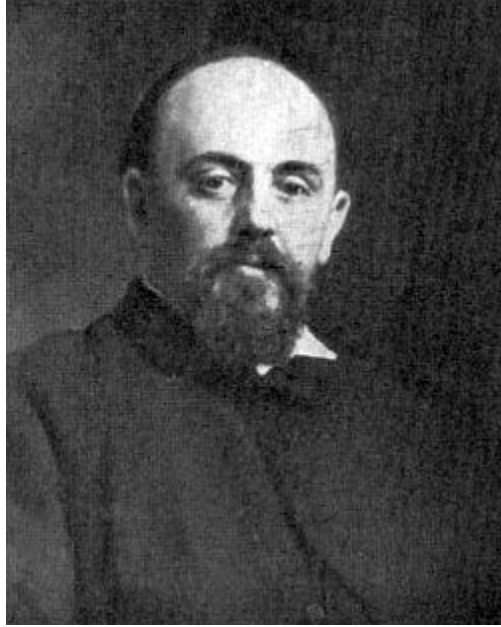
*И. Н. Крамской. Портрет Сурикова.*



*И. Н. Крамской. Портрет А. В. Прахова. 1879.*



*И. Е. Репин. Портрет Е. Г. Мамонтовой. 1878.*



*И. Е. Репин. Портрет С. И. Мамонтова. 1878.*



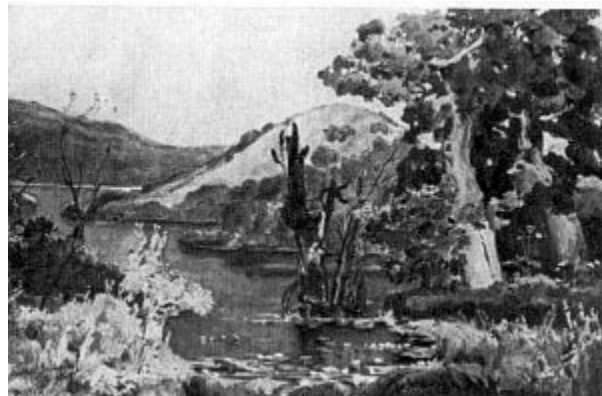
*В. М. Васнецов. Ахтырка. 1879.*



*Церковь в Абрамцеве.*



*В. М. Васнецов. Аленушка. Этюд. 1880.*



*В. М. Васнецов. Ярилина долина. Эскиз декорации к «Снегурочке» А. Н. Островского. 1885.*

1869 год был для молодого художника радостным. В «Иллюстрированной газете» за номером семнадцать 1 мая, на пасху, был помещен его полосный рисунок «Красное яичко».

Почти тридцать лет спустя В. В. Стасов в большой статье о творчестве Васнецова с удовольствием вспоминал о радостном возбуждении читателей «Иллюстрированной газеты» и пересказывал сюжет

композиции. «Это была, кажется, первая его (Васнецова. – В. Б.) попытка соединить реальность с фантастичностью. Было тут изображено громадное яйцо, во весь лист, со множеством комических, ловко нарисованных сценок как внутри этого яйца с растрескавшейся и проломанной скорлупой, так и вне яйца, по всем его сторонам. Посредине всеобщее христосование, целование и обниманье. Целуются официально купцы, бары, мужики, уморительные франты и франтихи, начальники и подчиненные, пьяница и городской, которому тот умильно поднес яичко, чтобы только не тащили его в участок. Вверху – Дед Мороз, рядом – миллион сыплющихся дождем карточек: повара тащат поросят, посыльные – корзинки с вином, а внизу обрадованный черт готовит вместе с какой-то бабой, похожей на ведьму, банки касторового масла; немного же подальше – разное раскисшее старичье лежит уже больное, в колпаках, на постелях».

Странное дело, мы не нашли в номере семнадцать той композиции, о которой пишет Владимир Васильевич Стасов. Композиция там иная.

Народ идет к храму. Стоят со свечами. Священник. Ниже сцены гулянья. Мужики пьют, баба лежит. Ей подносят стакан. Мальчики катают яйца. Еще ниже «приличная» семья. За столом священник. Отказывается от угощения. А мужик уже валяется тут же.

В последнем ряду Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз – веселый мужик, Снегурочка – девушка с лукошком.

На академической выставке 1869 года у Васнецова экспонировалось три рисунка пером: «Старушка с письмом», «Голова папы Иннокентия X» с картины Веласкеса и «Крестьянин-сборщик».

По сообщению Стасова рисунок «Голова папы» был разыгран в лотерею Общества поощрения художеств,

«Крестьянин-сборщик» куплен братом Стасова Дмитрием.

Сразу же, после выставки в литографии Ильина издали альбом выставочных работ «Художественный автограф». Здесь Васнецов выступил и как автор, и как литограф. В его воспроизведении даны рисунки: «Рыбацкая хижина на берегу Азовского моря», «Буря на Черном море при закате солнца», «Вид Исаакиевского собора при лунном освещении» Куинджи, «Окрестности Петербурга зимою» Торопова.

На двадцать втором листе альбома помещен рисунок самого Васнецова «Дети» по стихотворению Некрасова, оригинал этого рисунка купила великая княгиня Мария Николаевна, бывшая президентом Академии художеств. На тридцать седьмом листе «Автографа» воспроизведен рисунок Васнецова «Сборщик пожертвований на церковное построение».

Сохранилось три письменных свидетельства об одном осеннем вечере 1869 года. Вечер этот интересен для нас составом участников и спором, возникшим между Стасовым и Семирадским.

«В назначенное время я был у Антокольского, – вспоминает Стасов. – Он жил тогда уже не со своим приятелем И. Е. Репиным и помещался в маленькой квартирке на Васильевском острове, на углу 7-й линии и Академического переулка. Комната, куда я вошел, была маленькая, низенькая, в два окна, и почти ничто не давало знать, что тут живут художники..., кроме одного исключения, про которое я сейчас скажу. Я нашел уже всех в сборе. Выли тут, кроме самого хозяина, И. Е. Репин, Г. И. Семирадский, П. О. Ковалевский, В. М. Васнецов (не помню, кто еще) и некто Буткевич, тоже художник, тогдашний большой приятель их всех... Первый разговор пошел у нас тотчас же про эскиз из зеленой глины, стоявший на окне, всем им хорошо известный, а мною еще никогда не виденный. Этот

эскиз содержал частицу „Инквизиции“ Антокольского... Я заговорил о нем, о всей композиции Антокольского; молодые художники тоже стали высказывать свои мнения, кто за, кто против необычной новой скульптурной попытки... Затеялся даже горячий спор между Семирадским и мною. Он стоял за искусство идеальное, я – за реальное».

В книге Репина «Далекое – близкое» мы находим темпераментную передачу самого спора:

«Когда Владимир Васильевич сказал, что... скульптура Антокольского для него выше и дороже стоит всей классической фальши – антиков, Семирадский с напускным удивлением возразил, что он с этим никак согласиться не может; что уже в древности у греков были рапорографы и что Демитриас, афинский жанрист, не так уж высоко ценился у тонких меценатов античного мира.

Владимир Васильевич сразу рассердился и начал без удержу поносить всех этих Юпитеров, Аполлонов и Юнон, – черт бы их всех побрал! – эту фальшь, эти выдумки, которых никогда в жизни не было.

Семирадский почувствовал себя на экзамене из любимого предмета, к которому он только что прекрасно подготовился.

– Я в первый раз слышу, – говорил он с иронией, – что созданиям человеческого гения, который творит из области высшего мира – своей души, предпочитают обыденные явления повседневной жизни. Это значит – творчеству вы предпочитаете копии с натуры – повседневной пошлости житейской?..

– Хо-хо! А Рембрандт, а Вандик, Франц Гальс! Метцю... Какое мастерство, какая жизнь!.. Ведь, согласитесь, что по сравнению с ними антики Греции представляются какими-то кастрированными: в них не чувствуется ни малейшей правды – это все рутина и выдумки...



- Как, - кипятится уже Семирадский. - ...Да мне странно даже кажется, - надо ли защищать серьезно великий гений эллинов! Итальянцы времен Возрождения, только прикоснувшись к ним, создали великую эпоху Ренессанса: это солнце для академий всего мира...

Во все время продолжения этого спора мы были на стороне Семирадского. Это был наш товарищ, выдающийся по композиции первыми номерами. И теперь с какой смелостью и как красиво оспаривал он знаменитого литератора!..»

Поспорили и разошлись.

Антокольский в своей «Автобиографии» напишет: «Иногда затевались у нас споры, такие, какие могут быть только в России. Мы спорили и кричали все вместе, не слушая ни других, ни самих себя».

В передаче Репина мы, однако, услышали два голоса, Стасова и Семирадского. Васнецов же, который Репину не запомнился, вернее всего, только слушал, чтоб ни одного слова не пропустить.

Некоторое время спустя он встретится со Стасовым в литографии генерала.

- Наш прекрасный рисовальщик, - представит Ильин своего любимца. - Виктор Михайлович, покажите господину Стасову ваши новые рисунки.

Перед Стасовым рядком лягут три рисунка: «Дыра в сапоге», «Жирный купец с приношением в передней у пристава», «Купеческое семейство в театре».

- Да, - скажет Стасов. - Да!

Он торопился, а картинки молодого художника были в ряду тех, какие охотно публиковались журналами.

С открытием еще одного дарования маститый критик не спешил.

От добра добра не ищут.

Публике правится народная жизнь - пожалуйста. И чтоб немного юмора? - Пожалуйста.

Работа сама теперь находит художника, и он дорожит ею. Он готов исполнить любой заказ.

Ему доверяют сделать рисунки к двум азбукам Н. П. Столпянского.

Это дешевенькие в четверть листа книжечки на плохой бумаге. Одна из них – «Солдатская», составленная по поручению начальника штаба местных войск Петербургского военного округа. Азбука незатейливая, и рисунки к ней тоже на удивление просты.

А – амуниция, амуниция и нарисована. Е – ефрейтор, елка, нарисован ефрейтор и елка тоже. И – инвалид, па рисунке изба, солдат. Ч – чай, чайник, чашка, и мы видим двух солдат за самоваром. Ш – штабные офицеры. Офицеры играют в шахматы. Х – хлеб. Нарисованы полки с хлебом. З – знамя. Сценка боя. Всего тридцать рисунков.

В «Народной азбуке» – сорок пять рисунков. На обложке старик. Одной рукой он гладит мальчика по голове, а другой указывает на фабричные трубы, и надпись: «Время – деньги, знание – богатство». На задней обложке сверху – фабрика, солнце над трубами, изречение: «Ученье – свет». Внизу – под кроной дерева соха, каменный топор и вторая часть истины: «Неученье – тьма». Рисунки тоже очень немудреные. Колоски, паутина, чучело на огороде, глухарь, утки на озере. Слон. Филин. Иисус с крестом.

Величина изображений с копеечку, но все рисунки внятные, в них нет какой-то второй мысли.

Успех этих азбук, однако, был замечательный. В. В. Стасов подсчитал, что «Солдатская» «в течение 18 лет появилась в 30 изданиях в количестве 560 000 экземпляров; вторая („Народная“. – В. В.) в течение 20-ти лет появилась в двадцати пяти изданиях в количестве 520 000 экземпляров. Значит, всего их издано было и пущено в свет 1080000 экземпляров.

Какая громада изумительная! Сколько же русских нашего поколения, всех сословий, имели возможность – редкий и неоцененный случай – учиться в детстве грамоте по рисункам отличного художника!»

Было бы наивно полагать, что Виктор Михайлович Васнецов, создавая рисунки к этим азбукам, ставил перед собою какие-то особые педагогические задачи. Дело тут и проще и сложнее.

Васнецов от природы был наделен изумительным даром простоты.

Иные художники всю свою жизнь идут к простоте, понимая ее как высшую степень искусства. Лев Толстой к «Отцу Сергию», «Хаджи Мурату», «Кавказскому пленнику» шел через «Войну и мир». О творчестве В. М. Васнецова можно сказать, что он сразу начал с «Кавказского пленника». Правде простоты он был верен всю свою жизнь.

Совсем иначе получилось у Васнецова со сказками. По заказу Ильина он исполнил рисунки для «Конька-Горбунка» Ершова.

Как это ни странно, на его работе сказалось влияние заземленных, маловыразительных рисунков Рудольфа Жуковского, иллюстрировавшего «Конька-Горбунка» для дешевого народного издания.

Не блеснул Васнецов и с темой «Жар-Птица», исполненной для «Иллюстрации».

Тридцать восемь рисунков было сделано им для детской книжки «Козел-Мемека, приключения Козла-Мемеки и его друзей». Составил книжку П. Ряполовский.

В. В. Стасов об этой работе отзывается восторженно. В книжке «рассказываются в довольно посредственных стихах путешествия по белу свету шести друзей: козла, барана, овцы, кошки, чушки и ежа. Но иллюстрации Васнецова – истинный шедевр изображения животных, разнообразных их поз, движений и душевных состояний... У нас эта книга не

была никогда не только оценена, но даже замечена. Она проскользнула неотмеченной среди груды других банальных детских книжек, появляющихся к рождеству и к пасхе, и исчезла вместе с ними. А между тем, я думаю, иллюстрации эти ничем не ниже иллюстраций Каульбаха к „Рейнеке Фукс“».

В. В. Стасов прав, но ведь и жизнь права. Будущее – селекционер беспощадный. Книжка П. Ряполовского критики не выдерживает, так же как и сказка, напечатанная в первой книге журнала «Семья и школа» за 1871 год. Сказка называется «Как кролики победили кошек». Вот два фрагмента из этого опуса.

«Жил-был маленький мальчик, хорошенький, веселенький, такой же веселенький, как ты. У него были такие же розовые щечки, такие же стоптанные башмачки, как у тебя...»

А вот речи героя, мальчика пяти лет:

«– (Погулять?) Охотно, кролик. Только ведь вы ходите очень скоро, я не успею за вами...»

К этой сказке Васнецов сделал пять рисунков: Коля и Трезор, Коля и кролики, кролики вооружаются, Коля спасается на дереве от разъяренной кошки. Коля-командующий.

На четырех из пяти рисунков стоит подпись: «В.В.». Значит, Васнецов дорожил работой.

Видимо, нельзя говорить о неразборчивости художника или о каком-то недостатке вкуса. Детская литература была в те поры умирительно-розовой. Произведения, подобные «Козлу-Мемеке» или «Как кролики победили кошек», воспринимались нормально: такова детская литература.

С другой стороны, художник еще не мог выбирать. Большой заказ радовал. Это была работа, дающая хлеб.

1870 год для Васнецова – год накопления художественных впечатлений. Причем это уже не случайная работа – увидал выразительное лицо,

умилился ребенком, играющим с собакой... Отвечая запросам времени, молодой художник ищет в жизни типическое. Он рисует не галантерейщика Семена Потапыча, но «купца», не Пантелеймона, служащего в приходской церкви дьяконом, но «дьячка».

В журнале «Нива» появляется полосный рисунок Васнецова «Маляр». Редакция сопровождает его характерным для того времени пояснением: «Да, ремесло это, подобно многим сопряженное с употреблением химических продуктов, тяжело отзывается на здоровье. Постоянное вдыхание так называемых корпусных красок обуславливает различные расстройства в организме. Так от свинцовых и медных красок (каковы крон, сурик, свинцовые белила, ярь медянка) делается свинцовая и медная колика, отвердение желудка с острою болью, судороги и т. п. От мышьяковых (желтый опермент, красная реальгарь) происходит слюнотечение, судороги в горле, тоска, обмороки...»

Таким образом, художник, видимо, по заданию редакции исполняет социальный заказ. Его «Маляр» должен не только быть типичным, он еще и укор обществу, не заботящемуся об охране здоровья своих ремесленников. Художнику вдруг открывается, что искусство – это не только поиск вечной красоты, но и служение своему народу, возможность ставить общество перед проблемами, которые оно обязано решать.

Графика для Васнецова стала школой гражданственности.

Так появились грифонажи: «Крестьянин в шляпе», «Мальчик с собачкой», «Старик нищий перед съестной лавочкой».

Пробует себя Васнецов и в живописи. К 1870 году относится его маленькая акварелька «Витязь». Первый отклик па томление и беспокойство души.

Все, казалось бы, идет хорошо. Есть работа, есть небольшие деньги для нормального существования. Даже награды уже есть.

И вдруг известие из дома: умер отец.

«Как будто пол подо мной провалился», – скажет много лет спустя Виктор Михайлович.

Михаил Васильевич Васнецов скончался 22 марта 1870 года. На его могилу сын приедет через год, сам совершенно больной, надломленный петербургской потогонной жизнью.

Однако в том же 1870 году произошло событие, очень много решившее в становлении Васнецова как художника – вернулся из Италии Павел Петрович Чистяков.

Иные противопоставляют школу Чистякова школе Академии, а между тем вся жизнь Павла Петровича связана с Академией. 1849–1861 годы – учеба, 1862–1870-й – академическое пенсионерство, 1870–1890-й – преподавание в Академии, 1890–1908-й – заведование мозаической мастерской, с 1908 года – снова преподаватель.

Что верно, то верно – начальство Чистякова никогда не жаловало, а коллеги, ревнуя к успеху у студенчества, ставили палки в колеса: провалили на золотую медаль его ученика Сурикова, прекрасные работы другого его ученика, Серова, оценивали средними баллами...

И однако ж и педагогическое, и художественное явление – Чистяков плоть от плоти – академическое. В погоне за ускользающим совершенством А. А. Иванов – автор единственной картины. П. П. Чистяков и одной не создал. За восемь лет пребывания в Италии – четыре законченных этюда. Правда, эти этюды стоили иных картин, в том числе и собственной, так никогда и не завершенной, «Смерть Мессалины, жены императора Клавдия».

В письме родным Василий Дмитриевич Поленов писал 23 сентября 1870 года: «Чистяков вернулся из Италии. Хотя привез мало, по зато, что привез, изумительно и по живописи, и по рисунку. „Муратор“ (каменщик у стены) захватывает, хорош тоже „Нищий“ и особенно „Чучарка“ – итальянка. Он говорил, что это портрет известной красавицы Джованинны. Хорошо бы у него опять поучиться».

Было бы несправедливо сказать о Чистякове, что он мало работал, живя в Италии. Просто форма работы его была иной: он не столько стоял за мольбертом, сколько перед картинами великих, и, главное, много думал о путях и смысле искусства. Его «Мессалина» – работа чисто академического толка, из головы, но все его этюды – это сама жизнь.

До поездки за границу Чистяков, будучи одним из лучших учеников Академии, давал уроки, чтобы было, на что жить.

Вернувшись на родину, он с первого появления в Академии – учитель. Таков был его дар. И судьба послала ему в ученики весь цвет русского искусства: Суриков, Серов, Врубель, Борисов-Мусатов, Рябушкин, Поленов, Остроухов, В. М. Васнецов, А. М. Васнецов, Репин...

Сам Павел Петрович никогда не был чистым реалистом. Его стремление к идеальному осталось в нем навсегда. Неверно, будто бы он не дописал «Мессалину» потому, что, «обратившись впервые к такому условному и, по существу, далекому для себя сюжету...», он понял, «что сама по себе идея была слишком незначительной» (Н. Молева, Э. Белютин).

Через много лет, в 1887 году, в письме к любимому ученику Савинскому Чистяков будет по-прежнему болен своей вечной работой. «А я все пачкаю свою Мессалину, цвета стал искать, а в то же время ногу согнутую думаю выпрямить (разумею у Мессалины ногу). Так лучше

выходит. Ну, одним словом, рутина гнет и подбирает под себя. Нет, искусство все-таки – красота. Конечно, и правда, но правда красивая. А красивое ни угловато, ни крайне быть не должно. Вот тут-то и мудрость – сделать и натурально, истинно и не приторно слащаво-глуповато-условно. Помирить все это... Трудновато».

Идеала искал. А ведь знал и сам же и поучал того же Савинского: «Идеал – это теория. Практика все сомнет по-своему».

Мы не будем здесь разгадывать загадку, почему картина так и не была написана. Отвечая на вопросы редактора «Нивы», Чистяков скажет: «Вероятно, не по силам. Хотя композиция картины удачная, и до сих пор остается без изменения, но частности не поддаются...»

Приведем еще отрывок из письма Чистякова, посланного из Италии в Россию 10 мая 1870 года: «Маленькие Боткины говорят, что я, когда 70 лет буду, и все еще не кончу Мессалины. А что в самом деле, не себя ли изображаю этой Мессалиной?»

Как так могло получиться – художник, составивший себе имя реалистическими картинами, воспитавший плеяду великих реалистов, положивший всю жизнь свою на утверждение реалистической школы, обойденный за эту приверженность к правде жизни в чинах и наградах и всячески претерпевший, в душе оставался классиком?

Вот чистяковское письмо, отправленное им в марте 1887 года Савинскому:

«Наконец-то выставки наши<sup>[2]</sup> открылись, и я успел побывать на той и на другой. Самая выдающаяся картина – это картина В. И. Сурикова „Боярыня Морозова“ (при Алексее Михайловиче). Картина написана нынешним приемом, но дело это самое плохое, потому его оставим. В картине этой столько жизни, столько правды и сути, – этой бесшабашной,



бесконтрольной людской глупости, просто увлекаешься и прощаешь всякую технику. Да и по низости и грязи сюжета высшую и тонкую технику и давать не стоит. Молодец, Василий Иванович!.. Картина В. Д. Поленова большая,<sup>[3]</sup> очень хорошо написанная, немножко лиловата и сочинена ниже содержания, заключающегося в самом событии. Картину эту купил государь за 30 000 руб. Картину Сурикова купил П. М. Третьяков. Сколько бы картин ни написали все нынешние художники, что бы они ни говорили, все они не художники против итальянцев эпохи Возрождения. Чистое служение и во всю мочь свою потребностям изящного искусства и есть настоящее искусство...»

Вот такой человек появился в классах Академии, зажигая глаза студентов любопытством, радостью, надеждой. При всей приверженности классическому искусству Чистяков не может не признать, что картина Сурикова выдающаяся.

У жизни своя правда, свои неожиданности и стечение обстоятельств.

Во второй части письма Поленов, сообщив об Академической выставке Чистякова, за которую тот был удостоен звания академика, Василий Дмитриевич переходит к рассказу о посещении мастерской своего товарища и соперника по конкурсу на Большую золотую медаль, дающую право на заграничную командировку.

«Был у Репина в академической мастерской, светлое большое помещение, хорошо, что его выделяют и поощряют. Бруни, который держит себя довольно далеко от учеников, у него был и давал советы.

Он (то есть Репин) был с Васильевым летом на Волге и привез несколько эскизов и много интересных этюдов, бурлаки и мужики на плотях, один бурлак особенно удался, совсем живой тянет барку на фоне Жигулей и неба, и все при солнце. Это большой талант».

Не удивительно ли, в одном письме о Чистякове и о бурлаках Репина? А ведь почти в то же самое время произошло событие, повлиявшее на весь ход художественной жизни России.

2 ноября был утвержден Устав Товарищества передвижных художественных выставок, написанный Григорием Григорьевичем Мясоедовым. Вдруг все сошлось разом: передвижники, Чистяков и Репин со своими «Бурлаками».

Первыми профессорами Петербургской Академии художеств были: Стефано Торелли, Ле-Лорень, Ж. Ф. Лагрене, Н. Жилле, но впоследствии иностранцев заменили русские выходцы из Академии. Складывалась и своя отечественная система преподавания. Вот заповеди одного из профессоров конца XVIII века И. Урванова:

«Живопись означает только цвет вещей, – наставлял он, – а всю существенную оная силу делает рисование; и так весьма справедливо почитают его душою и телом не только живописи, но и всех вообще образовательных художеств».

Отсюда следовало: художник, в совершенстве не владеющий рисунком, не сможет постигнуть таинства живописи. Почему? Да потому, что не сможет с достаточным приближением следовать натуре.

Натура – второй столп старой академической школы.

И. Урванов об этом сказал весьма выразительно: «Делание с натуры есть самое важнейшее в художестве учение, и ничто не ведет столько к истинному познанию. Ею все дела как в рисовании, так и в живописи усовершенствуются».

Другой корифей Академии, Алексей Егорович Егоров, уточнил этот принцип: «Рисовать, а не срисовывать».

Принципы школы Чистякова те же самые.

«Изучение рисования, – записал он, – строго говоря, должно... начинаться и оканчиваться с натуры; под натурой мы разумеем здесь всякого рода предметы, окружающие человека». И еще: «Техника – это язык художника, развивайте ее неустанно до виртуозности. Без нее вы никогда не сумеете рассказать людям свои мечтания, свои переживания, увиденную вами красоту».

Так в чем же тогда дело, почему столько недовольства академическим преподаванием, почему Репин, удостоенный благосклонности самого Бруни, признавал за учителя именно Чистякова, у которого он взял всего-то несколько уроков да пользовался его советами при написании конкурсной работы?

Ответ мы находим опять-таки у Чистякова.

«Они натуры не держатся, – говорил он о профессорах Академии, – а создают ее сами. Еще бы, они профессора Российской школы. Они и подсвечник наизусть напишут, только вместо металла-то – мыло выйдет». И далее: «Черпать... все только из себя или из духа своего, не обращаясь к реальной природе, означает останавливаться и падать».

В Академии Чистяков числился учеником Петра Васильевича Васина, «числился» – подчеркивал сам Чистяков. Васину по большей части и адресуется его укор в том, что нынешние профессора натуры не держатся. Ученик действительно пошел не в учителя. Басин за одиннадцать лет академического пансиона в Италии написал около ста двадцати картин!

У Виктора Михайловича Васнецова в учителях были тот же Васин и еще двое – Сократ Максимович Воробьев, сын Максима Никифоровича, воспитавшего Айвазовского, Боголюбова, Лагорио, Шишкина, Клодта, и Василий Петрович Верещагин, профессор из вновь испеченных, соученик Чистякова. Обилие учителей объясняется тем, что по Уставу 1859 года ученики не

закреплялись за преподавателями. Профессора дежурили в очередь, по месяцу.

В мастерскую вошел невысокий, коренастый, безупречно одетый человек, с бородкой, с пышными, холеными усами. Лоб крутой, залысины придают лицу выражение ума напряженного, беспокойного, упрямого. От вошедшего веяло правдой.

«Чистяков!» – раздалась шепоты, и наступило ожидание.

Остановился у мольберта, что был ближе к двери. Посмотрел. Улыбнулся.

– Мучаетесь со светом?

– Не выходит.

– У вас свет вверху и полутон в нижней части. Что из этого следует? А то, что в свету складки имеют, если смотреть на них внимательно, каждая свой свет, полутон и рефлекс в тени. В тени рефлекс сглаживается общим световым пятном. Полутоны тоже служат свету, то есть теряются.

– Спасибо, Павел Петрович! Я вижу, не так у меня что-то. Теперь-то понятно.

– Пробуйте, пробуйте! отошел к другому.

– Фигура у вас правильно поставлена. Будьте смелее. Когда видишь, что композиция ясна, надо работать смело и быстро. О Чистякове говорят, что он слишком медленный. А я своего каменотеса за семь часов и начал, и закончил.

– Ай, как чемоданисто! – засмеялся он возле очередной работы. – Тут же вот как... – Карандашом указал ошибки. – Понимаете?

Мастерская оттаяла.

Мудрый Чистяков оказался доступным, своим, все видит, схватывает на лету.

– Что вы так близко стоите к картине? Вы близорукий?

– Нет.

- Вот и не фокусничайте! Ни дальнозоркий, ни близорукий - в смысле писания картины - не могут служить образцом. Простота техники, тона и силы - вот что нужно, - не ярко, не резко, а ласкает душу.

Чистяков шагнул к мольберту, на котором стоял большой лист, рисованный карандашом. Программа называлась «Княжеская иконописная мастерская».

Потрогал усы, зоркие глаза его потеплели, стали домашними.

- Чья работа?

- Васнецова.

Опять смотрел, чуть склонив голову. На переднем плане обратная сторона огромной, в рост человека, иконы. Перед иконой вальяжный, спокойный зритель. Видимо, сам князь. С ним двое. Один, солидный, самостоятельный - боярин. Другой, если и боярин, так из угодничающих. Людей в помещении много. Смотрят иконы в дальнем углу. Здесь и шубы знатных, и рясы монахов-иконописцев, отроки-ученики. А один, совсем мальчик, забрался на лестницу, под потолок. Там он и под ногами не путается, и не виден никому, но сам-то всех зрит!

- А где он, Васнецов? - спросил Павел Петрович.

- Вот он, - студенты, посмеиваясь, выталкивают из своей тесной группы очень высокого, тонколицего, вмиг покрасневшего молодого человека.

- Очень рад! - сказал Чистяков. - Искусство - проявление человеческого духа, и вы правы, что высоко берете! Я давно уж заметил: как начато, так и кончено. Это и к картине можно приложить, и ко всему творчеству.

- Я, когда принимался, много смотрел вашу «Софью Витовтовну на свадьбе Василия Темного», - признался Васнецов.

- Вижу, что смотрели. Но - только все у вас свое. У меня - жест, движение. А у вас вроде бы все стоят, но

тоже ведь в движении! Ведь живут. И характеры есть. Все крупно, величаво. За этим стоянием эпоха чувствуется. Движение самой эпохи. Спасибо вам, Васнецов. Обрадовали.

Уж и работать далее не смог. Домой пошел. А в груди – музыка. Сел на стул – ноги дрожат. Бросился на кровать – лежать глупо, бездарно! Снова выскочил на улицу. Поглядел окрест – музыка, музыка разлита по вселенной.

Город – музыка. Облака, летящие над Невой, – музыка. Орган. Как же прекрасно жить на белом свете!

Прибежал к Савенкову. Тот, прихлебывая чай, что-то переписывал в тетрадь.

– Здравствуй, Васнецов! Послушай, какая прелесть! У меня слезы на глазах выступают от счастья, когда читаю.

И тотчас начал декламировать:

Из монастыря да из Боголюбова  
Идет старец Игренища,  
Игренища-Кологренища,  
А и ходит он по монастырю,  
Просит честныя милостыни,  
А чем бы старцу душа спасти,  
Душа спасти, душа спасти, ее в рай спусти.  
Ну, это зачин, а вот дальше слушай:  
Пришел-та старец под окошечко  
К человеку к тому богатому,  
Просил честную он милостыню,  
Просил редечки горькия,  
Просил он капусты боляя,  
А третьи – свеклы красныя.

Васнецов слушал про Игренищу, а думал свое: встал перед глазами богатырь на коне. Что он, богатырь-то,

делать должен? Границу озирать, нет ли где нашествия. Стало быть, в рукавицу глядит.

А Савенков – само счастье. Былинка и впрямь презанятная. Вынесла редьки, капустки да свеклы старцу девушка, ее-то он и прихватил в мешок.

– Васнецов! – воскликнул студент в отчаянье. – Ты, я вижу, куда-то уплыл. Ну, послушай, милый, послушай, как же это все удивительно:

И увидели ево ребята десятильниковы,  
И бросались ребята оне ко старцу,  
Хватали они шилья сапожные,  
А и тыкали у старца во шелковой мешок:  
Горька редька рыхнула,  
Белая капуста крикнула,  
Из красной свеклы рассол пошел.

– Прекрасно! – Васнецов вскочил, поднял Савенкова, поцеловал в сияющие глаза. – Спасибо тебе! Ах, спасибо!

И убежал.

Дома – за лист бумаги. Сначала пером, потом акварелькой. И вот он – богатырь. Первый васнецовский богатырь. Витязь могуч, конь тяжел – серьезная сторона, где этакая застава.

И сразу покойно на душе сделалось. Удивительно покойно, словно домой воротился.

Подумалось:

«А все Чистяков».

В конце жизни Виктор Михайлович скажет биографу о своей первой встрече с Павлом Петровичем:

«Это было для меня как бы благословением отца. Он окрылил меня, влил силы и убежденность. Он научил понимать назначение художников и деликатнейшим, проникновенным образом указал, поощрил мою дорогу в

искусстве. Благословил на нее. Спасибо ему за это  
чрезвычайное!»

Январь. Зима всю раскатилась по матушке-России,  
а в Петербурге слякоть. С неба то дождь, то хлесткая  
отвратительная крупа, то снег ошметками, мокрый,  
тяжелый. Тоска.

Но тосковать времени нет. Из Академии на урок, с  
урока в литографию, в редакции.

Для «Семьи и школы» нарисовал бурлаков к  
рассказу Н. Александрова «Волга». Рисовал, держа в  
уме репинские этюды. Волгу толком не видел, а  
хотелось точным быть.

Журналам подавай сцены из жизни, чтоб типы были  
и чтоб с юмором.

Нарисовал «Обучение терпению». Молодой человек  
водрузил на нос собаки кусочек хлеба. Вроде бы  
смешно.

Нарисовал пьяненького могильщика. Могилу копает,  
мордастый, веселый.

Нарисовал чиновника с газетой, на стол ему  
поставил бутылку, стакан. Рисунок назвал  
«Развлечение».

Деньги нужны.

А потому ничем не брезговал.

Для «Всемирной иллюстрации» сделал полосный  
рисунок «Пляска лезгинки на Кавказе», в редакции  
вроде бы довольны остались.

Нацарапал пером картинку «С квартиры на  
квартиру». Бедный отставной чиновник со старухой  
женой и со скарбом на салазках.

В книжку для народного чтения взяли его офорт  
«Зима».

Нарисовал композицию «Заштатный», «Книгу для  
маленьких детей» отиллюстрировал.

Тут и любопытная девочка, которой нос дверью  
прищемили. Нос раздулся. Хоть и посочувствуешь



бедняге, а все рассмеешься. Нарисовал франта с опухшей от зубной боли щекой. Котят, напяливших панталончики...

Смешно! А самому невмоготу. За окном целый день серо, будто больничное одеяло на него повесили.

В груди сипы, кашель, хоть и с мокротой, но бьет уже целый месяц. О братьях меньших все время думается. Ведь одни теперь. То есть все пристроены, все учатся, но коли ни отца, ни матери - одни. Сиротство.

Встали перед глазами их рябовские бугры в кудрявых лесах. Огромные деревья за домом, за церковью. Рябовский свет! Ливень света! Особенно зимой, в мороз, при ясном-то небе. Ливень света! О господи! Хотелось молиться и плакать.

Отхаркнул мокроту.

Выпил настоя мать-и-мачехи, зажег лампу. Чтоб в полдень с лампой сидеть!

Сел за стол, закрыл глаза - и опять увидел вятский ливень света.

И не зная почему, может, от сиротства своего, от немочи, от великой тяги к доброму, к материнскому, к свету, стал рисовать Богородицу с младенцем.

Не отошел от стола, пока не закончил рисунка. Посмотрел - прекрасно. Нежная, горькая, великая в подвиге своем - благодатная.

Тихонько вздохнул и лег спать.

Утром поехал к Ильину, попросил денег в долг, потом в Академию взять отпуск.

Домой, домой - пока кровью не закашлял!

К Петру Федоровичу Исееву с разбегу, с улицы пойти не посмел. Конференц-секретарь Академии бывает крут с учащимися. Пошел излить душу Репину, а у того в мастерской рябоватый, кудреватый, веселый человек Максимов.

- Эко! - удивился он. - От кашля на Северный полюс бежит. Да в твоей Вятке ты не толькодохать не перестанешь, но вдобавок еще и не прочихаешься. Вот что, друг Васнецов! Я тут в Киев собрался, в издревле святорусские места, айда со мной!

- Виктор, не раздумывай! - загорелся Репин. - Наша малоросская земля теплая, добрая, а сонечко и подавно гарное. А какие у нас зирочки, а какие паночки! Езжай, езжай и возвращайся здоровым да с картиною в придачу. Я «Бурлаков» на Волге сыскал, а ты вдруг на Украине свое счастье творческое найдешь.

Поездка на Украину состоялась, только вот удачной ее никак не назовешь. Здесь Васнецов заболел холерой. Максимов товарища в беде не бросил, рискуя заразиться, ходил за ним, как за малым дитем, и выходил.

К сожалению, сведений об этом рисковом событии в жизни обоих художников почти не сохранилось. Авторы разного рода статей о Васнецове любят помянуть, что о художнике написано много. И действительно, много, а вот толковое жизнеописание пока что одно - книга Моргуновых.

В архивах Русского музея хранится тетрадоочный листок с датой 13 июля 1871 года. Видимо, для врача выздоравливающий Виктор Михайлович записывал, что ел и, главное, сколько пил: холера обезвоживает организм.

«Вчера с утра чувствовал хорошо, - читаем мы в этом своеобразном дневнике, - чаю выпил 2 1/2 стакана с полубулкой. Завтракал кусок говядины. Хорошо обедал в 2 1/2 часа с аппетитом (ел) суп с говядиной и жаркое говяжье. Пили кофе 1 1/2 стакана пол-дубовый, после обеда хорошо. Чаю вечером пил 3 1/2 стакана. В 8 часов гулял, после прогулки забулькало и заворчало, слабость... Сегодня поутру чаю пил 3 стакана с

полубулкой... Живот обвяз – давление и легкая тяжесть в голове, мочи выделяется не сильно...» и т. д.

Холеру молодой организм осилил, но, видно, болезнь эта для творчества даром не прошла. Позже, прожив несколько лет в Киеве, и потом, бывая в нем наездами, Васнецов так никогда и не обратился в своем творчестве к украинским темам. А ведь сам Киев для живописца с его стариной, Днепром, далями куда как соблазнителен.

От болезней, душевных и телесных, лучше всего все-таки лечит родина. И, не заезжая в Петербург, Виктор Михайлович отправился искать потерянное было здоровье – в Вятку.

## **ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ**

### **РЯБОВО. АКАДЕМИЯ. ПАРИЖ**

Васнецов, как прилетная птица, порхал над родным гнездовьем, и кипучие слезы радости навертывались то и дело, то и дело.

- Раздериha ты, Раздериha! - говорил он оврагу.

- Здравствуй, дедушка Трифон! - умилялся он монастырским стенам, корпусам братских келий, куполам Успенского собора.

- Даль ты моя! Ах, даль ты моя вятская! - пело в нем над речной кручей, над ликующими сильными водами Вятки.

Васнецов летел-бежал по улицам, притрагиваясь иногда к домам, чтобы ощутить ответное тепло старых своих знакомцев. Ему казалось, что дома все живые, смотрят на него окнами и улыбаются.

Он чувствовал себя заговорщиком, и то был чудный заговор, заговор счастливых. А вот и библиотека.

Захотелось заглянуть в музей, что прибыло.

Музей организовал Петр Владимирович Алябьев, просвещенный вятский человек. В музее всякой всячине были рады. Минералы, окаменелости, гербарии, чучела животных, археология.

Пока стоял у дверей библиотеки, глаза на родное почти здание, мимо него прошли две девушки.

С одной встретился глазами, сердце вдруг дрогнуло. Еще постоял - оробел отчего-то. Все же вошел-таки в здание.

Ноги сами понесли по музею - догнать незнакомок.

- Васнецов! Милая знаменитость наша! - Раскрыв объятия, к художнику шел совершенно ему незнакомый человек.

- Простите? Какая же я знаменитость?

- Но, но!.. Мы и журналы выписываем, и «Художественный автограф» приобрели. Советую на живописный жанр переходить. Тут будьте любезны - талант весь наружу! Милейший Васнецов! Предлагаю вам договор: вы прославляете наш медвежий угол, а мы, то есть отчий край, соорудим вам памятник по подписке. А?!

Васнецов, кивая головой, пятился от незнакомца, да и сиганул в соседнюю залу. Кто-то весело засмеялся. Они!

Развел руками.

- Идите с нами, мы вас спасем! - сказала румяная, со строгими глазами девушка.

Он подошел к открытой витрине, где темнела спираль огромного аммонита.

- Смотрите! Это же наша закаменелость. Видно, братья привезли.

Погладил.

- Камень, а ведь когда-то дышало, жило!

- Руками не трогать! - строго сказал смотритель. Васнецов покраснел, а девушки снова засмеялись.

- Не везет! - огорчился он.

- Отчего же не везет? Напротив, знаменитостью признали.

- А вот рассержусь, да и впрямь стану знаменитостью.

- А вы кто - писатель? - спросила девушка со строгими глазами.

- По рисовальной части.

- Он напишет твой портрет! - пообещала подруга.

- Напишу, - согласился Васнецов. - Непременно. Вышли из музея втроем.

- Как же зовут вас? - спросил Васнецов.

- Ну, как меня зовут, вам знать не очень-то интересно! - встряла бойкая.

- Александра Владимировна! - быстро назвалась девушка со строгими глазами. - Рязанцева.

- Виктор Михайлович... Васнецов.

- Вот и познакомились! - сказала бойкая.

- Да, - сказала Александра Владимировна просто и строго.

- Я бы хотел... Можно было бы... в храм сходить. Веселая девушка давилась смехом.

- Вот уже и в храм зовут!

- Нет! - вспыхнул Васнецов. - Художник Андриолли заканчивает роспись... Мне кажется, это интересно будет.

- Да, - сказала Александра Владимировна. - Мне это интересно.

- Тогда до завтра. Можно вот здесь и встретиться, если вам недалеко и удобно. В три пополудни.

- Мне удобно, - сказала Александра Владимировна.

С Васнецовым Михаил Францевич говорил теперь как с равным, ждал его слова, показывая ему картонки, приготовленные для очередного храма.

Его богоматерь была утонченно прекрасна, и ее сын с огромными глазами тоже был чудо-ребенок.

- Разве это не красиво? - спрашивал Андриолли, сам с удовольствием любясь образом. - Можно ли написать человеческое лицо еще более прекрасным? Васнецов, можно или нет?

- Не знаю, - сокрушенный своей же честностью, признался Виктор Михайлович.

- Отчего же не знаете? Вы многое теперь видели! Встречалось ли вам в Академии или в Эрмитаже лицо, которое красотой превосходило бы это изображение?

- Не знаю, - тяжело вздохнул Васнецов.

- Да как же вы не знаете! Встречалось или не встречалось?

- Не знаю! Не знаю, что такое красота! - в отчаянье всплеснул руками Виктор Михайлович. - Поглядишь

иногда, вроде бы и дурное, никакого совершенства, к идеалу близко не стоит, а лучше и не надо.

- Да какое же такое лицо вас поразило?

- Но ведь многие! Многие лица! Я, однако ж, возьму такой пример. Мадонна Литта и Мадонна Россо. У Мадонны Литты - лицо идеала, а у Мадонны Россо - со всем даже некрасивое лицо, но зато сколько в нем радости, оно вправду радуется младенцу.

Андриолли сел рядом, посмотрел на свою работу.

- Ах, Васнецов! В нашем деле всяк по-своему с ума сходит. Одно ясно, без нас мир был бы много беднее.

Повернулся к тихо, сидящему Аполлинару.

- Вот брат ваш слушает нас, а на уме свое. Свою красоту будет искать и утверждать. Он многое успел, ваш брат.

Посмотрели рисунки Аполлинария.

- Много наивного, - сказал старший брат, - сама наивность эта симпатична. Но руки нет. Вроде бы можно и так, а можно по-другому. Рисунки есть, а художника не видно.

- Я тоже ему твержу: смелее, ярче. Он очень робок, даже вас робостью и застенчивостью превосходит. Но учиться ему надо обязательно. Я благодетелей приискивал, чтоб в Петербург послали. Жадничают. - Улыбнулся. - Теперь ваш, однако, черед показывать, чего достигли.

Виктор Михайлович сконфузился, он принес папку с работами, но разговор-то начался с живописи Андриолли, да еще спор вышел.

- Смелее, Васнецов! Я ведь знаю о вашем удивительном приключении с Академией.

Взял из рук молодого художника папку, открыл, стал раскладывать рисунки.

- Крепко, жизненно. В духе времени.

Задумался. И вдруг стиснул Васнецова сильными ладонями за плечи.

- Глядя на все это, уже теперь можно сказать - художник состоялся. Но!

Отошел к своей работе, сел, рассматривая.

- Смотрю, чего я сам достиг, а думаю о вашей судьбе, Васнецов. Можно всю жизнь положить на картинки для журналов. Дорэ - да! Но представьте себе Дорэ - на огромных холстах. Это был бы - колосс! Возьмите Иванова. У него есть эскиз картины. Достаточно большой и законченный. Все там почти так же, как на огромной картине. Но разве был бы он Ивановым, имея один только этот эскиз?

- Однако есть Федотов.

- Думаете, его будут знать?

- Будут.

- Может, и так. Но только перед его картиночками невозможно испытать того восторга, какой испытываешь, стоя перед монументом Иванова. Федотов - искусство, Иванов - деяние.

И снова обнял Васнецова.

- Как же я соскучился по спорам, по крикам во славу искусства. В провинции тоже можно творить. Одна опасность: натворить можно чересчур много. Деть себя некуда, - улыбнулся. - Как ваше здоровье?

- Лучше. Бронхи еще посвистывают, но кашель прошел. У каждого места свои преимущества. Я вот в Петербурге умудрился так истоскаться по Вятке, что, может, и заболел-то более от тоски, чем от простуды.

Аполлинарий осторожно и аккуратно складывал рисунки брата в папку. Помешкал, и свои рисунки положил туда же.

Наконец-то все братья собрались в родном доме.

Старший, Николай, приехал из села Лопьял, где когда-то, до Рябова, служил их отец, где родились Николай и Виктор. Николай учительствовал. Был он, как все Васнецовы, человеком беспокойным и талантливым. Ученики тянулись к нему, но, главное, он тянулся к



ученикам. Хотелось быть полезным, нужным как можно большему обществу, и потому в его жизни вызревала перемена.

- В Шурме новую школу строят, - рассказывал Николай, - село красивое, на Вятке. А главное, там чугунолитейный завод, народу много. Я уже и приглашение туда получил.

Братья сидели за столом, завтракали.

- Поедешь? - спросил Петр.

- Поеду! Мне даже и по занятиям моим... для души, перемена места полезна. Я начал собирать слова.

- Так ведь их Даль уже все собрал, - усмехнулся Петр.

- Все ли? Впрочем, я и не помышляю тягаться с Далем. Хочу собрать и сохранить наши вятские словечки. У Даля их нет.

Виктор, сидевший рядом с меньшим, с Александром, вдруг почувствовал, что братец легонько толкает его. Поднял глаза, а стряпуха Дарья<sup>[4]</sup> стоит, прислонясь спиной к печи, комкает платочек у губ, а слезы так и льются по се щекам.

- Дарьюшка, что? Что стряслось?

Она замахала руками, но все перестали есть.

- Сидите! Сидите! Так я! Так я! Сдуру. На ум пришло: вот батюшка бы ваш, Михаил-то Васильевич, с матушкой Аполлинарией Ивановной поглядели бы на вас, порадовались бы. Господи! Какие детки! Какие все красивые, умные.

И она уже совсем расплакалась. Ее кинулись утешать, но она поспешила в свою каморку, говоря на ходу:

- Ох, простите меня, старую! От радости да сдуру потревожила! Помолюсь за вас, а вы ступайте, ступайте по делам своим молодым.

И братья, не сговариваясь, отправились к церкви, где возле алтарной стены были похоронены самые их родные, самые близкие люди: мать, отец, дедушка Кибардин. Белые узкие плиты, кресты. Невозвратно ушедшая жизнь, в которой о чем только не вспомнишь – сердце трепещет и от счастья, и от боли.

Стояли по старшинству: Николай – учитель, Виктор – студент Академии, Петр – агроном, Аполлинарий и Аркадий – семинаристы, Александр – мальчик десяти лет.

Выходя через массивные, сложенные из кирпича, беленые церковные ворота, Виктор вдруг остановился, махнул братьям рукой.

– Я пройду!

Но сам стоял, удивленный и радостный.

В Петербурге он написал красками небольшой холст «Нищие певцы». Картину утащили грабители... Но здесь у ворот он снова встретил свою картину, ожившую. Не совсем, конечно, копию, да только все равно – это было чудо.

Виктор достал из кармана книжечку, карандаш, быстро набросал композицию.

Хотелось подойти к нищим, но застеснялся. Пошел на Батариху, к мельнице.

От берез детством пахло. Почудилось, что тот белоголовый мальчик стоит совсем рядом и смотрит на него вопрошающе, но очень весело.

Сердце обмерло от щемящего родства ко всему живому. Он взбежал на пригорок над рекой и на бегу оглянулся вдруг. Чтоб застать того мальчика врасплох! Нет! Не удалось. Спрятался за березу.

Васнецов засмеялся. Повалился в траву, запрокинул голову.

Небо, как великолепный храм, стояло над ним и словно ждало: «Ну, художник, постарайся! Али силенкой слаб?» – «Не сплосуем!» – ответил он

предерзко и, щуря глаза, прикидывал, как, что и где можно бы расписать. На таком-то куполе!

- Эй, добрый человек! Васнецов сел.

Перед ним стоял улыбающийся мужик с большим коробом за плечами. Офеня.

- Далеко ли до Рябова? Хотел путь сократить и заплутал.

- Полверсты до Рябова.

Офеня опустил на землю, снял с плеч короб.

- Солнышко!

- Можно посмотреть книжки да картинки?

- Погляди. А коль юсы есть, так и облегчи человеку его ношу.

Картинки были все больше исторические: «Освобождение крестьян», «Ермак Тимофеевич – покоритель Сибири», «Петр Великий на коне с подзорной трубкой в руке впереди войска, идущего на штурм крепости», «Сдача Шамиля с мюрядами», «Пожар Москвы». Картинки на религиозные сюжеты: «Древо зла», «Древо добра», «Жизнь и пути праведника», «Пьянство – злейший враг человечества». Из книжек: «Страшный колдун, или Ужасный чародей», «Шут Балакирев», «Полтавский бой», «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа».

Васнецов выбрал лубок, где за круглым столом около десятка мужчин, в шляпах, колпаках, женщина в капоре нюхали табачок. Надпись гласила: «Иностранные народы исполать нюхать табак на разные манеры. Нас табак забавляет и глаза наши исцеляет».

- Что так мало берешь? – расстроился офеня. – Бери еще смешную, «Урок мужьям-простакам и женам-щеголихам».

На картинке мужик сводил со двора корову и лошадь, а баба играла на свирели танцующей козе.

- Смотри, как складно написано. - Офеня, вода пальцем по строкам, прочитал подпись под картинкой: «Баба мыслит ухитриться, чтоб получше нарядиться. Стала мужу говорить, стала ласково просить: продай лошадь и корову да купи ты мне обнову».

- Уговорил! - засмеялся Васнецов, выкладывая гривенник.

- Копейку сдачи надо бы тебе, да нет копейки.

- Скажи что-нибудь на своем языке, вот и квиты будем.

- По-офени, что ли? «Рыхло закурещать ворыханы» - это значит: «Скоро петухи запоют». А вот еще: «Елтуженка, повандай побрять: кресца, вислячков, сумачка, спидончика поклюжи на стронень, подъюхчалки да жулик не загорби». Не понял? А это: «Женушка, подай поесть: мясца, огурчиков, хлебца, пирожка положи на стол, вилки да ножик не забудь». «А самодул снозна постычьте». - «А самовар снова поставь». Вот как мы умеем! - вскинул на плечо короб, пошел в Рябово.

А Васнецова мысль обожгла: «Да ведь нищих-то у церковных ворот написать сызнава надо! То что с возу упало - пропало. Холст надо взять большой, чтоб картина так уж картина». Андриолли верно говорит - большая картина: деяние.

Аполлинарий, забыв про удочки, рисовал дерево. Плеснула рыба. Вздрыгнул: Виктор снимал с крючка широкую, в ладонь, плотву. Кивнул на рисунок брата:

- Выдумываешь!

Аполлинарий покраснел, точь-в-точь как брат. Виктор пустил рыбу в ведерко, поправил червяка, закинул удочку и, отерев руки о траву, сел рядом.

- Приукрасил ведь! Левая-то у дерева без листьев, сучья торчат. Ты думаешь - некрасиво. А красиво, это когда - правда. Да и смысла больше. Посмотришь на такое дерево, у которого на половине сучьев листьев не

выросло, о своей жизни задумаешься или о ком-то близком, вообще о жизни.

Аполлинарий разорвал лист и бросил в реку.

- Зачем же так?! - огорчился Виктор. - Ты храни теперешние рисунки. Я не хранил, а теперь жалею. Очень ведь интересно знать, как видел ты мир прежде. Теперь-то я иначе все вижу, а через пять лет, может, снова самого себя не узнаешь.

Аполлинарий слушал молча.

Николай и Петр уехали. Скоро на учебу и Аполлинарию с Аркадием.

- Возьми меня в Петербург! - посмотрел быстро и тотчас опустил глаза.

- Братец, милый! Обязательно заберу тебя, но только... Я зиму здесь хочу пожить. Врач мне не советовал торопиться в Петербург, как бы процесс в легких не начался. Хочу с картиной вернуться... Перышком-то я наловчился царапать. Но для того ли надо Академию пройти, чтоб рисовальщиком быть? Вон лубки-то как лихо рисуют. Без академий. Так что, братец, подожди еще годик, а времени зря не теряй. Рисуй. Андриолли - прекрасный рисовальщик, ты его внимательно слушай. И слушайся! Когда учишься - слушаться надо. Сам я эту мудрость не сразу понял, себе же во вред.

Поучил, поучил и вспомнил вдруг свой «храм». В одиночку такой не распишешь, но вот он - брат подрастает в помощь.

Положил Аполлинарию руку на плечо.

- Ты не бросай художеств, как бы трудно ни было. Талант тебе бог дал, и грех его загубить. А не загубить - значит трудиться. Ой, брат, как же много надо трудиться, чтоб художником-то стать.

Собрался вместе с семинаристами в Вятку и Виктор Михайлович. Тут глаза у него и открылись: младший, Александр, горюет тихо, молча. Понял вдруг, как же

братец любит его. Любит и дичится. Половину лета вместе, а расстояние не сократилось. Страшно стыдно стало: картиной занят, замыслами, самим собой, а рядом любящее сердечко страдает.

- Саша! - сказал, как повинился. - Милый! Думаешь, вот - бросают одного. Я вернусь, обещаю тебе. Мне врачам надо показаться, красок купить, бумаги. Отослать рисунки.

Саша просиял, а просияв, заплакал.

- По-ско-ррей! Пр-рри-иезжай! Лицо сияет, а слезы ручьями.

- Господи! - изумилась Дарьюшка. - Прямо дождь грибной - и льет, и солнце!

И снова, как много лет назад, как в уютном детстве: снега, сугробы до крыш, удары колокола в метель.

Саша учит географию. Он решил идти по стопам Петра, изучать земледелие. Вернее, он не хочет в духовное училище. Кроме духовного училища и семинарии, в Вятке есть Училище для распространения сельскохозяйственных и технических знаний и приготовления учителей. Слава об этом новом училище добрая, и Сашу не надо усаживать за учебники: с плохой подготовкой в училище не примут.

Виктор устроил мастерскую в большой, в самой светлой комнате. Пишет каждый день, но не более часа. Генерал Ильин в письме просил новые рисунки и оговаривал - постарайся, самые удачные пойдут на Всемирную Лондонскую выставку.

Дарьюшка вяжет варежки. Молчать она подолгу не любит - это Васнецовы молчуны, - рассказывает всякое...

- Вот и до Солоновороты дожили, - говорит она, зная, что Виктору рассказы по нраву. - Солнце в новый сарафан вырядилось, в кокошник, а едет-то не в нашу, однако, сторону. Садится в телегу, да и айда в теплые страны. Оттого и говорят: солнце корове бочок греет на

прощанье. Зима теперь полная хозяйка. В медвежьем тулупе похаживает, иней сыплет из рукава, а за него метели толпой юлят.

«Как все можно бы красиво нарисовать, – думает Виктор Михайлович. – Солнце в сарафане, зима – в медвежьем тулупе. Иней из рукава».

И вскидывает глаза на свою картину. Вот что теперь нужно и важно – правда жизни. Эти нищие больше скажут людям, чем аллегории зимы и лета.

Сколько зла претерпели эти нищие певцы.

Виктор Михайлович подходит к картине и снова принимается за кисти. Пошла вдруг работа. От старушечьей сказки пошла. Да как еще проворно!

Милая Вятка теперь была в сто крат милее, потому что там жила Саша Рязанцева, румяная девушка с очень строгими глазами.

Видался с нею в этот приезд чуть не каждый день, бывал в ее доме. Родители Саши были из купечества, но не из того, которое ворочало миллионами. В Вятке было больше двух тысяч лавок. Отвел душу в беседе с Александром Александровичем Красовский, съездил с Андриолли в Слободское. Хорошо было в Вятке. Братья, друзья, любимая, но в Рябове ждали работа и меньшей брат.

Забрался в рябовскую берлогу, теша себя мыслью, что сто верст – не велик путь, по зима тянулась, тянулась, да и разъехалась вдруг таким воистину российским бездорожьем, что только сиди на своей кочке да кукуй.

Петербург стал далеким. И думалось, ну а плохо ли прожить жизнь среди лесов, на родной земле, с людьми, о которых все знаешь и которые все знают о тебе?

И не казалась ему петербургская значительная жизнь мудрее рябовской. Однако же изведавший города – без города уже не может.

Накопились рисунки, затеялись еще две картины, и невтерпеж было услышать, что о них скажут. Недоставало радости Репина – вот кто всегда успехами товарищей полон и горд, словно ему прибыло! – недоставало, может, и сухого, но зато честного мнения Поленова. А как помолчит перед картинами Антокольский? Как глянет Чистяков?

Столичная жизнь для дат на календарях, но не в славе дело. Искусству, как часам, нужен завод пружины, а заводом ему толки, брожение умов, восторги и брань. И еще одна правда есть: искусство рождается от искусства. Послушал великую музыку – душа и встрепенулась, про свое великое вспомнила.

Выставка передвижников состоялась. Первая выставка. Само слово новехонькое беспокоит, манит – передвижники. Что они передвинули? Сорок семь работ показали... Полсотни не набралось, а однако ж всяк грамотный человек в России услышал и запомнил – передвижники.

– Последний васнецовский птенец на крыло стал! – сказала Дарьюшка, и лицо у нее было маленькое, и сама-то она словно уросла, словно издали, из самого прошлого платочком взмахивает.

Саша бросился обнимать няню, целовать, но лошади уже у ворот, и Аполлинарий, спешивший в новую, в неведомую петербургскую жизнь, сидел в телеге, глядя куда-то поверх Рябова, поверх голубых лесов: боялся спугнуть свое счастье.

Поехали.

В Вятке оставили Александра и Аркадия. Аркадий учился в семинарии, а Сашу определили-таки в Училище для распространения сельскохозяйственных и технических знаний и приготовления учителей. Училище было новехонькое, преподаватели все люди новые, смелые, и наукам учили, и уму-разуму. Среди



одноклассников Александра был Степан Халтурин, многие в народ ходили.

Сам Александр после училища уехал к брату Николаю, в Шурму. Здесь он учительствовал до женитьбы в 1897 году. Собирал народные песни, из которых у него составилась сборник «Песни Северо-Восточной России. Песни величания и причеты. Записаны Александром Васнецовым в Вятской губернии». Сборник был издан в 1894 году.

Обзаведясь семьей, Александр перебрался в село Лож, а в 1901 году Виктор и Аполлинарий купили ему дом в Вятке. Здесь он преподавал в Духовном училище до 1919 года, а с 1920-го по, 1926-й в заводской школе. Умер Александр Михайлович в 1927 году.

До последних дней своих любил он народную песню, сохраняя в памяти не только слова, но и мелодии. Его сборник, куда вошло 355 песен, с некоторыми сокращениями был переиздан в 1949 году.

Устроив на учебу младшего брата, Виктор и Аполлинарий отправились в Петербург. Опять была далекая, долгая дорога, на лошадях, пароходах, поездах... Но не техника, еще невиданная, поразила Аполлинария. На Илецком волоке его потрясли огромные сосны корабельного бора.

Итак, осенью 1872 года Виктор Михайлович Васнецов вернулся в Петербург, в Академию. Как всегда, не было денег.

Снова началась беготня по редакциям. Впрочем, дорожки были проторены. Получил заказ отыллюстрировать уже третью в своей жизни азбуку. Теперь досок уже не резал, от него ждали рисунков.

«Русская азбука для детей» была составлена известным педагогом Василием Ивановичем Водовозовым. Васнецов нарисовал пятьдесят картинок. В большинстве это совсем мелкие рисунки контуром: паровоз, колокол, змея, бочка, корабль, белка, тюлень,

мужик с сохой, церковь, нищие... Но есть и сценки, занимающие половину страницы: «Ночное», «Емеля на печи», «Богатырь Микула Селянинович», «Жницы», «Молотьба цепами», «Мужики на бревнах».

Василий Иванович Водовозов был «шестидесятник». Недаром, как только в кресло министра народного просвещения сел граф Д. А. Толстой – преподаватель словесности Первой Санкт-Петербургской гимназии, – В. И. Водовозов был уволен от места как «не соответствующий направлению»... Да ведь и то – протестовал против усердной регламентации преподавания в народных училищах, был противником насаждения в русских школах немецкой методы, решительно отвергал попытки духовенства забрать народное образование в свои руки. Язык азбуки Водовозова был сочный, народный: «Ночь-то темна, лошадь-то черна, еду, еду да пощупаю, тут ли она?» «Как котиска цап, а собачка хватать». «Читал, читал Федя и говорит: „Эко диво! Поглядишь – чистехонько, поглядишь – гладехонько, а станешь читать, везде задевается“».

Рисовать такую азбуку было истинным наслаждением, да и мастерства у художника против первых двух его азбук – прибыло.

Картину свою «Нищие певцы» Васнецов предложил на выставку Общества поощрения художников. Картину приняли. Выставка эта была постоянная, помещалась она на Невском проспекте в доме Голландской церкви.

Ходил с братом поглядеть – висит ли? Один забежал – висит! Его собственная картина.

Правда, никто особенно не взволновался появлением на выставке нового имени, а критика заметила картину через три года.

«Нищие певцы» были воспроизведены в журнале «Пчела» в № 14 за 1875 год, критик сопровождал эту публикацию следующими рассуждениями: «Если г.

Васнецов до сих пор не занял одно из первенствующих мест в среде наших художников-нравописателей, на которое дает ему полное право его замечательный талант, то только из-за недостатка внешнего мастерства, совершенство техники которого, без сомнения, составляет для каждого художника первое условие. Его картины до сих пор не щеголяли особенною ловкостью и силою письма, и в его рисунках сказывается неуверенность руки или, вернее, невышколенность глаза: там и сям встречаются промахи, которые, без сомнения, не так велики, чтобы потревожить обыкновенный глаз, но которые во всяком знатоке дела вызывают невольное сожаление, что такой из ряду вон выходящий, самобытный и плодовитый талант не овладел еще нужными средствами для того, чтобы стать образцом в своем роде».

Хоть и не без оговорок, талант признавался, и талант самобытный. Однако эту бы похвалу да па три года пораньше. Потому что, хотя похвала всегда ко времени, действенность ее бывает разной, случается, настолько припоздает, что и сломит даже художника: «Где же вы, мол, были-то со своим признанием?!»

Впрочем, сам факт - картина выставлена, для молодого художника награда.

А тут еще вышел альбом г. Скамони, в котором помещены рисунки «Сторож» (1870 г.), «С квартиры на квартиру», «Купец-проситель» (1871 г.), «Мальчик с бутылью вина», «Мальчики-славильщики», «Четверо мальчишек с салазками», «Отставной военный» (1872 г.). Альбом издан на деньги генерала Ильина.

Кстати говоря, рисунки «Мальчик с бутылью вина» и «Провинциальный букинист» на Всемирной Лондонской художественной выставке были удостоены бронзовой медали.

Рисунки Васнецова заинтересовали коллекционеров, и среди них такого ценителя, каким был московский собиратель Иван Евмениевич Цветков по прозвищу «Изволите ли видеть». Служил он в Земельном банке, но знаток искусства был совершенно замечательный.

Колоритный его портрет дал Яков Данилович Минченков.

«Дом Цветкова в русском стиле, дородный и тяжелый, олицетворял своего хозяина. Когда вы входили в вестибюль, навстречу появлялся сам Иван Евмениевич и ожидал вас на площадке лестницы, ведущей во второй этаж. На нем бархатный халат, вроде боярского, а на голове расшитая золотом тюбетейка. Совсем Борис Годунов...

У Цветкова были огромнейшие альбомы с рисунками. Он поочередно вынимал их из шкапа, клал перед гостем и, медленно перелистывая страницы, разъяснял:

- Рисунок Перова 1868 года, а вот такой же точно рисунок на ту же тему, нарисованный в 1871 году, но вместе с тем в них есть некоторая разница; такая же разница есть и в рисунках Прянишникова, которые я покажу вам, когда посмотрим этот альбом.

Перед глазами гостя перевертывались десятки, сотни страниц, мелькало бесчисленное множество рисунков, в которых он не мог уже разобраться; в глазах рябило, а хозяин продолжал свое:

- Этот рисунок хотя и без подписи, но вы поймете, что он Федотова, когда, изволите ли видеть, ознакомитесь со следующим альбомом.

Гость доходил до одурения, и, как сквозь сон, слышал:

- А это, изволите ли видеть, рисунки, имеющие непосредственную связь с такими же работами художника, собранными в дальнейших альбомах...

Кабинет с рисунками стал наконец пугалом для посетителей цветковского дома, и они всячески старались его избежать, несмотря на настойчивые приглашения хозяина».

И. Е. Цветков имел даже самые ранние рисунки Виктора Михайловича Васнецова. В его альбомах-кладовых хранился и «Монах-сборщик» 1868 года, и «Жирный купец» 1869-го, «Заштатный» 1871-го. И тот рисунок Богоматери, который так похож на знаменитое изображение в Киевском соборе святого князя Владимира.

Впоследствии жизнь сведет Цветкова и Васнецова для одного доброго дела: Цветков закажет, а Васнецов исполнит рисунок-проект знаменитого «Дома Цветкова».

В том же, 1872 году произошло событие в общественной жизни страны, которое словно бы и не имело никакого отношения к молодому художнику, выступившему публично с первой картиной. Состоялась Всероссийская выставка народного прикладного искусства. Здесь устроители показывали коньки с деревенских изб, трубы, наличники, всяческую резьбу, лодки, барки.

На следующий год эта впечатляющая выставка получила статус музея, а еще через два года архитекторы В. О. Шервуд и А. А. Семенов начали строительство здания, которое и поныне является Государственным Историческим Музеем. О работе Васнецова для этого музея речь впереди.

Порядки в Академии художеств менялись, Аполлинария Васнецова не допустили до экзаменов за неимением документа об окончании среднего учебного заведения. Но он не унывал, в учителях недостатка не было: всегда готов был подсказать, показать, открыть неведомую еще истину Репин, грубовато резал правду-матку Суриков, много не говорил, но на чужую ошибку

был глазасть и честен. Всегда очень деликатно, не выпячивая своего превосходства, помогал постигать премудрости искусства светлый человек Поленов.

В ту пору Репин, работая в прекрасной академической мастерской, заканчивал «Бурлаков». Картину эту он выставлял еще в 1871 году в Обществе поощрения художеств, но, углядев в ней множество несовершенств, переписал заново, да так, что картина, еще не выходя из мастерской, стала событием. Впрочем, к событию этому относились по-разному. Ректор Бруни, снизойдя до осмотра картины, изрек: «Это есть величайшая профанация искусства».

Знакомство Аполлинария Васнецова с искусством столицы началось с «Бурлаков». Зашли братья Васнецовы в мастерскую Ильи Ефимовича, а тот сидит на табуреточке, улыбается и нет-нет, да и покачает головой.

– Думаете, спятил? Ан нет! – и весело рассмеялся. – Завете, кто посетил мой уголок пустынный?

– Великий князь?

– Выше, Виктор, бери! Выше! Сама, брат, история: Тургенев и Ге.

– Какой он?! – разгорелись глаза у Аполлинария.

– Кумир Тургенев? Величавый господин. Парижанин. Сидел в мастерской больше часа и перчаток не снял. Грешен, но, сдается мне, в искусстве наш кумир, если и смыслит, то немного.

– Да как же так?! Тургенев?!

– Об Иванове судил-рядил. Слушателей у него – я да Николай Николаевич, а все равно вещал. «Бедный отшельник! – говорит. – Двадцатилетнее одиночество, – говорит, – настолько отринуло его от людей, что нажил себе преудивительную болезнь, нечто вроде человекобоязни». Ну и в том же духе, но все больше про мнительность Иванова, дескать, боялся, что отравят.

- Но ведь если это было, - вступился за своего писателя Аполлинарий, - в чем же вина Тургенева?

- Ну, какая вина?! А все-таки обидно... Да это бы ладно! Но он сказал, что Иванов, хоть и остался во всех своих стремлениях истинно русским человеком, только вот живописный талант в нем был слаб и шаток, что трудолюбия в нем гора, а творческой мощи и свободного вдохновения - с мышку. Гора родила мышь! Не обидно ли? «Тридцать раз, - говорит, - написал голову Аполлона Бельведерского и столько же голову византийского Христа, постоянно сближая их, из чего и произвел Иоанна Крестителя...» Не так, мол, творят истинные художники! А как? Как они творят, истинные?

Братья Васнецовы растерянно поглядывали на рассерженного товарища, и тот спохватился:

- Я словно бы и на вас уже в обиде. А в общем, день-то у меня нынче - счастливый! Николай Николаевич слушал мудрствования Тургенева молча, а когда уходить стали, да и ушли уже, он вернулся и сказал. Знаете, что он мне сказал о «Бурлаках»-то? «Юноша, вы сами еще не сознаете, что написали. Моя „Тайная вечеря“ перед этим - ничто». Потом, правда, заговорил про то, что обобщения у меня мало, да сам же и оборвал себя. «Нет, вы оставьте так, как есть. Это во мне говорит старая рутина».

Аполлинарий подошел к «Бурлакам», прикоснулся рукой к холсту.

- Вот потрогал, а об этой вот картине, которую я трогал, скоро весь мир будет знать, - обернулся к брату, глаза испуганные стали. - Коли бы не взял меня с собой, ведь все это мимо бы прошло, ничего бы этого не узнал. На этом диване Тургенев сидел, а здесь Ге.

- А вот это Репин! - показал Виктор, смеясь.

- А что! - Илья Ефимович подбросил и поймал кисточку. - Это Репин, а это - братья Васнецовы! Виват великим художникам!

- Уж и великие, - расстроился Аполлинарий.

- Не робей, юноша! У нас все впереди. Само время за нас. За вот этими вот мужичками, - повел рукою по фигурам бурлаков. - За этими вот, мудрецы это чувствуют. Ге - самый мудрый художник из русских. Он это не только чувствует, он даже знает про это.

Виктор устало поежился.

- Сладко вперед-то забегать. Только как оно тяжело дается, будущее наше.

- А ты буйну голову-то не вешай! Что у тебя?

- Ох, Илья! Ты вон какой мастер, а мне ничего-то не дается. Я к Чистякову теперь хожу, подучиваюсь. Но плохо у меня с живописью.

- Терпенье и труд, братец. Терпенье и труд. Главное, от самих себя не отступить.

Со студентов Академии, приходивших «к Чистякову» на дом подучиться, Павел Петрович денег не брал.

Васнецов-старший принялся сразу за несколько жанровых картин, но тут вдруг ему и открылось, что умеет он очень мало, что он во всем беспомощен.

Чистяков выслушал его и показал на гипсовую голову Аполлона Бельведерского.

- Вот-с, потрудитесь.

- Карандашом?!

- Зачем же, масляными красками.

Работа закипела, да осечка вышла. Старался Виктор Михайлович, и очень даже старался, но чем дальше, тем выходило хуже.

Растерянно смотрел Васнецов на свое творение. Трогал кистью маленький свой холстик из одного уж только отчаянья, чтоб без дела не стоять перед ним.

Первые дни Чистяков с подсказками не спешил, но теперь внимательно осмотрел работу и сказал:

- На одном реализме - гляди да мажь - далеко не уедешь. Такой реализм к упадку ведет.



- Павел Петрович! Ничего не получается. Может, оставить голову, фигуру порисовать?

- Ну уж нет! Во всяком деле, а тем более в живописи, с головы надо начинать. Все начинается с начала... А не выходит? Выйдет. Чтобы мазня была художественна, нужно много рисовать, оттого и говорят - студия. Штудировать надо, штудировать!

Васнецов штудировал. День за днем. Да однажды и бросил вдруг кисти прочь от себя.

Павел Петрович подошел к нему, положил руку на плечо, но молчал.

- Пошли воздухом подышим.

На улице, поживаясь от холодного ветра, стал говорить, словно бы для себя, выясняя невыясненное.

- Каждый талант имеет свой особый язык, потому и не следует учить манере, а тем более учиться манерничать. Дело это тонкое, дурной учебой можно корни подрубить, а тогда и всему дереву погибель. Не получилось... Значит, в ином сила. Сила-то ведь есть, и вы ее в себе чувствуете, и все чувствуют. Нельзя же, в самом деле, чувствовать то, чего нет... Видно, хотели рассудком взять злосчастливого Аполлона-то - умом, а в нашем деле полагаться на ум - совершить промах. Птица улетит. Обязательно улетит.

Заговорил о своем детстве, учебу в Академии вспомнил.

- Я работать, угождая чьему-либо вкусу, совершенно не мог... Да и с вами, наверное, то же. Хотели Чистякову угодить... Чистяков-то-де мастер из дотошных. А вам дотошность, совершенство, может, и противопоказаны. Совершенство оно ведь не только в одной гармонии. Есть совершенство мощи. Поглядишь, корявость на корявости, тот же дуб возьмите, уж на что существо корявое, а какая мощь, какая красота и, в конце-то концов, какое совершенство.

Васнецов улыбнулся.

- Ну вот! - обрадовался Чистяков. - Ожили. Все у вас будет хорошо. И очень даже хорошо. А насчет Аполлона не беспокойтесь... И о корнях не забывают. Вот уж это - очень серьезно.

Трагедия и торжество личности в том, что ее нельзя ни повторить, ни испытать во времени, ни «улучшить», избавив от обстоятельств, влияний, пороков. Эксперимент исключен.

Но он исключен и с любым живым организмом. Зерна колоса мы, конечно, можем высадить в разную почву, на разных континентах, по-разному ухаживать за всходами или оставить их на произвол природы. Наконец, как исключительная удача - получить урожай от зернышка из гробницы фараона. И все же это эксперимент с колосом, но не с зерном. У зерна, как и у человека, только одна, своя судьба.

Имея перед глазами вполне законченную, хотя и облетевшую местами картину прошлого, не так уж и сложно объяснить причины того или иного явления. Скажем, отчего это в России в середине XIX века в одно и то же время родились художники, ставшие гордостью русского искусства?

Мы обнаружим и сам колос, и сеятеля, остановившись изумленно перед размахом посева, перед странной фантазией человеческой природы давать жизнь гениям в непредсказуемых, а иногда и непригодных, казалось бы, местах для столь тонкого феномена.

Вот несколько, но, пожалуй, самых значительных имен.

Суриков - Красноярск, 1848 год. Репин - Чугуев, 1844-й. Васнецов - с. Лопьял Вятской губернии, 1848-й. Куинджи - Мариуполь, 1841-й. Семирадский - с. Печенеги Харьковской губернии, 1843-й. Крамской - Острогжск, 1837-й. Polenov - Петербург, 1844-й. Саврасов - Москва, 1836-й.

И следующее поколение: Врубель - Омск, 1856-й. Левитан - Кибартай, Литва, 1860-й. Нестеров - Уфа, 1862-й. Серов - Петербург, 1856-й. Рябушкии - с. Станичная слобода Воронежской губернии, 1861-й.

В этом списке замечательных имен мы только дважды встречаем стольный град Петербург и только один раз Москву. Для рождения великой художественной души оказались вполне пригодными Чугуев, Лопьял, Красноярск, Уфа, Кибартай... Почему? Чьим промыслом? Или чиркнула молния по небу, да и ударила неведомо куда?

Нет, не во дворцах, где каждый предмет художественное совершенство, рождаются великие художники. Великих художников во дворцах не рождалось. И не потому, что дворцы - место сибаритов или душ нечувствительных к прекрасному, а потому, что Природа - дворец куда совершеннее царского.

Житель дворца - и сам частица его, мира искусственного, рожденного человеком. Дворец - потребитель красоты, ее скопидом. Природа - исторжитель прекрасного, постоянная цепь зачатия и рождения, не ради кого-то, чего-то, а всего лишь потому, что это - форма ее существования.

Житель села, городишки - сам частица Природы, но творческая личность - двойственна. Она - порождение Природы, но и ее отщепенец. Наделенная даром творчества, она созидает на свой страх и риск, держа Природу в памяти за образец, однако творит свое.

Человеческий мозг - стихия особая, а память - это сон наяву. Память - не фотография оригинала, но картина, усиленная эмоцией, гипертрофированная бесчисленными наслоениями культуры.

Новые люди из Чугуева, Тобольска, Острогожска приносили в стольный град свою неискушенность перед лицом искусства, а, познав его тайны, умели понять, что

приобретенное в столицах всего лишь ремесло. Истина и красота в них самих, в этих Елабугах и Рябовых.

Искусство рождается из искусства. Но одно дело – дворец, где уже к пяти годам человек навсегда отучается удивлению, и другое дело, когда в семь или даже девять лет человек, общавшийся только с Природой, вдруг открывает первый в своей жизни журнал и видит картинку, которая поражает его красками, костюмами, изображением ветра, волны, человеческого лица. Каких бы вершин этот мастер ни достиг впоследствии, та картинка останется для него идеалом всей его духовной жизни.

Русские художники, собравшиеся в русские столицы из краев столь необычайно далеких друг от друга, похожи были в одном: получив от искусства в детстве очень мало, они пришли за ним в Петербург и Москву, пораженные картинками из «Живописного обозрения» или «Нивы», чтобы взять сколь хватит силы и духа, и брали помногу, а потом отдавали и отдавали, покуда были живы.

Превращаясь в столичных жителей, иные из художников никогда уже не могли покинуть мастерских, прикованные к палитрам и холстам цепями своего искусства. И все же всем им, в большей или меньшей мере, но хватало запаса их жизни в Природе, их детства. И ведь трудиться умели.

Великое большинство из великих – труженики.

Аполлинарий, румяный, синеглазый, сама весна, с непривычной заботой расчесывал свои легкие светлые волосы.

Репин и Поленов укатили в заграничную пенсионерскую командировку, и Аполлинарий сначала сник, а потом очень быстро возродился, но уже не для художеств, а для иных, более высоких целей. Об этих целях со старшим, с очень уж основательным в жизни братом Аполлинарий говорил неохотно. Тянуло в народ

- доколе будет процветать неравенство духа? Тянуло к точным наукам. Друзей себе завел среди студентов технических училищ.

- Ты далеко? - спросил Виктор.

- В землячество вятчей.

- Я тебя не укоряю - весна на улице. Но ты совсем не рисуешь...

- Виктор! Ход в Академию без документа мне заказал! Меня надоумили в землячестве сдать экстерном за реальное училище! Я готовлюсь к экзаменам!

- Тогда я за тебя спокоен.

Проводил до двери и, только когда дверь затворилась, улыбнулся.

В Петербурге зацветала сирень, брезжили белые ночи. Сидеть одному в четырех стенах было не вмоготу.

Вышел из дома, и ноги - понесли! Холодный Петербург пыла не убавил. Виктор по-прежнему не ходил - летал, удивляя прохожих стремительностью. Со стороны казалось, что этот высокий, ладный молодой человек торопится к какой-то необычайной, к воодушевляющей цели, важной для всего человечества.

Да так оно и было. Он летел, и мысли его летели далеко-далеко впереди, он - весь в будущем.

На этот раз вынесло на Малый проспект. Виктор очень этому обрадовался. На Малом проспекте снимал квартиру однокурсник Архип Иванович Куинджи.

Дверь открыла Вера Леонтьевна, обрадовалась гостю. Архип Иванович сразу провел друга в мастерскую.

- Посидим здесь, пока Вера чай приготовит.

В мастерской простор и пустота, Куинджи мог работать только среди совершенно голых стен, ему хватало красок па холсте да палитре.

- Это... вот это... - показал на простенький свой мольберт, где являлась из небытия картина. -

Деревня... это богом забытая... деревня!

Посмотрел на друга как-то очень хитро, заговорщицки.

- Надоело бедным быть. Как вот эта забытая богом... Хочу богатства.

- Откуда же оно свалится?

- Оно не свалится... Это известное дело, что не свалится. Но я сам его... это... за рога.

- За рога?

- За рога! А что?.. Очень просто. Продам картины, поднакоплю деньжат. Мы с Верой на себя по пятьдесят копеек в день тратим. Куплю землю, недвижимость... Перепродам.

- В спекуляцию вступишь?

- А хоть и в спекуляцию... Мир надо сделать разумным, добрым. А без денег - эге! Пустое дело. Для добрых дел деньги надобны.

- Разве их мало у богачей?

- Много, но тратят глупо!.. Исеев сколько вон хватал? Всю Академию ограбил, вместе с их высочеством князем Владимиром. А на что ухнулось богатство? На кутежи князя? На что?.. Я мои деньги на доброе буду тратить. Во-первых, не допущу, чтоб молодые художники кровью харкали.

- Да как же это ты не допустишь?!

- Очень просто! Я же говорю - землю куплю. Куплю в Крыму, вот тебе и курорт для больных студентов. А тех, у кого ба-альшой талант - за границу буду посылать.

- Ну, ты хватил, Архип Иванович!

- Ничего и не хватил. Так все и будет, вот увидишь. Я в Мариуполе гусей пас, а ныне уж классный художник третьей степени. Куинджи своего достигнет. Ты погляди на меня!

- Ассириец, а лучше - Перун!

- То-то и оно! Пошли чай пить.

К чаю поспел еще один добрый человек – Василий Максимыч Максимов.

– Ох, братцы! Вы ж как на Олимпе живете! – говорил он, несколько смущаясь дотошным порядком и опрятностью обстановки. – А знаете, как я жил, когда в Академии обретался?

– Угол снимал? – предположил Архип Иванович.

– Угол! – хохотнул Максимов. – На барке в сено зароешься – вот и квартира. Сторожу табачку одолжишь на закутку, он и не гонит.

– Напомнил! – обрадовался Архип Иванович. – Дай-ка папироску.

Максимов угостил.

– Он своих не держит! – улыбнулась Вера Леонтьевна.

– Хитрю. Курить вредно, а подымить я люблю. – И он тотчас окутался облаком. – Менделеев, как паровоз, дымит. Ему твердят – вредно, а он в ответ: я опыты с табачным дымом производил – многие микробы от негодохнут. Значит, и польза есть.

– Вы, братцы, скажите не таясь, для передвижной выставки готовите что-либо? – спросил Максимов.

– Мы-то готовим, – вздохнул Васнецов, – возьмут ли?

– С первого раза, может, и не возьмут. От картины будет зависеть.

– К передвижникам тянутся, – сказал Архип Иванович. – На первой выставке всего десять художников выставались, а им один только Петербург принес 2303 рубля, а потом еще в Москве выставили, в Харькове.

– Да ведь картины-то какие были! – пощелкал пальцами Максимов. – «Петр Первый допрашивает царевича Алексея», «Привал охотников», «Рыболов», «Майская ночь».

– А «Грачи прилетели»! – воскликнул Куинджи. – А «Сосновый лес» Шишкина. Да и у Клодта, и у

Боголюбова пейзажи были недурны.

- Прянишников, Мясоедов, Гун, - вспоминал Максимов. - Значит, кто же? Ге, Перов, Крамской...

- Саврасов, Шишкин, Клодт, Боголюбов, - подхватил Куинджи, - вот и десять, и еще Каменский скульптуру выставил «По грибы». Хорошая была выставка.

- Двадцать девятое ноября 1871 года - памятный день!

- А я выставку пропустил, в Рябово уехал от Петербурга передохнуть.

Не горюй. Давайте-ка, братцы, выставимся на очередной выставке. Разбавим корифеев! - загорелся Максимов. - Я прелихую картинку задумал!

- Какую же?! - вырвалось у Васнецова.

- А вот приезжай ко мне на лето в деревню - поглядишь. Да и отдохнешь от осатанелого Питера.

- У меня брат на руках.

- А ты и брата бери. Места хватит. У нас в Чернавине приволье. Река, Ладога. А уж мужики - загляденье. И все ведь умницы.

- Ты, верно, забери-ка их на лето! - одобрил Куинджи. - А то Виктор Михайлович кашлять было взялся... У нас-то вот срывается нынешняя дача.

Почесал в затылке.

- Отложили мы с Верой Леонтьевной четыреста рублей, а у одного знакомого художника за гимназию заплатить нечем. Ребятишки могут учебы лишиться. Как было не дать?

- Ох, бедность! - покачал головой Максимов. - Поправимся, что ли, когда-нибудь?

- У меня сто тысяч будет! - растопырил ладони Куинджи.

- Сто тыщ?!

- Сто тыщ.

- Скорей бы, - хлопнул себя по коленкам Максимов. - Пришел бы синенькую занять.



Все смеялись, глядели дружескими, любящими глазами и верили в себя и в друзей, в звездный свой час.

Максимов рос сиротой. С восьми лет познал одиночество. Смышленного крестьянского мальчика взяли к себе в монастырь монахи, в иконописную мастерскую. Послушничал.

Может, и писал бы всю жизнь образа, когда бы не любовь.

Влюбился в дочь помещика. Угораздило! По счастью, обоих угораздило. Поклялись в вечной верности, и отправился крестьянский сын Васька Максимов в Петербург добывать себе приличное звание. Добыл! И звание, и тепу любимую.

Они лежали почти на отвесной песчаной осыпи. Над ними – чуть голову запрокинь – еловый строгий лес. Ни шорохов, ни шелестов. Птицы не великие охотники до такого леса, а понизу-то мхи, пышные, как боярская шуба, звук во мхах глохнет и тонет. Внизу – ого, как внизу! – речка, пойменные луга. Небо у самого лица, такое близкое – поцеловать можно, как согласную на поцелуй девушку.

– Я геологом буду, – сказал Аполлинарий. – Буду ходить по дебрям, искать земные клады.

– Дурак! – откликнулся разморенный солнцем Виктор. – Ты сначала со своим кладом управься. Бог не каждому дает. А коли дал, так и востребует... Ни отца у нас теперь, ни матери, и старший брат далеко. Я за твою судьбу в ответе. – И рассвирепел: – Я дурости не потерплю! Ты – художник! Художник от бога. Вот и добывай этот бесценный клад. Или кишка тонка? Думаешь, камешки-то проще искать?

Резко толкнулся, съехал по насыпи к реке. Аполлинарий, виновато помаргивая, смотрел вослед брату.

Чернавинские окрестности оказались для Аполлинария сладостной ловушкой. В первый же свой выход он нашел десяток превосходной сохранности окаменелых кораллов.

На следующий день новое чудо. Ему попалась здоровенная каменюка с полным отпечатком морской лилии. Тут уж и Виктор не усидел. От Михаила Васильевича по наследству передалась сыновьям страсть к чудам-юдам.

Виктору сразу же повезло: нашел окаменелого червя. Но за удачливым Аполлинарием было не угнаться. Окаменелости сами к нему в руки прыгали. Выкопал чуть ли не полностью сохранившийся аммонит пуда в три весом да еще отпечаток аммонита, совершенно перламутровый. Из белемнитов у него составила целая коллекция, от крошечных до больших, с хороший карандаш.

Сияя, как самовар, явился из очередного поиска с отпечатками рака-мечехвоста и чешуйчатого растения, похожего чешуйками на ананас.

- Ишь какая забава! - удивлялся Максимов. - А ведь и впрямь чудо-юдо. Все жило, цвело - и камнем обернулось!

- А я бы хотел окаменеть! - Синие глаза Аполлинария становились совсем детскими. - Ведь это все-таки не исчезнуть... Без следа.

- О голубчик! - улыбался Максимов. - Исчезнуть, пожалуй, мудрее. Плохо ли стать - землею, тем, что начинается - мир божий.

- Глупые разговоры какие-то! - хмурился Виктор. - Окаменеть ему втемяшилось! Ты живи, пока живется. Живи, твори, радуйся белому свету, и сам его радуй.

Жена Максимова была красива простотой. Поглядишь - лицо совсем не выдающееся, проще не бывает. И только потом сообразишь - да оно же прекрасно! Никакой в нем натуги, надуманности или

хотя бы самой невинной неправды, того же лукавства. Уж такая вот я!

- Ах, какой молодец наш Вася! - шепнул брату Виктор. - Какую красоту углядел. Это же истинно русская красота.

Жили Максимовы славно. Жили, не делая будущему никаких заказов.

Еда была деревенская: щи, каша, молоко, сметана. Молочка любили попить на сон грядущий. Виктор - парного, из-под коровы, Аполлинарий - холодного, чтоб зубы ломило, со льда, чтоб сливки на два пальца.

Максимов пил молоко, прикусывая хлебом, посыпанным крупной солью.

Солнце стояло над рекою, словно призадумавшись - уходить не уходить. Воздух был розовый, липой пахло, пчелы гудели.

Максимов с гостями сидел на террасе. Покуривали, ждали коров, молока.

К крыльцу подошли мужики, поздоровались.

- Василь Максимыч, а мы к тебе! Картину глядеть. Максимов обрадовался, здоровался с мужиками за руку.

- Вот знакомьтесь, - говорил он мужикам, - мои товарищи-художники. Братья Васнецовы.

- Так мы ж понимаем! - кивал жидкобородый, щербатый, совсем молодой еще мужик. - Мы ж любопытствовали, у них тоже складно выходит, очинно похоже!

- Ну, робята! - сказал Максимов, дурачась. - Пошли. Только уж уговор - говорить правду. Плохо так плохо. Жалеть не надо.

- Это мы понимаем, - согласился щербатый. - Лучше уж среди своих побитым быть, чем на весь Петербург осрамиться.

- То-то и оно! - Максимов, обнимая мужиков за плечи, повел их в холодную избу, где у него была устроена мастерская.

Свету было еще достаточно, но Максимов зажег лампу. Он волновался, и не сразу стекло вошло в гнездо. Картина стояла на мольберте. Мужики обступили ее, замолчали.

- А ведь подходяще! - сказал самый старший, с седыми космами над ушами. - Подходяще, Максимыч!

- Все как есть правильно, - подтвердил кудрявый, похожий на Максимова мужик, ширококоротый и с такими лукавыми глазами, что глянешь и поймешь - обдурит.

- Колдун-то вылитый Анисим, - ахнул щербатый. - Скажи спасибо, что помер. Узнал бы про твое дело - не поздоровилось бы.

- Килу, что ли, подвесил бы? - поинтересовался Максимов.

- Он чего хошь мог подвесить.

Мужики смеялись, прикрывая ладонями рты.

- А почему думаете, что это колдун? - спросил Виктор Михайлович.

- Ну а кто ж?! - удивился щербатый. - Ишь как все всколыхнулись. А ведь свадьба. Веселье. Да ведь и по фигуре видать - вылитый Анисим.

- Кто этот-то у тебя, с женихом-то рядом? - спросил старший.

- Дружка - хозяин застолья.

- Эк, выдумал! Да разве ему тут место? Это место почетное, для самого выдающего старика.

- А дружку-то где такого нашел?! - фыркнул щербатый. - Морда кислая, и ведь зеленый совсем. Дружка, глякось, вот он!

Указал на лукавоглазого.

- Петр - конечно! - согласился старший. - Он и в самом деле - дружка, на все свадьбы зовут.

- А почему? - спросил Аполлинарий.

- Лицом вышел. Лицо веселое! - серьезно объяснил старший. - Ты-то вон и румян, и пригож, а для дружки

не годишься. Как девица стыдлив. Дружка – это, брат, оторви да брось!

– Ну чего плетешь! – сдвинул брови «дружка», но тотчас сверкнул такой улыбкой, что и все улыбнулись.

– Согласен, братцы! – Максимов вдарил с мужиками по рукам, словно сторговался. – Но уговор – «дружка Петр» посидит завтра у меня в мастерской, с него буду малевать, чтоб по-вашему было.

И снова, теперь уже с дружкой, ударил по рукам.

Сидели допоздна на террасе. В темном воздухе носились то ли ласточки, то ли мыши летучие.

– Я в детстве больше всего лихоманки боялся, – сказал Виктор, – наша стряпуха страстей всяких знала множество. По сей день помню. На Новый год, дескать, морозы добираются до самого ада и выгоняют лихоманок па землю. Вот они и льнут в те избы, где потеплее. Встанут на пороге, тощие, жалкие, и глядят за людьми, виноватых ждут. Согрешит кто – лихоманка вот она, принимается трясти и корежить бедного.

– А мне про Кумаху запомнилось, – откликнулся Аполлинарий. – Кумаха нападает на того, кто вечером заснет, уж не помню, в который день, но тоже зимой, в феврале, кажется. И не то меня впечатлило, что Кумаха может на человека навалиться, а то, что живет она в лесу, в избе без крыши. Ужасно было ее жалко. Зима, снег, мороз, а изба без крыши. Бррр!

– Вася, а как ты на такой сюжет напал? – спросил Виктор Максимова.

– Да и сам не знаю. Мужицкая жизнь вот она, когда с мужиками бок о бок живешь, сам такой же мужик... Сказка, может, одна натолкнула. Совсем такая современная сказочка. На Ладоге слышал, когда па Валаам плыл... «Ну, сидит доктор в своем важном кабинете, сигару курит и сам про себя думает, какой он умный. Все-то он про человека знает, что у него болит, где и как внутри расположено... Дескать, и в том,

значит, сведущ, чего сам черт не знает. Только подумал про черта, а он тут как тут. С копытом на лапе.

- Умный? - спрашивает.

- Умный, - говорит доктор.

- Все знаешь?

- Все!

- Ну, это мы сейчас поглядим.

Взял, да и вынул у доктора совесть, ну, бяку такую, слякоть. Спрашивает:

- Что это?

- Не знаю, - говорит доктор.

- А это совесть твоя. А теперь на умишко свой полюбуйся.

Цап другой лапой, а доктор уж как чурбак, ничего не смыслит.

Черт взял врача, словно брекотушку, и давай колотить по столу.

- Отдать тебя ребятам - пусть играют!

Но все же сжалился. Вставил назад и мозги, и совесть, дал доктору щелобан на прощанье и был таков».

Максимов пригладил обеими руками буйные кудри, тихонько засмеялся.

- Вот поди ж ты, какое отношение эта сказочка имеет к приходу колдуна на свадьбу? А какая-то цепочка сработала. У крестьян, дескать, свои доктора, свои пугала, свои отношения с нечистым, со всем белым светом.

- Звезда! - вскрикнул Аполлинарий.

- Я прозевал, - пожалел Виктор.

- Падают звездочки, падают! - вздохнул Максимов. - Но ведь не убывает на небе. То вот и хорошо!

И непонятно было: впрямь ли он так мало знает о звездах или это - образ. Аполлинарий со своей наукой встрять не решился.

Петербургская жизнь началась осенью. Десять раз па дню дождь. Неунывающий Невский. Роскошные витрины магазинов, дамы и офицеры. Громогласное «ура» при появлении царского экипажа. Жизнь на иной планете.

На выставке Общества поощрения художников Васнецов один за другим выставил жанры: «Рабочего с тачкой», «Старуху, кормящую кур», «Детей, разоряющих гнезда».

Однажды перед своей картиной увидел Крамского.

- Здравствуйте, Иван Николаевич!

- Виктор Михайлович! - обрадовался Крамской. - Всегда интересно наблюдать за ростом молодых. У меня на Бирже множество было учеников, и за всеми приглядываю. Я-то уж им, может быть, и чужой, а они все - мои. Иные во враждебный лагерь уходят, а все равно мои. За вас радуюсь. Жанры у вас добротные, искренние. А что еще пишете, что задумали?

- Харчевню пишу, чаепитие.

- Посмотреть можно?

- Ох, если бы глянули! Снова хожу в Академию, а неучем себя чувствую, недоумком.

- О заграничной поездке небось мечтаете, чтоб светом напиться?

- Я, Иван Николаевич, если когда-нибудь и закончу Академию, от конкурса на Большую медаль откажусь, а па свои деньги много по заграницам не наездишь.

Крамской еще более повеселел.

- И плюньте, плюньте на эту медаль! Год, а то и два ухлопаете на мертвечину, а потом еще три года будете пропитываться антикой, которая сама по себе превосходна, да нам уже ее покрой никак не годится. Совсем иная жизнь, идеология иная. Они, свободные-то эллины, рабовладельцами были. Мы как-то забываем об этом, и напрасно.

«Чаепитие» Крамскому понравилось, указал на некоторые просчеты в композиции, на скованность фигур.

- Не ошибся я в вас, Васнецов. Главное, есть рост. От работы к работе. О вашем «Чаепитии» заговорят, вот увидите.

- А я, Иван Николаевич, то и дело в отчаянье прихожу, - признался Виктор Михайлович.

- Ну и слава богу! Самовлюбленный гусь только гусь, а гадкий утенок, как известно, лебедем обернулся. А насчет заграницы... Вы все-таки съездите. Ну, в Париж хотя бы. Чтоб не думалось. Нам все кажется - совершенство где-то там. Под носом у себя ни Рафаэля не разглядим, ни Рембрандта. У нас как рассуждают: вот поеду за границу и научусь самой лучшей технике, будто техника в шкафу на гвоздике висит. А ведь это все дрянь и ложь! Рассуждения эти дрянь и ложь! Великие никогда о технике не думали. У каждого великого - своя техника. Задача технику творит. Замысел. Вы, пожалуйста, об этом не забывайте, Васнецов.

Третья Передвижная выставка открылась в Петербурге 21 января 1874 года. Она стала первой для Виктора Михайловича Васнецова. Его картина «За чаем», или «Чаепитие в харчевне», нравилась не только Крамскому, но и такому строгому художественному судье, каким был Чистяков.

В конце декабря 1873 года Павел Петрович писал Третьякову: «Был я на днях у Васнецова, видел его картину, хотя она и не окончена, но надеюсь, что выйдет необыкновенно характерна. Он собирается ехать за границу ради поправления здоровья, ну да и посмотреть. Я радуюсь этому, не знаю только, на какие деньги он поедет. Эх, если бы этот художник да поучился немножко! Какой бы он был молодец».



Добрейший Чистяков очень уж прозрачно намекает великому собирателю, что не худо бы приобретением картины помочь молодому дарованию.

Третьяков, однако, купил с выставки другие картины - «Ремонтные работы на железной дороге» Константина Аполлоновича Савицкого и «Забытую деревню» Архипа Ивановича Куинджи, перешла в его собственность и картина Михаила Константиновича Клодта «Вечерний вид в Орловской губернии». Ею Клодт расплатился за долги.

Выставка имела успех. В Москве к ней добавилась картина Крамского «Христос в пустыне». Она экспонировалась на II выставке, но II выставка в Москву не попала.

Дальнейший путь III выставки - Воронеж, Харьков, Казань, Саратов.

Россия привыкала к русским именам под картинами.

Жизнь Виктора Михайловича Васнецова в искусстве естественна, как сама жизнь. Слава на него не свалилась, как гром с ясного неба, и всякий его успех - не стечение обстоятельств, политических, экономических или каких-либо иных: например, удачная женитьба. Нет, всякий его шагок вверх был шагом вверх не по лестнице человеческих отношений, а по лестнице художественного совершенствования.

Судьба берегла Васнецова и от преждевременного успеха тоже. Противоестественный успех - для Творчества еще более губителен, нежели длительное непризнание и замалчивание. Старый успех, как покинутый, сухой кокон, вроде бы вот он, а тронь - рассыпается в прах.

Разумеется, ни один художник не сидит сложа руки, ожидая озарения свыше. Художник живет, борется за существование, страдает, негодует на зрителя и критиков, то есть созревает для того, чтобы однажды признать: всё правильно. И то, что зрители проходят

мимо твоей картины, и то, что критика пред именем твоим не воскурят фимиам.

Васнецов участью своей – он все еще кормился резаньем досок – был недоволен. Однако он не порывал с тематикой, честно играя предложенную ему критикой роль знатока народной жизни. Он уповал не на какой-то особенный сюжет, а хотел взять основательностью разработки темы, то есть количеством. И всюду слышал голоса одобрения: от Чистякова, Крамского, Репина, Максимова, Ге, особенно Максимова, к которому он очень близок в эти годы.

Похвалы прибавляют сил, но глубоко внутри Васнецов знал о себе всю правду, высшую правду творчества, которая и близко не стоит к высокомерному всезнанию критики. Он хорошо помнил поговорку, которую сам когда-то и отыллюстрировал: бог на помощь не приходит, где как худо кто городит.

«Чаепитие» хвалили, а успех дарит людей. За молодым художником закреплялась слава знатока глубинной народной жизни. Серьезный талант.

Внешне в жизни мало что менялось, разве заказов прибыло, по, увы, не на полотна, на те же «деревяшки». Одно новое знакомство было особенно дорогим, для души. В Петербурге Виктор Михайлович пристрастился к музыке. И вот вдруг открылся для него дом Адриана Прахова, где музыка звучала каждый день.

Слава знатока народной жизни, а в жизни этой было много трагического, по крайней мере, трагическое было в цене у воителей за народную правду, привела Васнецова к мысли написать «Кабак».

С утра писал по зарисовкам лицо, испитое, потерявшее цвет, взгляд и, может, саму жизнь. Писал, писал, да и бросил кисти, лег на диванчик, утомленный скверной человеческой.

И вдруг встало перед ним облако. Гряда огромных белых прекрасных облаков. И богатырь. Богатырь на

черном для контраста с облаком богатырском коне. Впрочем, почему богатырь – богатыри! Поставил их троицей. Земля прогибается под тяжестью богатырской силы. Лики у всех троих строгие, светлые. Застава. Хранители русской земли.

Заколотилось сердце. Встал, пробежался по комнате. Тесно стало, душно. Отвернул к стене холст с кабаком. Снова лег. А в голове бетховенские громады звуков, облака во все небо и богатыри.

Вот что надо для души-то писать!

И пользы больше, чем от кабака. Кабак что – ткнуть лишний раз человека в его же блевотину, а богатыри и самому несчастному, самому ничтожному напомнят, что он – сукин сын – русского племени, богатырского племени, а стало быть, стыдно жить по-свински, ибо есть она, иная жизнь, жизнь с помыслами, со служением народу своему, земле своей. Не унижать, но возвышать – вот цель искусства.

Радость всегда звала Васнецова на люди. Помчался к Праховым, к музыке. Он с некоторых пор обнаружил в себе удивительное. Музыка словно бы подпитывала его художественные силы, как вода питает корни растения. Иногда и чудо случалось. После музыкального потрясения он писал легко, без огрехов, без промашек.

– Какой великолепный неолит! – Эмилия Львовна, открывшая дверь, разглядывала гостя насмешливо и придирчиво. – Нет, не неолит – розанчик, трехмесячный поросенок с румянцем на щеках, то бишь на пяточке. Васнецов, где у поросят румянец? Наверное, там, где хвостик?

Ясные глаза Эмилии Львовны сверкнули угрожающе.

– Васнецов, если ты не перестанешь краснеть, я не прекращу своего красноречия. Адриан! Иди посмотри, как он краснеет. Кто это так тебя загнал, дружочек? –

Она своим платком промокнула Васнецову пот на лбу. – За музыкой пригалопировали?

– За музыкой, – Виктор Михайлович улыбался, но улыбка у него выходила жалобная: он никак не мог привыкнуть к жутковатому водовороту слов.

– Васнецов, – голос Эмилии Львовны был сух и официален, – я тебя предупреждала: новичками в этом доме считаются люди, бывшие раз-два-три.

– Да, я знаю, Эмилия Львовна. Только все-таки дух захватывает.

– А ты его под каблук, дух-то! Под свой. Под моим ему будет хуже. Адриан, где же ты?

Из комнат вышел Адриан Викторович, подал гостю руку.

– Миля, пощади Виктора Михайловича.

– Не могу! Он так удивительно пылает щечками. Впрочем, я его тотчас и награжу за терпение и за его взмыленные музыкальные бега. Ми-ха-лыч, ты не зря потел, сегодня только ради тебя – Бетховен.

Повернулась, улыбнулась. Пошла к роялю отрешенно, не отводя глаз от Васнецова и словно бы слушая что-то такое, отчего ей было страшно. Села, и будто волной, морскою, огромной, ударило в окна и двери.

Музыка странствовала по дому, по душе, по временам, по надеждам... И вдруг заразительный хохот Эмилии Львовны.

– Адриан! Он неисправимо серьезный человек. Васнецов, хочешь, я тебя выведу на чистую воду? А хоть и не хочешь... Я все про тебя знаю. Ты собираешься сделаться великим художником, и ты уже заранее знаешь, что ты – великий человек. «Вот Адриан, – думаешь ты, – он профессор, от его слова зависит популярность нашего брата, значимость, но он не творец и он ниже меня...»

- Помилуйте, Эмилия Львовна! - всплеснул руками Васнецов. - Ну какой я великий, я доски режу.

- Адриан лучше знает, великий ты или не великий. Ты - великий. И это правда, что творец выше критика. Однако путь к величию, к вашему мазильному величию прокладывает Адриан. Что без пианиста Бетховен? Муравьиная куча запятых и бемолей. Так вот, Васнецов, мой Адриан Викторович на вас исполнит то, что исполнит.

- По-моему, Миля, ты запуталась, - сказал, смеясь, Адриан Викторович.

- Ничуть! Вам обоим кажется, что вы встретились случайно и ничего-то особенно вас не связывает, у каждого из вас свое дело. Но, дети мои, если бы вы только могли посмотреть на самих себя сверху... вернее, из будущего.

- Ой! Ой! Ой! Это фантазии, Миля! - воскликнул Прахов. - Фантазии и фантазии! Мы познакомились на одной из моих лекций. Художник пришел послушать искусствоведа, выруганного громовержцем Стасовым, может, потому и пришел. Конечно, такую встречу нельзя назвать совершенно случайной. Один круг интересов, один и тот же круг людей.

- Мы познакомились 4 марта 1874-го, - сказал Васнецов. - Адриан Викторович читал лекцию: «Спутники французской живописи: живопись Бельгии, Италии, Испании». А первая наша встреча случилась у Репина в мастерской, еще в 69-м году.

- Значит, встретились у Коренника! - Глаза у Эмилии Львовны снова блистали. - Удивительный человек этот Репин. Магнит. Неграмотный, хитрый, а значит, не очень уж и умный, но люди льнут к нему. Совершенно разные люди. Разве это не восторг: его обожают Стасов и одновременно Прахов!

- Стасов возлюбил Репина за «Бурлаков», - улыбался Адриан Викторович. - Ну а мы со студенчества друзья.

- Васнецов, вы, наверное, не знаете нашего анекдота про медаль? - спросила Эмилия Львовна.

- Не знаю.

- Так вот одна из репинских медалей, малая серебряная, праховская.

- Как?! Адриан Викторович? Тот развел руками.

- На этот раз устами Эмилии Львовны глаголет истина. Репин пришел ко мне спросить, какие костюмы носили египтяне, в Академии дали египетскую тему: «Ангел смерти избивает египетских первенцев». Я объяснял, объяснял, и вижу, что-то не очень доходят мои рассказы до нашего запорожца, взял да и нарисовал эскиз. Репин его чуть тронул и сдал. И медаль!

- Адриан до сих пор гордится! - съязвила Эмилия Львовна.

- Ну а как же не гордиться? Помню, рисовали эскиз «Иеремия, плачущий на развалинах Солима». Репин получил за работу первый номер, а Прахов - тридцать девятый... Я в те поры уже знал его и нос от него воротил. Репин в те поры взял привычку по-городскому разговаривать. К каждому слову прибавлял «субъективно», «объективно»... Весьма был смешной господин, но как дело доходило до живописи: так первый номер господину Репину! И ведь не через раз, а всякий раз. Оттого и тянутся к нему. Он своими «Бурлаками» снова первый номер вытянул.

В дверь позвонили.

Пришел Василий Тимофеевич Савинков с номером «Гражданина».

- Федор Михайлович Достоевский опять статейкой разразился, да какой! Бьюсь об заклад, прочитаю первую строку, и все вы пожелаете узнать, что же дальше написано.

- Читайте первую строку, - разрешила Эмилия Львовна.

- «Отчего у нас все лгут, все до единого?» Братья Праховы зааплодировали.

- Читайте, Савинков! Читайте дальше.

- Я, с вашего позволения, дабы не утомлять, только самое острое предложу на общий суд. Ну, вот хотя бы: «С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в пластах интеллигентных, даже совсем и не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну и у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства». А? Каково? - И Савинков расхохотался.

- Это все сказано для одного комизма и увеселения, - Андриан Викторович играл пенсне, и было видно, ЧТО ему пассаж о вранье не по нраву.

- Но ведь как точно! - защитил любимого писателя Васнецов. - Мы все Живем в паутине бесконечной, ненужной, глупой лжи! Все знаем об этом и, значит, принимаем это.

- Вы думаете, после статейки господина Достоевского ложь иссякнет? - Андриан Викторович надел пенсне, но смотрел несколько в сторону.

- Нет, конечно, - согласно кивнул головой Васнецов.

- Вся не иссякнет, а хоть на день-два обмелеет река! - воскликнул Мстислав Викторович. - Обмелеет! Убежден, мы сами после сегодняшнего чтения не раз и не два придержим на своем язычке не одну, ох не одну... неправду.

- Позвольте, я еще несколько мест зачитаю, - сказал Савинков. - Вот, послушайте, какая прелесть. «Я знаю, что русский лгун сплошь да рядом лжет совсем для

себя неприметно... „Э, вздор! – скажут мне опять. – Лганье невинное, пустяки, ничего мирового“. Пусть. Я сам соглашаюсь, что все очень невинно и намекает лишь на благородные свойства характера, на чувство благодарности например». Благодарности! – расхохотался Савинков, и за ним Мстислав Викторович и Эмилия Львовна.

– Вы читайте, Василий Тимофеевич, раз взялись читать, – сказал Адриан Викторович. – Без комментариев.

– «Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества – всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступает в таких случаях за правду...

Второе, на что паше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо, и, чуть в обществе, все русские люди тотчас же стараются поскорее и во что бы ни стало каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле...»

Господа! Я тут выпускаю для краткости, но и в пропусках есть места очень замечательные. Вот, например: «В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали наконец-то, что все, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь па свете. Истина лежит перед людьми по сту лет на столе, и ее они не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастическим и утопическим!»

– Увольте, милейший Савинков!

Адриан Викторович взял пенсне двумя пальцами и замахал им, и оно сверкало в его пальцах, как



пойманная бабочка.

- Достоевского нельзя читать выборочно. А то, что вы прочитали только что - глубоко и очень грустно.

Савинков послушно закрыл было журнал, но тотчас встрепенулся.

- Вы уж извините, Адриан Викторович, но душа прямо-таки горит... Еще одно-два места... Ну, простите, простите! Это очень коротко... Вот отсюда. Виктор Михайлович, прочитайте вы, даже не с абзаца. Вот, читайте!

Савинков подставил текст к глазам Васнецова, и тот, виновато улыбнувшись, прочитал:

- «Есть пункт, в котором всякий русский человек разряда интеллигентного, являясь в общество или публику, ужасно требователен и ни за что уступить не может. (Другое дело у себя дома и сам про себя). Пункт этот - ум, желанье показаться умнее, чем есть, - замечательно это - отнюдь не желание показаться умнее всех или даже кого бы то ни было, а только лишь не глупее никого!»

- Вот, - сказал Савинков, забирая журнал от глаз Васнецова. - Не глупее никого! Разве не замечательно?

- Спасибо, Василий Тимофеевич! Это надо читать наедине с собой и отнюдь не похихатывая.

Про женщину Федор Михайлович хорошо сказал, - снова закинул удочку Савинков.

- Хочу послушать про женщину! - тотчас откликнулась Эмилия Львовна, и сияющий Савинков зачитал последние строки статьи Достоевского:

- «В нашей женщине все более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва; да и всегда в русской женщине все это было выше, чем у мужчин. Это несомненно, несмотря на все даже теперешние уклонения. Женщина меньше лжет, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет нелгущих.

Женщина настойчивее, терпеливее в деле, она серьезнее, чем мужчина, хочет дела для самого дела, а не для того лишь, чтоб казаться. Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?»

- Ах, милый, милый, милый Достоевский! - воскликнула Эмилия Львовна и вдруг обратилась к Васнецову. - Виктор Михайлович, а ведь это все для вас сказано.

- Для меня?!

- Да, для вас. Вы должны написать - женщину. Я по вашим глазам вижу - вы чувствуете женщину. Вот при всех пророчествую: высшим вашим художественным достижением будет женщина! Образ женщины! Идеал! Помучайтесь-ка теперь над загадкой! - Лицо у нее горело, и Виктор Михайлович опустил глаза. Он вспомнил свои «жанры», все они были далеки до идеала.

Эмилия Львовна подошла к роялю, зазвучал Бетховен, но тотчас музыка прервалась... Эмилия Львовна провела ладонью о ладонь, словно стерла неверно прозвучавшие звуки, и принялась играть Баха.

Много лет спустя Виктор Михайлович скажет искусствоведу Лобанову: «Эмилия Львовна так бередила душу музыкой, что хотелось бежать домой, брать палитру и кисти и рисовать до утра».

А в тот вечер Васнецов ушел от Праховых с «Гражданином» № 13, в котором Адриан Викторович советовал ему прочитать статью Достоевского «По поводу выставки».

Статья была написана весной, сразу после большого показа картин, отправляющихся на Венскую выставку.

Достоевский рассуждал о том, что поймут за границей, а что нет. «Не думаю, чтоб поняли, например: Перова „Охотников“», - писал Федор Михайлович и пояснял, как они не поймут, и эти рассуждения ужасно сердили и расстраивали Васнецова. Он читал статью,

покушаясь отложить ее, потому что в памяти вставал рассказ Репина о посещении его мастерской Тургеневым, по Адриан Викторович сказал, что в статье как раз дана оценка «Бурлакам».

Насторожили странные рассуждения Федора Михайловича о направлениях: «Я ужасно боюсь „направления“, если оно овладевает молодым художником, особенно при начале его поприща; и как вы думаете, чего именно тут боюсь; а вот именно того, что цель-то направления не достигнется. Поверит ли один милый критик, которого я недавно читал, но которого называть теперь не хочу (кто? Кто из самых-то боевых нынче? Уж не Михайловский ли?), – поверит ли он, что всякое художественное произведение без предвзятого направления, исполненное единственно из художнической потребности, и даже на сюжет совсем посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь „направительное“, – поверит ЛИ этот критик (Ну, конечно, Михайловский, он у Аполлинария с языка не сходит), – что такое произведение окажется гораздо полезнее для его же целей... В угоду общественному давлению молодой поэт давит в себе натуральную потребность излиться в собственных образах, боится, что осудят „за праздное любопытство, давит, стирает образы, которые сами просятся из души его, оставляет их без развития и внимания и вытягивает из себя с болезненными судорогами тему (А ведь это все про меня!) – удовлетворяющую общему, мундирному, либеральному и социальному мнению. Какая, однако, ужасно простая и наивная ошибка, какая грубая ошибка! (А что, если и впрямь ошибка все эти жанры?) – Одна из самых грубейших ошибок состоит в том, что обличение порока (или то, что либерализмом принято считать за порок) и возбуждение к ненависти и мести считается за единственный и возможный путь к достижению цели. (Не перебирает ли Федор

Михайлович, ишь умиротворитель!) —...Есть очень и очень значительные таланты, которые так много обещали, но которых до того заело направление, что решительно одело их в какой-то мундир“».

Далее весьма язвительно высмеивался Некрасов, и наконец речь шла о Репине, о «Бурлаках». О них было сказано просто и хорошо, и особенно хорошо было то, что Достоевский сравнивал Репина с Гоголем. Он так прямо и сказал: «...фигуры гоголевские!» И тотчас, правда, засомневался: «Слово это большое, но я и не говорю, что г-н Репин есть Гоголь в своем роде искусства. Наш жанр до Гоголя и до Диккенса не дорос». (Но почему??? Почему не дорос??? А если дорос!)

Через абзац всего, однако, было сказано про Репина очень тепло и дружески: «Жаль, что я ничего не знаю о г-не Репине. Любопытно узнать, молодой это человек или нет? Как бы и желал, чтоб это был очень еще молодой и только что еще начинающий художник. Несколько строк выше я поспешил оговориться, что все-таки это не Гоголь. (Скребут кошки по совести, скребут.) – Да, Г-Н Репин, до Гоголя еще ужасно как высоко, не возгордитесь заслуженным успехом. (А ведь это все-таки признание, что Репин – ровня Гоголю. Только писателю страшно сказать это без оговорок). – Наш жанр на хорошей дороге, и таланты есть, но чего-то недостает ему, чтобы раздвинуться или расшириться».

И следовали советы.

«Надо побольше смелости нашим художникам, побольше самостоятельности мысли, и может быть, побольше образования. Вот почему, я думаю, страдает и наш исторический род, который как-то затих. По-видимому, современные наши художники даже боятся исторического рода живописи и ударились в жанр, как в

единственный истинный и законный исход дарования...»

Васнецов закрыл журнал. Надо было обдумать одну только мысль. Ну, действительно, почему надо писать одни жанры? Потому, что все хотят жанров, о них лишь и пишут?

Васнецов увидел перед собой простор, северную, как у Максимова, в деревне, зарю, розовую, робкую, с мощными синими облаками, и – богатыря! Богатыря, прямо смотрящего на публику, на весь род людской, что занимает ныне землю, на ничтожество этого рода. Стоп! Ну, почему – на ничтожество? Это ведь то, против чего и воюет Достоевский, это и есть направление, мундир! На правнуков своих глядит богатырь. Он изгнал врагов с родной земли и дал народу покой и волю. Не злобствовать надо, не унижать человека, тыча носом в его же мерзости. Пусть человек возвысится душою! Пусть узнает себя в богатыре! Разве это не задача?

Пришел Аполлинарий. Поужинали, легли спать.

– Что-то мы с тобой совсем не видимся, – сказал Виктор.

– Я готовлюсь. С математикой плохо. Студенты говорят, петербургских учителей мне не покорить, не сдам здесь за реальное, провалят. В провинции, говорят, будет много проще, в той же Вятке.

– Аполлинарий! В Петербурге Академия, художники, Эрмитаж. Не надо тебе в Вятку.

– Надо. Надо в парод вернуться. Надо вернуть ему то, что он дал нам.

– Да что же он тебе дал, народ? Господи! Вот оно – направление. Ты-то разве не парод?

– Не народ, Виктор, не народ! Мы с тобой поповичи.

– Поповичи. У нас на столе было то же самое, что у мужиков. Разве повернется язык у кого-то в Рябове сказать, что наш отец сидел на шее у крестьянина? Он больше давал, чем брал.

- Кормились-то мы от народа все-таки.

- Прекрати! Ты своим искусством во сто крат дашь больше народу, чем глупой проповедью всеобщего братства.

- Ну, это как сказать! - Аполлинарий заупрямился. - Искусство?! Что оно, твое искусство, дает народу, если он в нем не смыслит? Кто смотрит твои жалобные картинки про крестьянскую жизнь? Генералы, барыньки да жандармские шпики! Ты для этих господ собираешься всю жизнь работать?

Виктор испугался. Нет, Аполлинарий говорил не из одного только упрямства. Свихнули мозги мальчишке проклятые нигилисты! Свихнули!

- Почитай, Аполлинарий, статью Достоевского, я от Праховых принес.

- Достоевский не знает молодых. Его песни старые.

- Напрасно. Давай-ка спать тогда. Утро вечера мудренее.

Они замолчали, но уснуть не могли. Не спали, но и не заговаривали больше.

«Наш жанр не дорос до Гоголя и Диккенса», - вспомнилось Виктору Михайловичу. Усмехнулся, тут было что-то похожее на отзывы Тургенева об Иванове. Иванов у Тургенева тоже до чего-то там не дорос.

Вздыхнул. Одни вопросы. Одни вопросы!

Русским художникам и впрямь не совсем везло с оценками великих писателей. От Льва Николаевича Толстого досталось Виктору Михайловичу Васнецову. Превознося Ге, называя его одним из самых великих художников всего мира, он почему-то противопоставил ему Васнецова, которого поместил в ряду художественных пустышек. Вот что мы читаем в письме к П. М. Третьякову: «Форма-техника выработана в наше время до большого совершенства. И мастеров по технике в последнее время, когда обучение стало более доступно массам, явилось огромное количество, и со

временем явится еще больше. Но людей, обладающих содержанием, то есть художественной мыслью, то есть новым освещением важных вопросов ЖИЗНИ, таких людей, но мере усиления техники, которой удовлетворяются мало развитые любители, становилось все меньше и меньше, и в последнее время стало так мало, что все, не только наши выставки, но и заграничные Салоны наполнены или картинами, бьющими на внешние эффекты, или пейзажи, портреты, бессмысленные жанры и выдуманные исторические или религиозные картины, как Уде, или Боро, или наш Васнецов. Искренних сердцем, содержательных картин нет».

Одним махом перечеркнуто все русское искусство. Написано это в 1894 году, Васнецов был на гребне славы, вернее, приближался к своему триумфу. Оценка его творчества Толстым вполне понятна. Картины и росписи Васнецова отвечали в тот период официальному взгляду на искусство. Но Лев Николаевич отказал в искренности и содержательности не только выразителю идей русского патриотизма, но и всему русскому и даже мировому искусству.

И как тут не вспомнишь Илью Ефимовича Репина, его горьких, но справедливых слов о русских литераторах, бравшихся рассуждать об искусстве. «Самый большой вред наших доктрин об искусстве, – писал он в статье „Николай Николаевич Ге и паши претензии к искусству“, – происходит от того, что о нем пишут всегда литераторы, трактуя его с точки зрения литературы. Они с бессовестной авторитетностью говорят о малознакомой области пластических искусств, хотя сами же они с апломбом заявляют, что в искусствах этих ничего не понимают и не считают это важным. Красивыми аналогиями пластики с литературой они сбивают с толку не только публику, любителей, меценатов, но и самих художников».

Впрочем, осердясь, Илья Ефимович тотчас переводил свой разговор на шутливый тон, чтоб шуткой несколько смягчить жестокую правду:

«Это я в отместку за постоянные набеги и почти поголовный угон в плен моих собратьев по художеству литераторами».

Но после примирительного жеста следовал новый прилив негодования, и не камешек – булыжник летел в огород писателей: «Так Гоголь и Л. Толстой закололи своего Исаака во славу морали», – попенял Репин великим мастерам слова, отступившимся от своего художественного творчества, один ради «Выбранных мест из переписки с друзьями», другой – ради всех тех статей и трактатов, которые породили толстовство.

У Виктора перехватило дыхание. Слава богу, что уезжает, а сердце на части разрывается. От жалости к себе, к нему. Мальчишка ведь совсем. А ехать-то, ехать! До Москвы, до Нижнего, там пароходами.

Забежал в вагон.

– Аполлинарий, ты смотри! Ты – рисуй. Бог тебя накажет, если забросишь рисование. Науки пауками, но о главном своем не забывай. У тебя талант. Ты меня слушай. Я неправды никому еще не сказал, ни в отместку, ни в угоду.

Достал рубль.

– Вот возьми! На еду, на чай. Сунул пятиалтынный.

Аполлинарий улыбался, брал деньги, но лицо у него все вытягивалось, вытягивалось.

– Ты, Витя, себя-то береги, – опустил глаза и вдруг быстро, как мама когда-то, погладил брата по голове.

Пропел рожок кондуктора. Виктор выскочил на перрон, поезд тронулся. Замелькали лица в окнах, застучали колеса.

И стало тихо.

Он понял вдруг, что один на перроне. Повернулся, не взглянув на рельсы, пошел, трогая длинными



пальцами карманы. Кажется, остался без копейки. Домой придется идти пешком, через весь-то Невский, да линиями Васильевского... Покачал головой, удивляясь себе. Ну, да беда невелика – пешком по городу пройтись.

Рад был Виктор Михайлович, что брат уехал. Для таких горячих голов Петербург – место погибельное. Зыбкое место и много хуже болота. В Петербург всяк едет за счастьем, но одни – за своим, за собственным, и для себя, этих столица терпит. Иное дело – горячие головы. Те прибывают в Петербург за всеобщим счастьем, им о себе подумать некогда, им подавай блаженство, равное на всех. Начинаются недоразумения, расстройств. И главное, до врачей дело не доходит, но до полиции очень даже быстро.

Подсаживал братца в вагон Виктор Михайлович несколько сердито, как бы и подталкивал: дескать, рано тебе, братец, в столицах обретаться. Сначала корешки пусти, те самые, Коими человек держится за жизнь...

Сердило, что слеп братец. Слеп! Супротивничают-то всему и всем больше от переедания, от пресыщения. То купеческий отпрыск взбрыкнет, то генеральский. Покуражатся, покорежатся, а потом – глядь: тот, что от купца – в купцах, а от генерала – в генералах же. А вот шушера шушерой и остается. Отведают каталажек, этапов, выселок. И рады бы, может, жить как люди, как все живут, а уж поздно – места все заняты. И не горят уже геройские клейма, но гниют, повергая бывших героев в ничтожество.

Нет, слава богу, что братец отбыл.

Одно нехорошо, обзавелся столичным апломбом. Видите ли, глаза у него на мир открылись. Сам неуч, а уехал – учить. Просвещать обездоленных, чтоб стали вровень с ним, с недоучкой.

Виктор Михайлович вздохнул, сдвинул брови, все еще переживая свои безуспешные споры с

Аполлинарием, и вдруг встало перед ним милое это лицо, румяное, нежное, как у малого ребенка, синеглазое. И какая-то обида па весь белый свет тенью нашла на сердце.

Господи, ведь чистый, светлый юноша. И уж так ли плохи помыслы – крестьянство собрался к свету вывести. А ведь таких-то чуть ли не преступниками считают, ниспровергателями закона и порядка. Все глупо. И затея молодых – глупость, потому что выдумка, потому что именно затея, далекая от жизни. И государство ведет себя хуже некуда.

Виктор Михайлович давно уж заметил: жизнь пошла вроде бы боком. Дни стали пусты, ночи пустынные. А ведь все вроде бы хорошо, и все вокруг прежние.

Надо пожить и пожить, чтобы научиться распознавать конец времен. Редко кому дается тонкая сия наука, редкому прививается чутье на странный этот феномен – распознавать почти несуществующее: что-то кончилось в жизни, что-то в ней истратилось, пора выйти из самого себя, как из кокона.

Обо всем этом молодой Васнецов знать не знал, и даже промельком не было в нем догадки об отмирании в человеке одного пласта времени ради другого.

Но хоть человек и не чувствует на себе пут кокона, а все же они есть, и кокон, и путы, и счастливый полет после освобождения, полет бабочки на радость весне.

Возле Публичной библиотеки остановился. В библиотеке у него было дело, но как-то неловко приниматься за рабочую суету через полчаса после проводов милого брата. Что-то в этом было циничное. Но куда теперь? В Академию? Академии он уже почти чужой. Да что почти – совсем чужой: уж очень велика задолженность по общеобразовательным предметам.

Домой? На голые стены пялиться... Уж лучше в библиотеку. А здесь радость. Его принял сам Владимир

Васильевич Стасов.

- Отлично вас помню, - говорил Стасов, улыбаясь добрейше и, кажется, совершенно не наигрывая. - Мне ваша компания очень тогда показалась симпатичной. И Ренин, и Семирадский, ну и Антокольский, разумеется. А вы хоть и помалкивали во время всей нашей встречи, но так выразительно, что запомнились не хуже ораторствующего Семирадского... Да вы и теперь, как я погляжу, собираетесь молчать? Не выйдет! Давайте-ка, прежде нашего дела, чаю выпьем. Надеюсь, не торопитесь?

- Нет, - сказал Васнецов. - Не тороплюсь.

Чай принесли в японских чашечках, светящихся, почти прозрачных. Но сладкого не было. Вместо сладкого - галеты.

- Чай не терпит вкусовой мешанины, - сказал Стасов.

Виктор Михайлович отведал крепчайшего напитка.

- Такой действительно не терпит. А когда ни вкуса, ни цвета, сахар не помеха.

- Вот и приучаем себя ко всякого рода компромиссам. А приучившись в быту быть неразборчивыми, переносим эту нашу всеядность и в иные сферы, вплоть до искусства. Большинство художественных выставок лишнее тому подтверждение.

- А судьи кто? - спросил Васнецов, и в синих глазах его сверкнули кристаллы самородного железа.

Стасов поднял брови, но тотчас и захохотал. Что греха таить, себя он почитал за верховного, за непогрешимого жреца.

- Верно, верно! - говорил он, отирая глаза удивительно белым и тонким платочком. - У искусства и зевака судья. Все как в жизни. Любой человек, и царь, и раб, а может, не только человек, но и червь - все судят творенье божье: величественный и необъятный мир.

Что перед глазами, то и судим, а у червей-то и глаз даже пет.

После чая перешли к столу, где Васнецова ждал огромный альбом среднеазиатских фотографий. Оказывается, Владимир Васильевич извлек его из хранилища сразу же после беседы с генералом Гейнсом. Речь шла о парижском издании лучших картин и этюдов художника Верещагина, созданных им во время Ташкентской экспедиции. Гейнс был не только генералом, но и знатоком искусства. Он написал основательное и красноречивое «Предисловие» к каталогу верещагинской выставки 1874 года, посвященной Ташкентской экспедиции. Неудивительно, что Верещагин именно ему и предложил сочинить текст для столь престижного издания. Васнецов тоже был самым непосредственным участником этого альбома: резал на деревяшках рисунки для гравюр. В этом деле он слыл уже за первейшего мастера в России.

Генерал Гейнс в записках использовал свои обширные дневники. Работа вышла за рамки одних только пояснений к верещагинским рисункам, и генерал решил, что будет нехудо, если Васнецов проиллюстрирует текст анималистическими и бытовыми рисунками, па которые Верещагин был более чем скуп.

- Таких альбомов всего шесть, и один из них в моем хранилище, - с гордостью говорил Владимир Васильевич, раскрывая лист, на котором была фотография праздника.

Виктор Михайлович стоял как бы чуть в сторонке, и Стасов понял, что с этим чутким скромницей и самому надо быть и чутким, и осторожным. Как недотрога: прикоснись - закроется.

- Вот вам это наше чудо, смотрите, спрашивайте. И, пожалуйста, спрашивайте, если будет нужда. Для меня это радость быть полезным, хоть в чем-то, нашему русскому искусству.

Васнецов рассматривал фотографии, ничего не зарисовывая, но уже на следующий день принес показать отличную композицию «Охота на марала».

Стасов расхвалил рисунок, и ледок отчуждения был сломан.

Теперь рассматривали альбом вместе, наслаждаясь неисчерпаемостью фантазии орнаментов, оплетавших дворцы и мечети от куполов до земли. Восхищались чеканкой, изделиями ювелиров и гончаров.

- Самый демократический материал! - разглядывал глиняные блюда Васнецов. - Финтифлюшка, завитушка. Краска не поплыла - хорошо, растеклась - еще лучше! На глине не страшно рисовать спроста, с налета... Рисовать на глине, как песни петь.

Поймал на себе внимательный взгляд Стасова.

- Я что-нибудь не так?

- Бога ради! - встрепенулся старец. - Залюбовался. Хорошо говорите... Очень верно... Признаюсь, я уж давно приглядываюсь к вашим работам. Даже кое-что собираю впрок, - достал из стола папку, открыл, - пишут о вас. «Пчела», «Иллюстрация»... В «Голосе» очень толковая мелькнула заметка.

Вслух прочитал отчеркнутое место.

- «Как типист, Васнецов, бесспорно, будет одним из лучших русских художников. Типы его оригинальны, разнообразны; в них нет карикатурности или утрировки... Такие художники, как Васнецов, незаменимы были бы в этнографическом отношении. Обладая замечательными достоинствами в рисунке пером, обладая в то же время умением подмечать и схватывать тип во всей его оригинальности и полноте, Васнецов оказал бы, разъезжая по России, несомненные услуги этнографии. Картины его из жизни и быта народа приобрели бы, нам кажется, громадный успех...»

- Но ведь я не только это могу! Не только перышком, - вырвалось у Васнецова, серо-синие глаза

его стали беспомощными.

- Вот и хорошо, что не только перышком, хотя перышко ваше, Виктор Михайлович, золотое.

Стасов преувеличивал, но верно было то, что работа для журналов и газет из-за куска хлеба сделала имя Васнецова известным. Другое дело, что ему уже обидно было слыть одним из лучших «резальщиков деревяшек».

На выставку передвижников у него приняли сразу две картины: «Лавочка лубочных картинок» («Книжная лавочка») и «С квартиры на квартиру».

«Лавочка» была всего лишь колоритной бытовой сценой русской жизни, своего рода этнография. Среди покупателей мужик-плотник, приобретающий для дома, в подарок семье и себе, яркий лубок. Старик с посохом и с мальчиком. Видно, народный мудрец и грамотей. Перст его указывает на какую-то более важную книгу, более полезную для мужика. У мальчика в руках узелок и книжица. Лицо его Виктор Михайлович списал с Аполлинария. Мальчик, по сравнению с двумя оборванцами в левом углу картины, ухоженный. Он поглядывает на уличную вольницу без особого любопытства, но все-таки поглядывает. А те увлечены не только картинкой, но и текстом. Мальчишка постарше, водя пальцем по строчкам, пытается прочесть что-то очень для них обоих интересное.

За стариком две женщины. Одна совсем уже пожилая. Эти пришли купить богоспасительное. Торговец лицом простоват, из мужиков, но уже и толст, и картуз на нем новехонький.

Оживляют картину голуби на крыше лавочки, и особенно белый, почтовый.

Да, вот такие па Руси книжные лавочки из офеней. Вот так выбирают товар мужички, так глазают мальчишки. И мудрец не выдуман - на Руси в доморощенных философах недостатка нет.

Иное дело «С квартиры на квартиру».

Сюжет так понравился Васнецову, что он перенес его на холст со своего рисунка, опубликованного в альбоме Скамони. Картина была в двух вариантах. Первый, написанный еще в 1871 году, не сохранился. Возможно, разделил участь украденных этюдов и рисунков.

На картине уже не столько изображение грустной сцены петербургской жизни, сколько мысль о жизни.

Картина скупа на действующие лица, но каждое лицо значительно и не случайно.

На первом плане старики, супружеская пара. По шинельке видно, что это очень бедные, очень аккуратные люди из сословия чиновников, и, может быть, не из последних, шинелька с бобровым воротником. Лицо старика сохраняет следы былой значимости, а лицо старушки – былой красоты. Но все у них в прошлом. Нажитого – жалкие узелки да еще более или менее приличная одежда. Одним судьба их не обделила – привязанностью. Вдвоем несут свой крест.

Они идут по льду Невы. Впереди единственная их радость – жалкая комнатная собачка. В лед вмерзла лодка. Вернее, остов лодки. Она и к месту, часть городского речного пейзажа, и подчеркивает мысль о зиме жизни. Собственно, жизни-то уже нет. Один остов ее еще держится укором всем зрителям. Но, впрочем, кто же в том виноват, что существуют на белом свете отставные чиновники с маленькой пенсией, что есть в жизни человека старость. На противоположном берегу Невы за каменной стеной сияет золотой шпиль Петропавловской крепости. И тоже не случайно. Каменной стеной отгородилась жизнь от бедных петербургских стариков. Они идут рука об руку, и это, хоть и слабое, но утешение. Утешение нам, зрителям, которых художник застал врасплох среди бурной и шумной действительности.

Стасов от картины пришел в восторг. Он заметил ее на выставке и не забыл много лет спустя, когда писал о художнике большую статью. «Тут являлся у Васнецова еще впервые трогательный, хватающий за душу сюжет, – вспоминал критик. – Муж и жена, бедные старики, чиновники, перебирающиеся с тощими своими узелками по льду через Неву на какую-то новую, далекую квартиру – новые Филемон и Бавкида, только не греческие, живущие припеваючи, а русские, согнутые судьбою и недостатками в три погибели и намучившиеся дотла».

Это, пожалуй, чуть ли не единственная картина Васнецова, где он показал беду человеческую. Не беду сказочных героев, не драму легендарных личностей – в легендах и сказках беда отодвинута от зрителя масштабом времени, масштабом мысли, – но житейскую, много раз наблюдаемую, вполне обывательскую беду. Неудивительно, что картину «увидел» и купец Павел Михайлович Третьяков. Казалось бы, золотая жила найдена. Но для большого художника игра на больных струнах бытия недопустима. Не нравственно наживать известность на язвах жизни. Васнецов, видимо, это осознал уже в ту пору, когда его картина привлекала к себе внимание зрителей Передвижной выставки. Казалось, он достиг желаемого, но душа его такой известности не обрадовалась.

Новый, 1875 год начался для Васнецова с неприятностей.

За семь лет пребывания в Академии учиться пришлось немного, пропуски затягивались на месяцы, когда приходилось исполнять большие редакционные заказы, был годовой пропуск по болезни.

Писать картину на Большую Золотую медаль – значит убить еще целый год, а то и два. Право на заграничное пенсионерство получают не столько самые талантливые, сколько самые вышколенные. Костя



Савицкий за несдержанность языка вообще был не допущен до конкурса.

Все эти программы – путь от себя. Учеба давно уже перестала быть путем к себе. Писать библейских эллинов, что, кстати говоря, несообразно ни с религией, ни с историей, ни со временем, для удовольствия одного Федора Ивановича Бруни и ради того, что так полагается – не цинизм ли это?

Репин писал. Но для Репина, умевшего без драмы дать заказчику то, что ему надо, академическая условная тема «Бурлакам» помехой не была. Васнецов так не умел.

После начисто неудавшегося Аполлона, заданного Чистяковым, Виктор Михайлович понял: хоть вывернись он наизнанку – Большой медали ему не видать. Семирадским ведь тоже надо родиться.

За последним ответом на поставленный перед собою вопрос Виктор Михайлович пошел к самому Федору Антоновичу Бруни, но не в его ректорский, за тремя печатями для студента, кабинет, а к Бруни-художнику в Исаакиевский собор.

Долго смотрел на «Видение пророка Иезекииля». Все почти работы Бруни освещены каким-то странным светом, светом заходящего солнца. Оттого и фигуры словно вырезаны из пространства и наклеены на него. В этом есть что-то смятенное, что-то по-настоящему человеческое, живое. И все-таки... Где же она, червоточина?

«Господи! Да ведь не по-русски все – это!»

Подумывал, как тактичнее будет отказаться от конкурса, а пришлось решать совсем иную задачу – быть или не быть в Академии.

Подал заявление с просьбой перенести сдачу общеобразовательных предметов на будущий год, администрация пригрозила, что все задолжники останутся на второй год. И вдруг – отказ.

Прибежал к Праховым:

- Адриан Викторович, что делать? К чьей хоть ножке-то следует припасть?

Прахов принялся стеклышки в очках протирать:

- Боюсь, что припадать-то надо не к ноге, а к сапогу. Это сам великий князь Владимир решил прибраться в академической неразберихе.

- Второй год рисовать все те же фигуры - совершенно невыносимо! За фигуры-то у меня медалки серебряные.

- Остается одно - сдать хвосты. Помню, как Мстислав натаскивал Репина сразу по всем предметам: по истории, русскому, немецкому, географии...

- Времени-то совсем нет! - чуть не застонал Васнецов. - Брату за лень пенял, а сам в книги даже и не заглядывал.

- Попроситесь на прием к Бруни. Федор Антонович иногда и милость может явить.

- Ведь в главном-то, в искусстве, я несколько не отстающий!

- С тем и идите! Солдафонство - живописцу ни ума, ни таланта не добавляет.

- Солдафонство живописцу ни ума не добавляет, ни таланта! - повторил где-то Виктор Михайлович, не пустого бунтарства ради, сочувствия искал; боялся, Бруни не примет, но Бруни принял.

Кабинет огромный, фигурка ректора потерялась за позолотой и бархатом.

- Подойдите ближе!

Пошел, думая сразу обо всем: о росписях в Исаакиевском соборе, о том, что впервые за все пребывание в Академии слышит голос ректора, тревожась неизвестностью.

- Васнецов, почему вы нарушаете порядок?

Голос раздался в спину. Остановился, оглянулся: великий князь Владимир Александрович.

- Чем же я нарушаю? Великий князь побагровел вдруг.

- Да тем, что ко мне надо обращаться - ваше высочество! Тем, что картинки свои на передвижную выставку послали... А эта ваша разнузданная неуспеваемость? Вы - нигилист!

- Ваше высочество!

- Вы - нигилист, толкующий о солдафонстве, хотя, казалось бы, каждому здравомыслящему человеку должно быть ясно: порядок искусству не вреден, а вот разгильдяйство - вредно!

- Ваше высочество!

- Я не кончил!..

Но сказать Владимиру Александровичу, видимо, было уже нечего, воцарилась тишина.

- Что вы имеете сообщить в свое оправдание, Васнецов? - как из колодца долетел размеренный голос Бруни.

- Занятый художественной работой, я действительно запустил учебу по общеобразовательным предметам. Я прошу дать мне время... Я сдам экзамены осенью, даже летом...

- Нет! - сказал князь Владимир. - Все бездельники будут сидеть в своих классах хоть десять лет!

Снова наступила тишина. И голос Бруни.

- Ступайте, Васнецов!

Пошел, как в тумане. Оглянулся - набережная, Нева, златоглавый Исаакий. Повернулся к Академии.

- Выходит, прощай! - развел руками. «Откуда взялась напасть?»

Снова поглядел на Академию, уже издали:

- Не век же, впрочем... в учениках-то.

На него оглянулись: вслух человек разговаривает.

- Что бог ни делает - к лучшему, - сказал прохожему, участливо смотревшему на него.

- Это верно, - согласился прохожий, поворотился лицом к Исаакию и перекрестился.

17 февраля 1875 года Виктор Михайлович Васнецов расстался с Академией художеств, получив от нее удивительную справку о том, что обладатель этой справки «состоял в учениках с 1868 года, показал весьма хорошие успехи, за что награжден двумя малыми серебряными медалями и одной большой».

Впрочем, академическая рутина и лихоимство начальства - не причина для халатной учебы. Биографы всякий раз находят некие высшие мотивы для тех, кто учился спустя рукава. Думается, ничто не оправдывает студента, который за семь лет занятий не одолел двух курсов.

Учиться в Академии было чему, и Васнецов всю свою огромную художественную жизнь ощущал ничем не восполнимый пробел не только в образовании, но и в живописной технике. Как ни скучна истина, что в годы учения надо учиться, - она истина.

Вспомним о Марии Егоровне Селенкиной. Биографы Васнецова это имя обходят молчанием, мало и плохо зная о вятских друзьях художника. Но вот что теперь известно благодаря розыскам краеведов.

В 1874 году за революционную пропаганду Селенкина была арестована и полтора года провела в одиночке. Разумеется, жандармерия по возможности полно выявила круг ее знакомых. Васнецов, видимо, попал в список самого близкого окружения арестованной.

В это же время, а именно в июне 1875 года, была вновь закрыта библиотека Александра Александровича Красовского, и не просто закрыта, а «по высочайшему повелению». В библиотеке имелся «Капитал» Карла Маркса, сочинения русских революционных демократов П. Л. Лаврова, Г. А. Лопатина, В. В. Берви-Флеровского...

Учитель Васнецова миновал ареста только потому, что он не был формальным хозяином библиотеки.

Не эти ли аресты и запрещения, произведенные в Вятке, были подлинной причиной устранения неблагонадежного Васнецова из Академии художеств? Дабы не запятнать честь мундира политическим делом, за причину выставили академическую задолженность студента.

Остаться без Академии было для Васнецова ударом. У него и в творчестве появились темы с надрывом. Именно в 1875 году были написаны два варианта картины «Застрелился», другое название «Трагическое происшествие». А в общем-то нужно было жить, значит, находить заказы и работать. Как раз в это очень трудное для него время Е. Н. Водовозова готовила к изданию серию этнографических книг «Жизнь европейских пародов». Первый том, посвященный Румынии, Греции, Испании, Франции, Италии, Сербии и Турции, был весь отдан Виктору Михайловичу.

На одном из «четвергов» – Праховы принимали по четвергам – Эмилия Львовна пришла в страшное возбуждение. То ли гости рассеянно слушали ее игру, то ли кто-то никак не мог привыкнуть к очень своеобразному этикету хозяйки, но она грохнула крышкой рояля и накинулась на первого, кто был перед глазами.

– Где Васнецов?

– Почему нет Васнецова?!

– Какое равнодушие к жизни художника, к человеку, наконец! Человек исчез, и никто даже не вспомнил о нем.

– Миля, ну почему исчез? – начал осторожно Адриан Викторович. – У каждого дела, свои интересы. Это мы должны бы спросить Васнецова, куда запропал, голубчик?

- Нет, я вижу! Вы все - рыбы. Холодные рыбы. Да и не рыбы вовсе! Рыбье заливное.

Тут все стали вспоминать, где и когда видели Виктора Михайловича, и выходило, что одни не видали его с месяц, другие все два.

Эмилия Львовна собралась ехать на розыски тотчас, но время было далеко за полночь.

- Адриан, мы будем у Васнецова с первыми лучами! - объявила Эмилия Львовна и, не теряя ни минуты, выпроводила гостей.

Может, и не с первыми лучами и даже не со вторыми, по все-таки утром Адриан Викторович и Эмилия Львовна были на Тучковой набережной.

Дверь им отворила хозяйка.

- Он жив? - спросила Эмилия Львовна, сразу перепугав бедную пожилую женщину. - Он здесь? Где он?

Эмилия Львовна ворвалась в комнату и увидела Васнецова с фолиантом в руках.

- Чернокнижник! - вскричала радостно госпожа Прахова и кинулась целовать изумленного художника. - Мы из-за вас ночь не спали.

Комната была просторная, но в комнате было тесно: доски, холсты, краски, книги на столе, на полу, огромные альбомы с фотографиями.

- Что это у вас?! - изумился Прахов.

- Народы. Для книги госпожи Водовозовой стараюсь. - Васнецов все еще никак не мог понять ни бурного восторга Эмилии Львовны, ни самого столь раннего визита. - На народы-то поглядеть негде, довольствуюсь фотографиями.

Он снова переводил синие невинные свои глаза с Прахова на Прахову и обратно.

- Нечего тарашиться! - рассердилась Эмилия Львовна. - Я приехала спасти вас от жестокой горячки,

от белой немочи, а он жив-здоров да еще румян, как роза!

- Миля ужасно волновалась, что вы исчезли, - объяснил Адриан Викторович.

- Да ведь работа огромная! Прямо скажу - кабала. И, главное, творчества - никакого, тут усердие и усердие, и больше ничего!

Гости принялись разглядывать доски, рисунки, альбомы.

- А где это печатается? - спросил Прахов.

- Печатать будут в Париже, в заведении самого господина Паннемакера!

- Так вам сам бог велел быть в Париже. За господами издателями, хоть и за самим Паннемакером - глаз да глаз нужен.

- На какие это я шиши в Париж прикачу?

- На те, что полагаются за эти вот доски. Я знаю Водовозову. Берите у нее аванс и поезжайте воочию знакомиться с народами Европы.

- Да что же вы раздумываете?! - всплеснула руками Эмилия Львовна. - В вас много от теленка, Васнецов. Думаю, вы никогда не научитесь загребать жар руками.

- И слава богу, что не научится. Гребущих много, а вот отдающих?..

- А ведь и впрямь хорошая мысль! - обрадовался наконец Васнецов. - Меня и Поленов давно зовет, и Репин. И с Академией покончено...

- В Париже и продолжите образование. Художнику главное - видеть, а в Париже вы много можете взять для себя полезного и еще более - отринуть. Отсечь ненужное - тоже учеба.

Так вот вдруг поездка в Париж из почти пустой мечты стала реальностью.

Васнецов отправился в Париж в первых числах марта 1876 года, а год этот, как и прошлый, начался с неприятностей.

Верещагин прислал Стасову из Агры - он путешествовал по Индии - очень сердитое письмо: «Я стоял, стою и буду стоять на том, с чего не думал сходить, а именно на издании моих рисунков с текстом Гейнса. Никаких посторонних добавок к моим рисункам не допускаю, как, вероятно, не допустит и Гейнс добавлять и разрыхлять свой „Дневник“ даже людям, более его знакомым с краем. Его „путешествие“ столь же неполно, как и мои очерки. Но это, повторяю, не резон для добавок и вставок к его тексту другими».

Верещагин был человеком не простым, с художниками близко не сходил. Всегда в стороне от них и сам по себе. Даже за границей, когда русские люди очень тянутся друг к другу. Вот что писал о нем из Парижа Крамской: «Встретил Верещагина, потолковали, чайку попили, позавтракали и разошлись, довольные друг другом. Он пишет какие-то картины огромного, колоссального размера, для которых, как он говорит, нужны будут площади... Мастерской еще не выстроил и только что приступает к постройке, а пока работает в нанятой - где? никто не знает, словом, та же история. Надеюсь узнать его несколько более и из мифического лица превратить для себя в реальное. До сих пор я только убедился, что он во многих вещах просто избалованный ребенок, однако же не такой, чтоб не знать цену деньгам, и те выходки его, которые так Вас удивляли... основаны были на очень верном расчете».

Письма эти адресовались Павлу Михайловичу Третьякову, и вот что Третьяков отвечал Крамскому: «Верещагина как человека я очень мало знаю или, лучше, совсем не знаю. Когда я познакомился с ним в Мюнхене, он мне показался очень симпатичным, все же дальнейшие его ко мне отношения были вовсе не симпатичны, но я его всегда продолжал уважать как выдающийся талант и выдающуюся натуру».



Как бы там ни было, но к молодому собрату, исполнившему гравюры по его картинам и этюдам, знаменитый уже Верещагин отнесся и жестко и высокомерно. Главное, пропал труд и надежда на некоторый гонорар. Деньги Васнецову теперь были очень нужны: он набирался храбрости ехать в Париж.

Париж, фиеста, ярмарка! Для русского слуха слова эти разные, но ударяют они по струнам души вроде бы почти одинаково.

Париж! Это как подарок жизни, как некая не очень-то заслуженная награда.

И вот стоял Виктор Михайлович, вятский художник, не только миру, но и сам себе малознакомый, стоял неведомо как далеко от России, Петербурга, а уж от Вятки-то, от Рябова – без всякого сомнения в тридевятом царстве, стоял и глядел под ноги. Вроде бы земля как земля, но – Париж!

Более всего звал его сюда, торопил Вася Поленов, к нему и направил стопы, и главным образом еще потому, что адрес прост: Монмартр, улица Бланш, 72.

Кипение города, чужая речь, чужого вида дома не ошеломили, не напугали, и хоть тревожно было, где он, этот Монмартр, но не особенно – извозчики знают, главное, с ними не опростоволоситься, не позволить содрать лишнего.

Французский язык Васнецова повергал русских парижан в столбняк. Во-первых, скудостью словаря и полным пренебрежением к грамматике, а во-вторых, отвагой. Васнецов брался беседовать хоть о цене на спаржу, хоть о психологии души и тайнах искусств, и самое удивительное – его понимали.

Поленов, увидав на пороге улыбающегося Васнецова, кинулся обнимать, целовать, а Виктор Михайлович, поставив к степе саквояж, оглядывал мастерскую и смущенно посмеивался:

– Ну, вот он я. Назвал на свою голову.

- Молодец, что решился. Устал? - Поленов глядел па товарища, не нарадуясь.

- Отчего ж я устал? Меня везли, не на мне.

- Тогда пошли поедим в кафе, да в Лувр! Л?

- Да, конечно, пошли, - согласился Васнецов. - Чего ж расслаживаться?

По дороге признался:

- Мне как-то спокойнее стало, когда на четвертый этаж пришлось лезть. А то, думаю, живет как барин.

- И все-таки меня в аристократы записывают. Даже мадам Серова! - искренне удивлялся Поленов.

Очень дешево пообедали, на извозчике, чтобы поберечь ноги, доехали до Лувра.

- Здесь у них каша, - говорил Поленов о галерее. - Древний Восток, Египет, греки, Рим, Возрождение, голландцы, испанцы, все вперемешку... Я тебя обязательно свожу к одному банкиру. У пего есть несколько очень хороших работ Фортунни. Фортунни - па сегодня высшая точка. Совершенно одинокий пик. Разумеется, со временем все выравнится, но, думаю, не так скоро.

Из Лувра отправились к Боголюбову.

Так, еще не устроившись, не оглядевшись, не утвердившись даже на земле после вагонной качки, Васнецов ухнул с головой в искусство.

Народа у Боголюбова всегда было много. Собирались к нему позаниматься офортом, керамикой. Был тут американец, француз, но в основном свои, и разговоры были те же, что в Петербурге. Словно и не уезжал никуда.

Маринисту, профессору, члену Совета Академии художеств Алексею Петровичу Боголюбову шел пятьдесят второй год. Это был художник и в то же самое время добрый русский человек. Когда о человеке говорят именно так, это значит, что звезд с неба он не хватает, знает свой шесток, работает честно,

неутомимо, не обижаясь на коллег, на время, на человечество вообще. Завидки и обиды – удел для художников почти поголовный. Богатому и знаменитому тоже ведь чего-то недостает. Одному – истинного таланта, другому – пикантности и успеха у дам, третий, глядя из окошка дворца, завидует вольному оборвышу, живущему как птичка, у которой зоб хоть чаще пуст, чем полон, да которая поет так, как ей вздумается.

Алексей Петрович не мерился шапкой ни с Айвазовским, ни с учителями своими, с Воробьевым или Ахенбахом. О картинах его говорили, что они не прочувствованны, сухи, холодны, задавлены блеском техники. Зато был утешен любовью коронованных особ и сознанием того, что делает дело для отечества полезное и даже совершенно необходимое.

Воспитанник Морского кадетского корпуса, Боголюбов, служа на флоте, поступил в Академию вольноприходящим учеником. За картину «Наводнение в Кронштадтской гавани в 1824 году» уже в первый же сезон занятий был награжден высочайшим подарком, потом получил две золотые медали, заграничное пенсионерство. Европы ему показалось мало: два года отдал Италии, перебрался в Синоп, путешествовал по дунайским странам. Вернувшись в Россию, проехал Волгу, Каму, Каспий. По высочайшему заказу написал девять картин из истории русского флота при Петре. Учил живописи великого князя Алексея Александровича, а позднее принцессу Дагмару, ставшую русской императрицей Марией Федоровной. По Волге и Крыму сопровождал цесаревича Николая Александровича, по Голландии, Бельгии и Германии – великого князя Владимира Александровича. Картины писал между поездками: «Бомбардирование Петропавловска в Камчатке», «Абордажное дело со шведами в устьях Невы 6 мая 1720», «Поход Петра I на Дербент», «Высадка русских войск в Аграханском

заливе под предводительством Петра I», «Гренгамское морское сражение в Финском заливе» и прочая, прочая. Только для гидрографического департамента Алексеем Петровичем было написано 120 листов для атласа финляндских берегов.

И в Париже он был не гостем, здесь для русской посольской церкви написал огромную картину «Хождение Иисуса по водам».

- Прибыло в нашем полку! - радовался Боголюбов, встречая Васнецова в своем салоне-мастерской.

- Ну, как там у пас? Господи, по зиме и то соскучился! - обнимал друга Репин.

В тот день были отставной генерал Татищев и художники Харламов, Леман, Дмитриев-Оренбургский. Все что-то говорили, спрашивали.

- Господа! - воскликнул Поленов. - Грешен, человек с поезда, а я его - в Лувр. Дайте прийти в себя.

- Чайку! Чайку выпейте! - предложил хозяин. - Господа, почаевничаем по-русски, за чаем любой разговор веселей.

- Ах, Васнецов! - говорил Леман. - Уж очень долго вы собирались в наши края. Поленов и Репин уж лыжи домой наострили. Савицкий уехал, Беггров. Поглядели бы вы на наш Новогодний праздник!

- Такое раз в жизни удается! - улыбался, покачивая головой, Алексей Петрович. - Василий Дмитриевич, ты расскажи Васнецову о вашей живой картине.

- Все было как нельзя просто. Но! - Поленов поднял палец. - Люди-то все какие! Тургенев и граф Алексей Толстой читали стихи, Серова играла, очаровательные племянницы Ге пели, Репин плясал гопака. Потом дамы вырядились в русские, украинские, мордовские и кавказские костюмы, поднесли Алексею Петровичу хлеб-соль и спели «Слава на небе солнцу высокому, слава!». Был медведь с поводырем. Был алжирский танец, на тамбурине Серова играла, танцевал же наш

американский друг. Ну а живая картина называлась «Апофеоз искусства». Ровно в полночь зажгли драммондов свет,<sup>[5]</sup> под шопеновский полонез дали занавес, и длинное лицо Толстого вытянулось еще более – от восторга. Наверху был транспарант с вензелем Боголюбова и цифрами 1875. Под вензелем стоял гений с огромными белыми крыльями и лавровым венком. Его изображал юный Серов. Ниже полукругом четыре искусства: скульптура – Дмитриева, живопись – Ге, музыка – Серова, поэзия – старшая Ге. Все в белом тюле и газе, с венками, цветами, атрибутами. Внизу – великие представители. В середине Гомер – плешивый старик в тунике и гимматии, справа Рафаэль (мадам Репина), слева Микеланджело (это был я!) и далее Шекспир, Бетховен... Гримировали Репин, Савицкий...

– Тургенев, как дитя малое, веселился, – сказал Боголюбов. – Вот так мы и живем здесь, а как Петербург?

– Да ведь по-старому, – вздохнул Васнецов, и все засмеялись.

– Может, и неплохо, что по-старому, – сказал Боголюбов. – Вот скоро Салон очередной откроется, поглядите. У нас что ни год – новость. То все сходят с ума по герою Реньо, то упиваются Морелли, теперь очередь за беднягой Фонтани. Импрессионисты еще! Не слышали о таких? А вот Илья Ефимыч стал большим поклонником Эдуарда Мане.

– А что Мане? – возразил Репин. – Я тут с Крамским в спор вошел. Он пишет: все, мол, импрессионисты – глупая выдумка буржуазии, бесятся от жиру, а я убежден: язык красок может быть сколько угодно ярким. Русские студенты, кстати, любят Некрасова не только за его народность тематики, но и за особый язык, который ни на Пушкина не похож, ни на

Лермонтова. Поэта по языку прежде всего узнаешь, и художника должны узнавать по краскам.

Репин сидел рядом с Виктором Михайловичем, и когда разговор стал общим, спросил быстрым шепотком:

- Полощут меня петербургские писаки? Ты только не скрывай! До нас тоже все доходит. Стасова видел? Он был тут в августе. Ох, оракул на мою голову!

- Обойдется, - сказал Васнецов, принимая очередную чашку чая из рук самого Алексея Петровича.

- Да ведь сворой кинулись - в клочья норвят порвать!

- Не порвут, со статейкой проще, нежели с собаками.

- Да как же проще! На всю Россию славили, сюда уж докатилось.

- Господи! Да не читай ты все это.

- Золотые слова! - засмеялся Боголюбов. - Илья Ефимыч, Васнецов дело говорит - не читай.

- Ну, какое же это дело? - насупился Репин. - У меня дети, я глава семейства, а меня дурачком объявили.

- Вот и поклонитесь за то любезному вам Громовержцу. Он всю свою жизнь играет эту раз и навсегда избранную роль, - сказал Поленов.

- Не любите вы Владимира Васильевича, - сказал Репин. - На мозоли он вам, что ли, наступает?

Алексей Петрович улыбнулся.

- Илья Ефимович, а представьте себе человека, который на мозоль-то вам наступит. Ведь не обрадуетесь.

Речь шла о затянувшейся журнальной перепалке, затеянной Стасовым в журнале «Пчела». Не спрося разрешения, Стасов напечатал выдержки из заграничных к нему писем Репина. Например, такое: «... что Вам сказать о пресловутом Риме? Ведь он мне совсем не нравится: отживший, мертвый город, и даже

следы-то жизни остались только пошлые, поповские (не то что в Венеции Дворец Дожей). Там один „Моисей“ Микеланджело действует поразительно, остальное, и с Рафаэлем во главе, такое старое, детское, что смотреть не хочется. Какая гадость тут в галереях!»

Журнал «Развлечение» тотчас откликнулся на статью Стасова с письмами Репина карикатурой и стихами.

Пришлец из северного края,  
Художник Репин в Риме жил,  
И, там искусство изучая,  
Все галереи посетил.  
И к другу Стасову в посланье  
Прислал такое описание:  
«Мне не по вкусу этот Рим, —  
Я очень недоволен им!..»

. . . . .

И Стасов с ним согласен в этом.  
Он собственным авторитетом  
Его сужденье подтвердил,  
Изрекши так: «Сказать неложно,  
Как много сильного нам можно  
Ждать от художника с такой  
Талантливою головой!»  
Не правда ли, читатель мой,  
Что для судей таких, как Стасов,  
И репа лучше ананасов!

Гвалт поднялся в журналах страшный, Репину сочувствовали, но далеко не все... Вот как отнесся к происшествию Тургенев: «Кстати, о Репине. Вы, по Вашим словам, посмеивались, а он здесь ходил – да и до сих пор ходит – как огорошенный: до того ловко пришлась по его темени публикация его писем в

„Пчеле“! Просто взвыл человек! Впрочем, он и без этого здесь бы не ужился: пора, пора ему под Ваше крылышко».

Письмо адресовано Стасову, тут и сарказм, и злость. А ведь всего год назад Репин работал над портретом Ивана Сергеевича и чуть ли не под рукоплескания семейства Виардо, сама мадам воскликнула даже: «Браво, монсир!» К слову сказать, именно Полина Виардо сорвала куда более живописный замысел портрета. У Репина уж и глаза, и руки разгорелись, и Тургенев почувствовал удачу художника, но мадам портрет забраковала, и пришлось начать заново. Новый вариант, ныне он в Третьяковке, устроил всех, кроме заказчика – Павла Михайловича Третьякова, да еще исполнителя. Видно, здесь-то и обозначилась первая паутина невидимых глазу трещинок. А потом у пенсионеров Академии, и Репина, и у Поленова, началась тоска по родине, с тоскою явилось убеждение, что годы заграничной жизни – идут прахом, собственное искусство падает, в душе пустота.

Чистосердечный Поленов в порыве горьких чувств написал матери: «Несмотря на все мнимые и настоящие парижские удобства и жизни и живописи, все-таки это чистый вздор за границей работать; это именно самое лучшее средство, чтобы стать ничтожеством, какими становятся все художники, прогнившие здесь шесть лет. Поэтому при первой возможности я вернусь в Россию, чтобы там самостоятельно начать работать...» Разговоры о заграничнице как о погубительнице таланта велись и при Тургеневе, и он принимал эти камешки в свой огород. А Репин ненароком мог ведь и булыжником запустить, очень даже увесистым.

По дороге от Боголюбова разговаривали об одном, о возвращении в Россию: то Репин говорил, то Поленов, однако ж о госте не забывали, показывали



встречавшиеся на пути известные всему миру здания, кварталы, улицы.

Зашли в кафе, вернее, сели за столик на улице. Поленов что-то заказывал, Репин что-то спрашивал, мимо шли люди, легкие, нерусские. Многие улыбались. Васнецов старался понять, чему они все рады. Он смотрел, смотрел и понял: улыбка и люди отдельно друг от друга. Улыбку несли, как носят модную шляпку или даже кошелку.

- Виктор! Ты спишь? Совсем умаяли человека! - Репин, смеясь, пододвигал к нему полную тарелку вкусно, не по-русски пахнущей пищи.

Квартирку нашли уютную, опрятную.

Работать Поленов предложил в своей мастерской, но до работы ли было? С утра смотрели соборы и прежде всего Нотр-Дам.

О Сене Поленов сказал:

- Река совсем небольшая, а глядится величаво. Я долго ломал голову над секретом... Знаешь, в чем дело? В берегах. Они идут уступами, и подготавливают впечатление, и реке прибавляют.

- Сена - женского полу, а женский пол здесь, как я погляжу, из одних только красавиц.

- Верно! Умеют подать себя. Не покоряются слепорожденной природе. А главное - полное отсутствие российского «авось». У нас ведь иная красавица выйдет на люди от лени-то и заспанная, и встрепанная. Кикимора милей покажется.

На следующий день и опять с утра были проводы американца. Ездили в Булонский лес, пили и ели в шикарном ресторане, закатились к какому-то богачу в особняк, были танцы, изумительные, под стать гобеленам, женщины, потом опять улица, кабачок, совершенно сомнительный.

До постели добрался, когда уж солнце над деревьями поднялось. Проспали до вечера, вечером - к

Боголюбову, а у Боголюбова Сен-Санс, была музыка, сначала серьезная, но не прошло часа, и Репин уж плясал знаменитый свой гопак, а он, тихоня Васнецов, пел вятские песни... Может, впервые в жизни чувствовал в себе шальное, счастливое легкомыслие. Исчезла постоянная озабоченность заказами, ответственностью перед меньшими братьями, перед самим собой, этими вечными поисками совершенства, страхом согрешить, впитанным с молоком матери, страхом прожить не ту, не свою жизнь, продешевить вроде бы.

- Господи, да ведь молодые же мы! - сказал он, ложась под утро в постель, нисколько не угрызенный муками совести.

Проснулся - вспомнил: обещал у Репина быть.

Репин воробышком поскакивал перед картиной.

- Вот он, подарок судьбы! - прищурил глаз, стрельнул по лицу и фигуре гостя. - Держи, Виктор! Вот тебе купеческая шуба на лисьем меху. Шапка. Надевай и садись-ка, брат. Буду с тебя писать Садко. Лучшей модели, чем ты, мне и не спилось. Только уж, брат, позабудь, что ты Васнецов - будь новгородским богатым гостем. Я уж бросил было эту мою мучительницу. Красивенькая, как конфетная обертка... Но ведь скоро домой, отчитываться надо.

Васнецов позировал с покорной терпеливостью.

- Не скучай! - сказал ему Репин. - Вот тебе драгоценная «Пчела» господина Прахова. Развлекись чтением о самом себе, тебя он жалует.

- А тебя разве нет?

- Жалует, жалует. - Репин писал азартно, быстро. - Ты гляди журналы-то! Вон лицо-то как озарилось!

- Статейка любопытная. «Выставка учеников Императорской Академии художеств. Неделю сряду слышал я одну только брань. Не можем однако ж пропустить без внимания программу господина

Сурикова, исполненную на ту же тему, как у господина Шаховского... Недостаток выкупается качеством колорита и тем чувством живописности целого, которая так редко встречается даже у зрелых наших живописцев».

- Менаду прочим, Чистяков знаешь что Поленову о нем написал? Дескать, есть у нас тут некий Суриков - редкий экземпляр. В шапку даст со временем ближним. Ты, Вася, Репин да он - русская тройка... Вот как.

- Потому и Чистяков, что любит учеников!.. Видишь, в рифму получилось. А вот и ты собственной персоной. Портрет господина Репина. Похож.

- Ты дальше листай. Там о тебе и поболее нашего, и почаше.

Васнецов знал, конечно, об этом. В пятом номере был его рисунок и обязательное пояснение: «Рисунок с натуры г. Васнецова изображает вынуждение жребия в С.-Петербургской Думе по новому закону о всеобщей военной повинности. Художник имел в виду передать в этом рисунке не официальную обстановку присутствия, а типы и самый характер разнообразных групп из лиц разных сословий, собравшихся для выполнения новой системы отбывания воинской повинности».

В восьмом номере «Пчела» поместила другой рисунок, «Масленица. Катание на чухонцах», в четырнадцатом - репродукцию картины «Нищие певцы», в двадцать седьмом - «Лавку лубочных картин и книжек».

- Знаешь, - сказал Репин, - мы с Поленовым решили по возвращении на Русь в Москве обосноваться.

- А почему в Москве?

- В Петербурге больно много по-немецки и да по-французски говорят. Мы - художники русские, Москва - город русский, а русский художник должен жить в русском городе.

- Русских городов в России - вся Россия.

- Городов много, но Москва не просто город, Москва - сердце. Да и к Третьякову ближе.

Васнецов засмеялся.

- Вот с этого и начинать надо было.

- Да нет, Виктор! Мы здесь много о России думаем. Это у нас очень серьезно. Третьяков, конечно, великий человек, но в Москве не один он. Москва богата хорошими людьми. Слышал о Савве Мамонтове?

- Вроде бы не слышал.

- Савва Иванович - это, брат, гора чувств и гора дела. Ох, какие же есть русские люди! Диву даешься!

- Да чем же он так вас поддел, Мамонт?

- А он и впрямь Мамонт! Ты его увидишь - и сразу все поймешь. Мамонт. Я с ним в Италии познакомился. Воротила. Директор компании Ярославской железной дороги. Мордух по его заказу своего Христа изваял. Сильная вещь.

- Антокольский, что ли?

- Да, у нас там все были не по имени, а по прозвищу. Васю, знаешь, как кликали? - Дон Базилио. Мамонтов в Москве обещает нам художественную жизнь. А он человек большого размаха.

- О российском Возрождении, что ли, грезит?

- Пока думаю о жизни, полной смысла. Но аппетит, как тебе известно, приходит во время еды.

Поговорили о Мамонтове и забыли разговор. Но так вот и завязываются незримые узелки жизни. Сначала имя мелькнет, а потом, через годы, встречаешь человека, о котором когда-то кто-то где-то рассказывал, и начинается вдруг новый этап. В жизни, в политике, в науке, в искусстве. Это уж от людей зависит, от того, сколько в них вместилось прошлого, нынешнего и завтрашнего.

Все работали. Так, наголодавшись, набрасываются на еду. Боголюбов, кажется, и здесь был заводилой. Он писал сразу несколько картин: «Яхту „Держава“

охорашивал, она была закончена. „Английский лоу-бот в бурю“ – только-только начинал, в картине „Прорыв русского галерного флота через шведский“ – нужно было уравновесить и успокоить цветовую гамму, а для „Гангеудского боя“ Алексей Петрович искал композицию, набрасывая эскизы карандашом».

Поленов готовился к очередному штурму Салона.

В 1874 году у него приняли картину «Право господина», в 1875-м – этюд «Голова еврея», он посылал еще пейзаж «Старые ворота в Вёле», но его отвергли. Теперь же собирался выставить картину «Одалиска» и портрет друга семьи и, кстати, друга и наставника Мамонтова, инженера и железнодорожного российского магната Федора Васильевича Чижова.

Репин в Салоне 1875-го показал картину «Парижское кафе», лавров не удостоился, но и не огорчился – писал вроде бы не от себя, а передразнивал импрессионистов.

Для нового Салона картины готовой не было, а отметиться хотелось, вот и подмазывал самые броские свои этюды.

Все работали, торопились, сердились, и Васнецов, проснувшись однажды, понял – идти не к кому, помешаешь. И обрадовался! Наконец-то он будет с Парижем без посредников, тет-а-тет, как говорят французы.

Ноги привычно доставили его в Лувр. Он решил посмотреть две-три работы, не больше.

Сначала пришел к Венере Милосской.

Стыдно было признаться, но он всегда смотрел на обнаженное женское тело, подавляя нестерпимую неловкость. Он, когда был в Лувре с Поленовым, хоть и выстаивал перед Венерой, да не больно-то смотрел.

Теперь один на один он был смелее. Он пришел смотреть не на женщину – на искусство древних, непревзойденных. Он хотел знать, как это сделано,

почему именно эта статуя объявлена идеалом красоты? В чем он – идеал? И, посмотрев впервые прямо и честно на ту, что звалась Венера Мило, он понял, что все неправда. Перед ним не искусство вообще, а женщина, одна из их рода. И совсем даже не лучшая и не совершенная. А вот такая, какая есть. Шагнула к нему через две-то тысячи лет и чуть изогнула стан, чтоб было видно, какие женственные у нее бедра, какая нежная, еще не расцветшая грудь, потому что, даря всех любовью, сама-то любви не извела. Потому и лицо недоброе. Мадам не из простых. Подбородок тяжелый, лоб неровный, большой, в тених на лице что-то отталкивающее, вернее, недопускающее, – аристократка, рабовладелица.

– Мсье! – смотритель зала, улыбаясь, кивал ему одобрительно. – Я вижу, вы понимаете в искусстве. Вы художник.

– Да, – признался Васнецов.

– Вы русский?

– Да.

– Вы очень хорошо смотрите. Вы подумали, что она – живая.

– Пожалуй, – согласился Васнецов.

– А ведь она не богиня. Это все так... Она была настоящей женщиной. Она жила при дворе императора. Я не очень грамотный, не знаю, какого, но так говорят. Вы, может быть, подумали, что она раздевается? Нет-нет! – Сторож покачал головой. – Нет! Именно так дамы в ту пору одевались. Сложность драпировки – не каприз художника. Такие вот платья и носили при дворе. Видите, складки тяжелые. Это не шелк. Материи были льняные.

– Спасибо вам, спасибо! – сказал Васнецов по-русски и, кланяясь, пошел из зала, ему все-таки помешали.

Он посмотрел еще «Сельский концерт» Джорджоне, «Брак в Кане» Веронезе, «Вирсавию» Рембрандта.

Из Лувра направился в музей жизни, музей нынешнего дня, каким и было по сути своей знаменитейшее Чрево Парижа.

Он пошел туда не ради какого-то надуманного философского сравнения, а хотел купить перьевого лука, по зелени соскучился.

Дорогой думалось о Венере, вернее, о той придворной даме, которой приходилось выставлять прелести напоказ. А ведь тонкое дело и беспощадное! Уж коли чего бог недодал или, наоборот, чего переложил – скрыть было невозможно. И кто-то признавался в той игре победительницей. Но все ли из тех, кто получал первый номер, были счастливы? Что творилось в душе у той самой Венеры, у живой, когда мраморная копия наконец-то восторжествовала над увянувшей плотью? Как пережила это? И пережила ли? Или торжества никогда уже в ней не убывало? Ведь слава статуи, возрастая, соперниц не знала.

– Васнецов!

Перед ним стоял Савицкий.

– А мне говорили, что ты уехал.

– Уезжал... И, думаю, зря вернулся. Нечего нам тут делать, русакам. Пошли винца выпьем.

Сели за столик в первом же ресторанчике, заказали самого дешевого вина.

– Из Лувра? От этих музеев самое памятное – гуд в ногах. Слышал о моем несчастье?

– Слышал.

– Очень глупая штука жизнь. Очень глупая... И, главное, я-то ни в чем не виноват. Казню себя, до сих пор казню, а не виноват. Заревновала. С этим тоже рождаются, как с талантом. Заревновала и, наверное, чтоб сделать мне больно, села у жаровни и надышалась углекислотой. Вот после этого и рисуй картинки, о славе думай, о величии русского искусства... И самое поганое в том, что я ведь думаю и о картинках, и о

славе. Я-то ведь – живой! – выпил залпом свой бокал. – Ну, все. Как тут наши? Малюют?

– Кто к Салону готовится, а кто уже к академической выставке. Боголюбов тоже много работает.

– Боголюбов – золотой человек. Это ведь он привел к нам наследника. Ты не видел его? Мужик громадный! Ему бы в борцы, пятаки пальцами ломает, но молодец! Человек дела. Поглядел, как мы тут закисаем, и каждому – заказец. Репину – «Садко», Беггрову – серию императорских яхт. Дмитриеву-Оренбургскому – «Крещенское водосвятие». У меня купил «Туристы в Бурбуле», у Поленова в мастерской увидел начатую «Арест гугенотки», ее и заказал. Стоящий будет государь. По крайней мере, для нашего брата художника.

Поговорили, поглазели на парижанок, разошлись.

Хорошо встретить соотечественника среди моря чужих людей, но, оставшись один, Виктор Михайлович обрадовался. Снова они были лицом к лицу: он и Париж.

Даже в зачет всей будущей славы он не одаривал город своим присутствием. Этого в нем не было. И Париж благожелательно вел его из улицы в улицу, все время награждая множеством милых малостей, и строжал, когда на пути возникало чудо рукотворения. По сути своей, город был прост, город слишком много трудился, чтобы выламываться перед новым человеком, лезть в глаза или тем более заставлять краснеть за родные пенаты. Париж не отчуждал, не ставил на место, и за одно это Виктор Михайлович был ему благодарен.

Чрево Парижа благоухало всеми запахами всех пяти континентов. Здесь каждый, будь то араб или китаец, чувствовал себя по-свойски, но веселый ужас не покидал Виктора Михайловича.



Неужели все это можно сожрать за один только день?! Господи! Что же это за корова такая – че-ло-век?!

Он подивился на всяческую морскую всячину. Колченогое, змеинообразное и вообще невообразимое – все это шло в ту же самую пропасть. Репин собирался в Неаполь, к Антону Дорну, в его знаменитый аквариум – вот они дивы морские.

Перебрался в ряды зелени. Петрушка, укроп, морковочка. Начало мая, а уже все есть.

Понравилось лицо одного торговца. Спокойное, темное от загара, в морщинах, похожих на трещины на земле в зной.

– Издалека?

– Пожалуйте, мсье, лук! Со своих грядок! И вот чеснок. Совсем молоденький.

Виктор Михайлович купил и чеснока, и луку.

– Издалека?

Пришлось попотеть, выискивая по закуткам памяти слова, но поняли друг друга.

Огородник был из Медоны, из деревни. Хорошо ли во французской деревне? В любой деревне земного шара хорошо. Много лучше, чем в городе. В деревне человек – человек, а не придаток машины и всего этого, всей этой бестолковой беготни.

Огородник показался родным человеком, совсем вятский, разве что не окает.

– Я, пожалуй, снял бы у вас комнату, – сказал Васнецов, – если, конечно, это не слишком дорого.

– Это будет не дорого, – пообещал огородник. – Наша земля стоит того, чтобы ее рисовали. Земля не бывает некрасивой, как, впрочем, и женщина. Все дело в сердце. К кому-то оно лежит, а к кому-то нет. Все дело в сердце, мсье!

В Салон шли вместе, а смотрели порознь, чтоб не мешать друг другу. Смотришь чужое, думаешь о своем.

Васнецова потрясло количество. На выставке было меньше трети из того, что художники предлагали жюри, а ведь предлагали-то они самое лучшее из своего. Вот они, две тысячи счастливых! Но он проходит мимо, едва взглядывая на все эти труды-надежды. Недобрый смешок теребил ему горло, нервный, впрочем, смешок. Виктор! Виктор! В какую же ты кашу своею охотой сиганул! И на дне-то чугунок не хочется париться, хочется наверху попрыгать, на виду.

Постоял в сторонке, по привычке к толпе картин и к толпе зрителей. Вроде бы и видеть стал лучше. Вон кто-то туману напустил. Живописный туман. Забавно! К этой картине и подойдешь и постоишь перед нею. Джузеппе де Ниттис, «Понт Рояль».

А как пройти мимо мадам? Белое платье, черные перчатки, лицо вызывающее, платье, впрочем, тоже.

– Больдини, – прочитал Васнецов. – Ну, с этим все ясно.

И остановился.

Снег. Деревья похожи на черные человеческие скелеты. Ломовой понукает уставших лошадей. Лошади покрыты суконными попонами, но видно, что им холодно. Они дрожат. Холодом веет от всей картины. Еще одно лицо Парижа.

Подпись под картиной – Раффаэлли. Запомнить бы надо. Но имен множество. Одно перебивает другое, и когда вышел из Салона, не помнил никого.

Это был урок!

С вернисажа возвращался вместе с Репиным и Поленовым.

Зашли в ресторанчик на берегу Сены. Поленов заказал шампанское, возле его портрета зрители задерживались.

– Нет, – говорил он, – нам здесь нечему учиться! Кроме нескольких маленьких работ под Мейсонье, все несерьезно. Выставка огромная, а – пусто!

- Англия тоже не больно блещет, - сказал Репин. - Боутон у них ничего, Уокер, Мазон.

- В Италии Морелли... Ну их всех! - Поленов засмеялся, махнул рукой. - Давайте выпьем за нас! За русскую школу!

Шампанское ударило в голову. У Ренина заблестели глаза:

- Нас тут уж и со счетов списывают. Но рано! Рано! Мы вернемся и сотворим чудеса! Виктор, ты здесь долго не засиживайся! Здесь только для того и надо побывать, чтоб научиться самоуважению. В России-то мы на себя цену невысокую держим. Нам российской славы мало, вроде бы она у нас второго сорта, дремученькая. Ан нет! В искусствах - мы впереди. И вот что, братцы! Давайте-ка поклянемся друг другу! - Он вскочил, протянул им руки.

- В чем, чем? - спросил Васнецов, тоже поднимаясь.

- Чем? Искусством своим. А в чем? Да в том, что будем за наше стоять, за русское, за отечественное! Чтоб не стелиться в ножки заморским заезжим гастролерам.

- Да ведь это прямо Ганнибалова клятва! - воскликнул Поленов.

- А хоть и Ганнибалова! Клянемся! Взялись за руки.

- Клянемся!

Расплатились, подошли к Сене. Вечер был тихий, сладко пахнувший цветами, весной, рекой.

- Ах, на Волгу бы! Лугами-то как дохнет! - Репин даже глаза прижмурил.

Поленов чуть отстал, загляделся на воду. Репин спросил Васнецова:

- А что она такое, Ганнибалова клятва?

- Ганнибал в детстве поклялся ненавидеть Рим, его власть.

- Ничего! - обрадовался Репин. - Подходит. Чего их ненавидеть, дутых буржуа! Вон Дюран-то как ценится

русскими богачами. Хорошенькие он гастроли в Петербурге себе устроил. За большой женский портрет взял тридцать тысяч франков, за детский в рост – двадцать тысяч, а за грудной – восемь. За величину холста деньги дерет. Морда у пего восемь, а туловище с ногами – двенадцать! И платят! Да наперегонки. А нам красная цена – пятьсот рублей. Свои! По-свойски и рассчитываются.

Подошел Поленов.

– О чем так горячо?

– О чужих деньгах, – сказал Васнецов.

– Братцы! – Репин обнял их за плечи. – Ганнибалова клятва – это по-нашему! Держись, Европа! Мы еще погрохочем на твоих небесах!

– Скоро Крамской приезжает, – сказал Васнецов.

– Вот кто Салон разнесет! – засмеялся Поленов. – По косточкам.

Но сам же и разнес его в письме к матери.

«На днях открылся Салон и окончательно убедил меня в нелепости торчать тут и учиться. Французы, за исключением маленькой группы реалистов, то есть Мейсонье и двух-трех его учеников, которых я очень высоко ставлю и люблю, не что иное, как ряд рутинных, самодовольных, скажем прямо, – бездарностей! Поэтому как можно скорее из самодовольного, хотя приятного и даже милого Парижа...»

Крамской в письме к Третьякову разнес по косточкам не только Салон, но и пенсионеров Академии.

«Репин и Поленов, – писал он, – меня не обрадовали, да и сами они не радуются в Париже... Что касается Репина, то он не пропал, а захирел, завял как-то; ему необходимо воротиться, и тогда мы опять увидим прежнего Репина. Все, что он здесь сделал, носит печать какой-то усталости и замученности... Поленов же находился еще в потемках и недостаточно проснулся... Все сделанное им – почти слабо; в колорите

же он несколько успел. Савицкий не двинулся ни на волос и тоже уезжает, говорит, что Россия ему даст теперь то, что он ищет. Все ищут! Но мало обретают – общая участь. Харламов... впрочем, я завистлив и потому несправедлив, так вы и принимайте. Портрет Тургенева в Салоне мне не понравился, может быть, потому, что он в Салоне; мне показалось, что Репина портрет не так уж дурен... Маковский (Константин) дебютировал в Салоне своим „перенесением ковра“ („Возвращение священного ковра из Мекки в Каир“. – В. Б.) и... обиделся, что его не заметили. Мне кажется (а может быть, я и ошибаюсь), что никто здесь из русских не догадывается о настоящей причине, почему их не замечают... все говорят в один голос, что это потому, что слишком уж велика численность экспонирующих. – Это справедливо только отчасти... В Салоне обращает на себя внимание или что-либо дерзкое до неприличия с какой-нибудь стороны: со стороны ли сюжета, или живописи, или абсурда (это и заметят как таковое), или действительная правда, или даже попытка к ней. И как мал процент последнего – так это удивительно! Признаюсь, не ожидал... Во всем „Салоне“ в числе почти 2000 №№ наберется вещей действительно хороших и, пожалуй, оригинальных 15, много 20, остальное хорошее 200 №№ будет все избитое, известное и давно получившее право гражданства, словом, пережеванное, – это обыкновенный европейский уровень – масса. Остальное плохо, нахально, глупо или вычурно и крикливо... Говорят, что варвары и провинциалы все ругают, когда попадают в столицу; это правда вообще, но неправда относительно меня – так как я только в 1-й раз еще говорю и ругаюсь и то в письме к Вам, а здесь веду себя прилично и даже скромничаю, все нахожу прекрасным и всем восторгаюсь – словом, подличаю».

Русские художники всегда были строги в оценках, и прежде всего к своему искусству. Кстати, парижские рецензенты, умеющие и разносить, и восхвалять без меры, к добротной работе Поленова отнеслись вполне доброжелательно и серьезно. Вот несколько строк из парижского «Иллюстрированного мира» от 13 мая 1876 года. «Прекрасный мужской портрет г-на Поленова: кажется, что этот седобородый старик, сидящий с книгой в руках, дышит. Это сама жизнь, жизнь на склоне лет, тихая и задумчивая. Все подробности проработаны широко и точно».

Ну а какое впечатление произвела живописная Европа на Виктора Михайловича Васнецова? Ведь одно дело отзывы Поленова – экспонента Салона, и Крамского, судящего с высоты своего российского успеха и пишущего свои письма «для истории», и совсем другое дело – мнение молодого, без каких-либо заслуг художника.

7 мая Васнецов отчитался перед другом Максимовым о впечатлениях, вынесенных из Салона.

«Ну, братцы, я удивлен и поражен, – писал Виктор Михайлович. – И как вы думаете чем? А тем, что мы воображаем себе какую-то особенно высокую степень искусства в Париже и вообще за границей и оплевываем свое, а между тем мы сравнительно вовсе не так дурны... На 2000 с лишним всего картин 5, которые положительно нравятся; 10-15 тоже нравятся, а остальные почти все такая условщина, рутинка, скука, что право совестно за свои прежние увлечения».

Характерные для русского человека строки! С детства приученные смотреть на Европу как на поставщика чудес, всяческих новинок и совершенств, почитая «их» куда умнее, тоньше, выше, русские люди, приезжая в заграничные, прежде всего испытывали радостное облегчение. Господи, такие же люди кругом, и дураков тоже много. А через какое-то время

приходило понимание: вежливый от полного равнодушия к мимо проходящему человеку, живут, думая только о себе, о своей прибыли, о своем удобстве, о сбыте... Оттого, может, и улыбаются чаще, что с улыбкой сбыть самого себя, приятственного, легче.

Васнецов очень быстро и точно углядел корни «ненашенского» искусства.

«Правда, общий уровень техники всей общей массы картин лучше, чем у нас, – докладывал он своим российским товарищам по искусству, – т. е. рисунок и вообще техника выработаннее, но ведь это и немудрено. Тут каждому сколько-нибудь порядочному художнику является масса подражателей. Ну, подражать, во-первых, легче, а потом подражают, подражают, да и доработаются кой до чего для глаза приличного.

Фортуны – нынче их чуть не 10, Невиль явил(ся), опять 15 Невилей рождается. Коро? Сто Коро новых и т. далее. А у нас ведь всякий старается из всех сил именно не походить на другого».

Расхвалив картины Детайля, Хельмонского, Мункачи, раскритиковал модного Бонна, о русских же – Харламове, Репине, Поленове, Дмитриеве – пришлось сказать: «все так незначительно». С приговором, однако, Виктор Михайлович не спешит: «Вот вам в общих чертах первые впечатления о выставке. Я был даже лучшего мнения о французах, т. к. видел в магазинах очень хорошие картины... Но в конце концов нам все-таки много нужно работать, чтобы сравняться с ними в технике, особенно в рисунке...»

Три очень разных художника: Поленов, Крамской, Васнецов, особенно разных для того времени, а оценки Салона очень близкие и один и тот же вывод – нужно работать.

Самое большое впечатление на Васнецова произвела картина Детайля из ближайшей истории,

собственно, из современности, война Франции и Пруссии. Чужая война, чужие убитые, а трагедия воспринимается как своя.

О своем надо говорить, о национальном, о самом главном – и это будет близко всем.

Картины картинами, а еще была жизнь, повседневность, требующая франков и франков.

Уже в первом письме Максиму Виктору Михайловичу приходится говорить о денежных делах.

«Ну и мою картину что ты не отдал за 300 рублей? – пока еще мягко укоряет он своего друга. – Ах ты Филька этакий. Да ведь в нынешнее время покупателя калачом не заманишь. Ну и благо 300... Это ведь около 1000 франков... Для меня теперь всякий рубль дорог. Ты ведь знаешь мои-то миллионы! За квартиру – комнаты (2) плачу 35 фр. в месяц. Завтрак и обед прилично стоит 3 фр. – а в месяц-то...»

И замечательная приписка. Как бы самому туго ни приходилось, думает и помнит о существующем без всяких средств брате. «Из денег, если получите, Горшков пускай 50 р. пошлет Аполлинарию».

Парижский адрес в ту пору у Васнецова был следующий: «Rue Frochot № 9». Однако очень скоро после отъезда на родину Поленова и Репина Виктор Михайлович переселился в Медону.

Сначала это было удивительным открытием: Париж и Петербург – две далекие друг от друга планеты, а вот Медона и Рябово, хоть и не одно и то же, но очень уж знакомое, близкое. Землю под грядки копать приходится что в Рябове, что в Медоне.

Дом был каменный, вечный. На дворе пахло молоком, лошадьми, скошенной травой. Траву Васнецов ходил косить вместе с хозяином, а потом сидели в тени у родника, пили красное вино и закусывали свежим хлебом с хрустящей корочкой.



На этюды уходил вместе со стадом, и это тоже очень нравилось крестьянину.

Рисовать землю и крестьян было так хорошо, так спокойно. И вдруг словно дьявол под локоть толкал: писать крестьян да пашню можно и дома. В чем смысл заграничной поездки? В учебе? Но где она, учеба? Где учителя?

Поленов, уезжая, выручил деньгами, совсем небольшими, но на сколько-то хватит.

Крамской обещал взять к себе на квартиру, куда, правда, и сам не устроился, работает в мастерской Боголюбова, тот на лето перебрался в Трепор. Авось! Авось!

Да разве русский человек долго думает о том, как прожить: не о том его печали. Ему подавай дело, чтоб за правду стоять, за мир страдать. А тут ни гугенотки своей, ни Садко.

Покорно открывал папку с рисунками, перекладывал листы, ища в них большого сюжета.

Попался набросок трех богатырей. Написал в мастерской Поленова. Говорили о репинском подводном царстве, тут Вася и показал письмо Чистякова. Мудрец учитель и за тридевять земель слал советы.

«Скажите ему, – просил передать, – что в его картине не цвет воды задает тон, а веяние впечатления от былины задать должно тон воде и всему; вода тут ни при чем. Цвет и густота воды бывают разные, а былина такая – одна». Слова Чистякова о былине напомнили об одной старой мыслишке, он ее карандашиком, а может быть, и углем зарисовал сразу по возвращении из Рябова: лохматые могучие кони, могучая тройца богатырей.

Так и встало перед глазами: взгорья, простор, богатыри. Дивный сон детства.

Нарисовал в одиночасье, поднес Васе в подарок, а тот поглядел и сказал строго, по-чистяковски, это в нем

было, чистяковское – за все искусство ответ держать и о каждом рисунке заботиться.

– Эскиз возьму, но не прежде, чем картину напишешь. Да не картинку, смотри. Картину! Только тебе одному и под силу такое!

Без насмешки сказал, Вася не умел сознательно обижать людей, не понимал этого. Вот и мучился теперь Васнецов над словами друга. Выходило, что Поленов в нем видел такое, чего он в себе пока что не знал.

Однажды вечером в Медону забрели бродячие акробаты.

– Мсье, вы идете на представление? – спросила его дочь огородника, глядя вроде бы в сторону, но он понимал цену этому наигранному равнодушию: шляпка-го на головке парижская.

– Да, – сказал он, – я пойду, погляжу.

Ему было неловко. Он вроде бы обманывал эту очень хорошенькую девушку. Она вилась вокруг него чуть не с первого дня, ненавязчиво, но не хуже виноградной лозы. И ведь это, наверное, была превеликая глупость упираться столь нежной осадой. В России бы пеньком прозвали! Но что же было делать-то? Что же ему было делать, когда в России его преданно ждала Александра Владимировна, милая, милая Саша.

Он сразу понял: это будет его картиной. Это будет его Францией. Черная ночь, яркий друммондов огонь. Выхваченные у тьмы, украденные у тьмы, у неизвестности, а значит, шагнувшие в известность, в вечную, ну, по крайней мере, в долгую жизнь фигуры циркачей и зрителей. Зрителей будет немного, даже мало, но циркачи, борясь с бесславьем, со своей долей бродячих артистов, с работой за гроши, может, ради одного только звания своего – артиста – будут фиглярничать, смешить и, рискуя головой, прыгать через голову, переламываться надвое. Вот он – Образ искусства. Не так ли разве сами художники, в том же

Салоне? Разве что не скажут! Но ведь точно так же выходят под беспощадный искусственный свет и ждут признания.

Чуть касаясь его, не дыша, стояла у плеча его красавица француженка, что-то смешное выкрикивал рыжий, а он набрасывал в тетрадочке свой замысел, будущую свою картину, которую, конечно же, примут весной следующего года в Салоне и, конечно же, все заметят ее и заговорят о ней и о нем.

Крамской одобрял, и сам он тоже, а душа сопротивлялась. Он не уговаривал ее, он ее переламывал. И она вроде бы терпела. Ведь и впрямь это же было умно, сложно и если не ново по теме, так исключительно по задаче: ночь, игра теней, слепящий свет.

- Отлично, отлично! - говорил Крамской, оторвавшись на мгновение от своего вселенской значимости полотна.

Он приступал к своему «Хохоту». Осмеяние толпой Истины, осмеяние человека, идущего на Голгофу ради спасения тех, кто над ним смеется. Осмеяние божества. Картина называлась «Радуйся, царю иудейский». «Хохот» для краткости. Холст был взят огромный, 375X501.

Мастерскую Крамской искал долго, великой картине и место должно соответствовать.

«Найденная мною мастерская - единственная, которая отвечает всем условиям, нужным для меня... - писал он Третьякову. - Мастерскую мне нужно было непременно внизу, на земле, чтобы при мастерской было что-нибудь вроде сада или дворика и чтобы я был изолирован и хозяин полный двора и сада».

Русским художникам не очень-то везло с вечными темами. Иванову его картина стоила жизни, причем в Палестинах он так и не побывал. Чистяков не нашел в себе силы ни закончить заклую «Мессалину», ни

отказаться от нее. Та же участь постигла Крамского. Ни поездка в Италию – в Палестину и он не попал, – ни работа в Париже, где воздух дышит искусством, ни особые мастерские под Петербургом, он ради детища своего хоромы отгрохал – не сберегли от неудачи. Ларчик открывался много проще. Картины, хотя они и пишутся из потребности духа и ради духовного просветления, это прежде всего – дело и работа. Воспарив мыслью, пообещав – и прежде всего самому себе – шедевр, художник превращается в марионетку замысла. Великие замыслы чаще всего разбиваются не об обстоятельства жизни, а о полотно, как Икар о землю. Рука не умеет того, что велит мечта.

Картина «Хохот», пусть и недописанная, существует. Лестница, площадь, толпа, на возвышении Иисус Христос. Руки у него впереди, связаны в кистях. Лицо спокойное, строгое. Толпа вроде бы и хохочет, но непонятно, почему фигуры не смеются, изображают смех. Крамской не понимал своего таланта. Он был лирик: «Незнакомка», «Майская ночь», «Христос в пустыне», «Неутешное горе». Ему было достаточно одного лица, чтобы рассказать о чаяньях эпохи, а он взялся писать толпу. И ведь все – Академия. «Радуйся, царю иудейский» – тема, заданная не Бруни и Исеевым, а самим собою. Писание в надежде если не на золотую медаль, так на лавровый венок от покоренного человечества.

Академия жестоко посмеялась над бунтовщиком.

Но в том 1876 году в мастерской на Рю де Войрард путь в никуда еще только начинался. И уже сам размер полотна приводил в восторг и мастера и зрителей, какими были тут Васнецов и Ковалевский, перебравшийся из Рима в Париж.

Павел Осипович рисовал все больше лошадей. В Италии он написал картину «Раскопки в окрестностях Рима», за которую был удостоен звания академика.

С ним-то и проводил Виктор Михайлович все свободное время.

- Здесь и дожди какие-то европейские! - сказал Виктор Михайлович Павлу Осиповичу, забираясь в уголок маленького кафе.

- А какие они, европейские дожди?

- Извиняется и льет, льет и извиняется.

- Ну и выдумщик ты!

А у Виктора Михайловича глаза остановились и на лоб пошли.

- Ты что?!

- Фу-у! Показалось.

- Да что показалось-то?

- Думал, Крамской.

- С каких это пор ты стал пугаться Ивана Николаевича?

- Да ведь с первой встречи, Паша! Это ведь мы с тобой день прожили, и ладно. А Иван Николаевич - не так. Иван Николаевич существует для вселенной. И не спорь! Не меньше! Я не шучу. Вот ты, когда кашу ешь, о чем думаешь? - О каше. А Иван Николаевич в каше видит Первородный хаос. Он думает ежесекундно, и никогда о малом.

- Так твои-то страхи в чем?

- А в том и страхи. Погляжу на Ивана Николаевича и трепещу. Господи, какой же мелкий я человечико! Когда кашу ем, о каше и думаю. Хороша, мол, каша!

Ковалевский засмеялся.

- Не завидуй, Витя, старикам. У нас с тобой вечность, а им потей да потей. Сегодня грандиозного не сотворишь, завтра уже поздно.

Васнецов почесал в затылке.

- Неужто и мы с тобой когда-нибудь порастянем холсты, как бабы на просушку, и взгляшки перед ними - туда-сюда, туда-сюда.

Он запрыгал, держа на лице неуловимо пресерьезнейшую мину а-ля Крамской.

Кофе был дороже вина, потому вино и заказали.

- Нам тепло и уютно, а Василий Дмитриевич теперь из пушек палит, - сказал Ковалевский. - Как ты думаешь, чего ради он полез в эту бойню? Нашим ведь там достается. Кому и что он хочет доказать?

- Его угнетала литературность замыслов. Он ведь очень многое начал и все бросил. «Заговор гёзов», «Пир у блудного сына», «Лекция Лассалея», «Дух познания». А вообще-то Вася добрый и честный человек. Сколько мы тут умничали про славянский вопрос, а он надел шинель - и ать-два, ать-два. Лучше не скажешь.

- Я, грешным делом, боюсь патриотов. Не был бы Черняев столь большим патриотом, смотришь, и не побили бы нас так беспощадно.

- Начало этому поражению положил Игнатьев, когда проиграл свою партию Генри Эллиоту. Абдул-Азиза надо было беречь и лелеять. Гадко то, что за все эти игры расплачиваются мужики да бабы. Не червонцами - жизнями. Мужик всюду мужик, что в Черногории, что во Франции, что у нас. Французский мужик много ближе русскому мужику, нежели своему маркизу.

Васнецов говорил это, взглядывая на соседний столик, где расположилось четверо серьезных тихих людей. Им была удивительна чужая речь, и сами они помалкивали.

- Добрый день, судари! - обратился к ним Виктор Михайлович, очень удивив своего друга. - Мы тут спорим с товарищем, вот я и хочу вас спросить, вы про войну турок с сербами слышали?

- Слышали, - ответил старший.

- На чьей же вы стороне, ведь Европу славянами нынче, как чумой, пугают. Очень уж ли это страшно?

- А вы-то из славян? - поинтересовался старший. Васнецов провел рукою себе по лицу, засмеялся.

- Русские!

- У нас в деревне если случается драка, то от нее всем нехорошо, - сказал старший, - и тому, кто дрался, и тем, кто просто живет в деревне. Нехорошее дело.

- Верно! - хлопнул рукой по коленке Виктор Михайлович. - Война и подавно нехорошая. Война подлость. Приходят в твой дом люди и режут тебя, ты для них хлеб растишь, а они тебя - режут.

- Да, - сказал старший, - война подлость.

- Потому русские и вступились за сербов! - объяснил ему Васнецов. - А коли турки допекут, то и всем народом встанем. И не потому, что это сербы, а это - турки, а потому, что турки с ножом да с кнутом. Ты в поле работаешь, а за тобой надзирает турок с кнутом. Рабство?

- Рабство, - согласился крестьянин.

- Но никто в Европе не чешется, Европе дела нет ни до сербов, ни до болгар. Но у нас есть дело. И я тебе скажу, Европе не славян надо бояться, а самой себя... Дальше носа видеть не хочет.

Теперь было понятно, что старший - это отец, а другие трое - его сыновья.

- Да, - сказал крестьянин, - ты говоришь правду. В мире много нехорошего. Они, - он указал на сыновей, - ушли из деревни в Париж. Я приехал к ним, а им негде меня принять, ютятся по углам. Я сегодня приехал и сегодня уезжаю.

Он встал из-за стола, пожал руку Васнецову и Ковалевскому, его сыновья тоже пожали им руки и пошли вслед за отцом, тихие, виноватые.

- История для Раффаэлли, - сказал Васнецов.

- Кто это?

- Художник. Рабочих пишет.

- Я такого не приметил.

- Нашего брата в Париже - пруд пруди. Может, и я многих проглядел. Одно знаю наверняка. Ох, Паша,

нельзя так писать, как мы дома насобачились! Я сюда ехал с некоторым понятием о себе, а возвращаюсь – нуль нулем.

– Домой собрался?

– Картину вот свою парижскую кончу! – И, сделав страшные глаза, полез под стол.

– Крамской? – спросил Ковалевский, заглядывая под стол.

– Крамской! – хохотал Васнецов. – Полдня просидели – и совесть нас ну никак не замучила.

Они посмеивались над своим учителем и своим другом, не зная, что судьба готовит ему удар, хуже которого не бывает.

10 ноября Крамской писал Третьякову в Рим: «Никогда еще у меня не было до сих пор в моей жизни того, что я испытываю теперь, – вот уже несколько недель, как мне нравится мысль умереть. В самом деле, не лучше ли это состояние для человека? покой, но уже абсолютный, вечный, и только шум природы над могилою, как превосходная музыка, свидетельствует, что жизнь не прекращается, но какая жизнь? и что мы видим на свете? Особенно в толпе животных, названных по ошибке человеками? Мой дорогой мальчик, быть может лучший по сердцу, – умер; и как мне ни страшно от этого, но я считал бы себя счастливее, если бы и я умер ребенком».

Васнецов был рядом.

Он говорил, когда Крамской заговаривал, умолкал, когда Крамской молчал.

Иван Николаевич был сильный человек. Он продолжал работать. Он даже о славе пекся.

Попросил прислать свои картины Третьякова, две для Салона, две для выставки Общества Художников «Мерлитон», и еще монохромные портреты Васильева и Антокольского для выставки акварелей и рисунков. Последнее письмо, напоминающее об этой просьбе, он



послал Третьякову 10 декабря, а 25-го сообщил о том, что возвращается в Россию.

Васнецов и в Париже резал доски, исполняя заказ Водовозовой. С отъездом Репина и Поленова кончилась для него жизнь светская. Это Поленов был вхож к Виардо и считал возможным спорить с Тургеневым. Чтоб без Поленова да Репина к Тургеневу собственной персоной – не-ет!

Чем он мог быть интересен классику?

К нему и Крамской-то относился хоть тепло, да не без иронии.

В письме к Поленову Крамской писал о Викторе Михайловиче: «Со мной теперь дядя Васнецов, который начал здесь одну интересную картину, полагаю, что, если он сработает ее, будет картина добрая...»

В этом «дядя Васнецов» – не только шутка и определение характера, простецкого, размахистого... Поленова Иван Николаевич дядей бы не назвал, и Репина тоже. Поленов – аристократ, Репин – автор «Бурлаков». Васнецов же был один из многих талантливых, милый человек, бедняк, Париж на деревню променял, окает – дядя!

Но именно к Ивану Николаевичу обратился Васнецов с криком о помощи, когда жизнь в Париже стала невыносимой: «Спасите от лишнего пребывания».

Все парижское житье Васнецова – сплошное безденежье.

«Я опять к тебе обращаюсь, хотя, может быть, это и причиняет тебе беспокойство, – писал он Максиму. – Я теперь без денег совсем, а между тем из полемики Стасова с Якоби я вижу, что покупатель отказался. Ужели это правда? Напиши поскорее, ради бога. Если Третьяков не отказался, то будь добр, напиши ему скорее и попроси от моего имени как можно скорее выслать деньги... Если ты знаешь, что значит быть без денег, то в Париже это еще любопытнее».

Русский человек Васнецов, едва поселившись в блистательнейшей европейской столице, уже страдал от одиночества и тоски по родине. Другьям он успел сообщить, что останется в Париже до октября, но не 77-го, а 76-го года, и другья, ожидая его возвращения, перестали писать. Пребывание, однако, затягивалось, держала начатая в Медоне картина. Впрочем, и медонские настроения Васнецова далеко не пасторальные.

«Живу я теперь не в самом Париже, – сообщал он Максиму, – а недалеко от него в Медоне. Живу себе ни шатко ни валко, ни на сторону, ни скучно, ни весело.

Больше работаю, что иногда спасает от неожиданных ураганов грусти и скуки самой тяжелой, самой окаянной! Среди чужой жизни вдруг иногда почувствуешь, что кругом тебя просто одно пустое пространство с фигурами без людей, с лицами без души, с речью без смысла!..

Один, один, один! Ну тут-то вот канцелярская аккуратность хождения на этюды немного и помогает».

Настроение нисколько не улучшилось и после переезда в Париж к Крамскому. Ох, стеснялся, видимо, Виктор Михайлович вынужденного своего нахлебничества. Человек-то был гордый и, как всякий вятч, с кремнем в сердце. Этот племенной их кремешок не мнется, не гнется, а если жизнь бьет, то искрит и крошится. Трудноватые люди вятские, но надежнее их, может, и нет на всей Руси.

Как раз именно во время житья у Крамского Максимов добыл для Виктора Михайловича какие-то деньги.

«Милый Василий Максимович, – тотчас откликнулся Васнецов, – видно, пословица наша правду говорит: „Старый друг лучше новых двух“. Кто бы стал так за меня хлопотать, как ты? Кто бы не пожалел последний грош отдать приятелю – опять ты!.. Было время, когда я

считал тебя большим эгоистом, чем ты оказываешься. Даже меня дернуло начать картину, и бросить не могу, потому что дело в половине и продолжать тоже не вмоготу. Ты и подумай теперь, насколько состояние много помогает моей работе!..

У меня теперь картина в вечернем освещении, и я по совету Ив. Николаевича (за что я ему вечно останусь благодарен) сделал все фигуры из глины и получилась просто живая сцена...»

Удивительное васнецовское письмо: что думает, то и пишет. Казалось бы, в такой-то радости, когда человек много для тебя старался и помог, об эгоизме можно и помолчать. Но как он, Васнецов, промолчит, если это сидело гвоздем в его сердце! Нет, в радости-то и недосказать всю правду. Огромное дружелюбие, вспыхнувшее в сердце, очищает и самого и должно очистить другого. Зачем же оставлять в сердце чуланчик залежалых обид – наружу их и вон!

И о картине всё сказано. Сам от себя в восторге – необычайно закручено. Вечернее освещение ставит задачи головоломные. Стало быть, есть порох в пороховницах, коли за такое взялся! Сам Крамской увлечен замыслом молодого товарища, и однако ж картина эта – крест. Через не могу пишется, даже после высочайшего милостивого слова.

Наследник Александр Александрович, посетив в очередной раз Париж, побывал в мастерских художников, отбирая картины для задуманной галереи в русском духе а-ля Третьяков.

Имя Васнецова в живописи было совсем новехонькое, но Александр Александрович пожелал «Акробатов» иметь в своем собрании.

Верещагин, видевший первый вариант, известный теперь как «Праздник в окрестностях Парижа», где перед небольшой толпой освещенная желтым светом полуобнаженная акробатка, сделал по картине, видимо,

настолько серьезные замечания, что Виктор Михайлович написал совершенно иную композицию.

Впрочем, для раннего Васнецова это правило: писать два равнозначных почти варианта одной и той же картины.

Неуверенность? Но Васнецов был всегда в своем деле человек решительный. Неудовлетворенность? А может быть, это отзвук того фантастического желания – найти и остановить прекрасное мгновение? Но какое из них, из бесконечной череды мгновений, самое «лучшее»? Бывает ли оно, «лучшее» мгновение? Не искажает ли ум, придуманность первое озарение, первый образ, первое движение к замыслу? Не есть ли этот первый – лучший?

Васнецов в те поры еще очень полагался на заветы Чистякова и Академии. Он искал совершенства, и второй вариант у него всегда основательнее. Однако основательность – враг неопределенности.

Думается, можно предложить не одну версию, почему художник, не удовлетворившись первым решением, переписывает картину заново, иногда поверх прежнего замысла.

Первый вариант «Акробатов» откровенно «французский», импрессионистский. Жанрист Васнецов не остался бесстрастен к новым художественным веяниям, да ведь и о Салоне, надо полагать, помнил.

А вот когда увидел воочию, что и по-французски можем, тогда и написал более нашенское, вполне приличное для галереи цесаревича.

Так или иначе, но картина «Акробаты» была для Васнецова – не его картиной. От дедушки-жанра ушел и попал в обольстительные, по жестокие лапки лисы. Господи, успеха хотелось! Славы европейской! Наконец, хоть каких-то денег, чтоб не вымаливать у друзей каждый грош на жите-бытье.

Всеми, однако, свое время: славе, домашней и мировой, деньгам и тому творчеству, которое и есть ты сам.

В молодости жизнь наша вроде бы вся устремлена в завтра, вся – мечты и надежды – это девяносто девять процентов прошлого и только один будущего. Как ни парадоксально, такое состояние творческая личность испытывает в начале пути. Раскопки идут в самом себе, раскопки лихорадочные. За золото в спешке принимается то, что блестит. И вот уже понарыто на огромном холме там и сям – и ничего-то не обнаружено.

Впоследствии переломное время кажется наивным и смешным, но только тому, кто выстоял. Творческая растерянность, как и всякая растерянность, непродолжительна. Одни, правда, выходя из нее, потеряют все, а другие все приобретут.

И вот что еще удивительно! Прежде чем лопата разобьет пифос, из которого прольются сокровища, обязательно явится фата-моргана, чтобы отвести глаза напоследок. Хоть на миг единый, но отвести и нахохотаться над старателем. А потом будет он, золотой удар, столь радостный для искусства, для творцов биографии, для ценителей и ниспровергателей, для всего огромного балагана, кормящегося телом и кровью творца. И творец тоже будет счастлив своей удаче. Он и не приметит ржавых Прометеевых цепей, которые тотчас обовьют ему и ноги, и руки, и само сердце. И будет он долбить свою гору, подгоняемый радостными воплями одобрения.

Ничего тут трагического нет. Это так обычно, потому что это путь всех творцов. Тем более что сами они не чувствуют и не видят ни цепей, ни скалы.

Они и живут иначе. И те, кто покупает замки, и те, что прячутся в рыбацкой хижине и едят одуванчики. Дело в том, что с того самого удара, пробившего глиняный купол пифоса, жизнь художника

представляет собою гремучую смесь, состоящую из девяноста девяти процентов будущего и где вся-то борьба – изгнание из себя последнего раба-увещателя.

Для Васнецова фата-морганой были его парижские «Акробаты». Он, как ни рвался домой, но до очередного Салона, однако ж, дотянул, предложил ему ихнее – «Акробатов» и свое – «Чаепитие».

«Акробаты» – заграничное искушение русака Васнецова, самая претенциозная его картина. Здесь вся художественная ставка – на изощренность замысла и на эффекты света.

Фортуны из Васнецова не получилось. И не потому, что не хотел блистать, а не сумел, мастерства не достало.

Сказали бы ему в те поры, что не за свое дело взялся – вышла бы обида. И ему не говорили в глаза, даже похваливали. Тот же Крамской. Помните его письмо к Поленову? Тут картина названа доброй, в смысле добротной, но вот что писал Иван Николаевич Репину всего год спустя: «Его „Акробаты“, парижская картина, очень неудачна».

После отъезда из Парижа Крамского безденежье стало бедственным. От простуды и недоедания пошли чирьи, нарыв на щеке возобновлялся четыре раза.

«Я вижу теперь, что я сделал ошибку, отказавшись от работы Верещагина...

Денег нет, Гоппе не отвечает на письма и может не отвечать до зимы, других работ не предвидится же нигде решительно, у Водовозовой забрано вперед, долги... Словом, все 18 причин».

Работу для верещагинского альбома предложил Стасов, и, помня верещагинские капризы, Виктор Михайлович отказался резать проклятые доски. Но, видно, денежные дела пошли так худо, что о гордости пришлось забыть как можно скорее.

«Все это я пишу Вам на тот конец, – продолжает свое письмо Васнецов, – что если Вы еще не передали Верещагину мой решительный отказ, то дело поправимо, и я берусь за работу с условием ехать в Москву зимой или осенью». Подпись тоже хоть и с юморком, но жалко-жалобная: «Ваш пренахально Вас обирающий В. Васнецов».

Живет Виктор Михайлович уже не в двух комнатах, а на улице де Лилле в № 28 отеля де ла Паис. Отсюда он и сообщал Крамскому 23 марта 1877 года: «Ну-с, картину я кончил и послал в Салон вместе с „Чаепитием“ – одни страдания кончились – картина родилась; теперь начинаются другие страдания – ожидание или refuse! или fiasco! А впрочем, все это не стоит никаких волнений».

Но волновался, по письму видно, как волновался.

Он окидывал свой бедный номеришко плутовски-шалым взглядом, нежно гладил окаянную доску, на которой только что закончил очередной шедевр для второго тома Водовозовой.

Это была группа шотландцев. Двоих Васнецов усадил за крошечный столик, любимая композиция фотографов той поры. Группу из двух женщин и мужчины поставил рядом, справа. В центре поместил очередного своего ребенка Аполлинария, в шотландском колпаке и платье, но босого. Фон никакой. Времени не было. Фигуры застывшие, но лица все выразительные и особенно руки. У сидящих руки барские, у стоящих тяжелые, работающие – это крестьяне, а у молодой женщины, тоже стоящей, пока еще не рука, а ручка.

– Доски, говоришь? – улыбался в усы Виктор Михайлович. – И доски резали. Кормилицы!

Он любовно вырезал подпись «В. Васнецов», подул на доску, погладил, отставил.

Радость не унималась: в Питере он побежал бы к Праховым за музыкой. Куда в Париже пойдешь? В кафе, на чужие люди? Решил вдруг, что надо преодолеть искушение, высидеть свое счастье, как курица высиживает яйцо.

Принялся молиться, но устыдился себя самого: бог дал ему талант, бог дал ему – быть художником, чего же попрошайничать? Успех-то, а парижский в особенности, он ведь, может быть, от лукавого!

И, поглядевши в окошко, сел, смирясь, за новую доску, переводя на нее рисунок Рашевского, где зрители в котелках глазели на обнаженных до пояса, но в брюках и ботинках, по форме того времени, боксеров.

«Хорошо бы явиться на открытие Салона не первым», – думал он, радуясь тому, что сон нейдет.

Заснул под утро, но спал по-куриному, вздрагивая и пробуждаясь. На ногах был вместе с ранним солнышком. Не в силах более удерживать и мучить себя, пешком отправился на свои «победу иль позор».

Ни того, ни другого!

«Представьте себе, у моих картин толпы нет и в обморок никто не падает, – написал он 4 мая Крамскому. – Появляются редкие фигуры в профиль и вполоборота к картине. Отчего это? Я объясняю тем, что высоко повешен, а публика любит смотреть только 1-й ряд.

Потом она добросовестна и смотрит залы в порядке алфавитном по каталогу. Моя буква W в конце. Ну она и устает – кроме того, что такое публика? – Толпа! – где же ей понять! Не правда ли, ведь это настоящие причины того, что никакая шельма... Пожалуй, вы скажете, что есть и другие причины равнодушия этой толпы, да я-то не хочу этого знать! А то, пожалуй, будешь думать, думать и додумаешься до чертовщины.

Жаль, что Вы не приедете, но зато я к Вам скоро приеду. Денег вот только нет. Куинджи мне писал, что



моя „Картинная лавочка“ за 400 р. продалась, и если деньги получены или могут быть получены, то нельзя ли мне сейчас же выслать руб. 150... – без этого я не могу ехать».

А на следующий день Крамскому отправлено новое письмо, торопливое и счастливое: «Мне Боголюбов дал 400 р. для передачи в Петербурге Лаврецкому. На эти деньги я и поеду на следующей неделе около четверга... Я страшно рад, что так скоро выезжаю из этого милого Парижа».

Да ведь и действительно нечего было делать в Париже: поглядел и себя показал. Не увидели – не беда. Время для смотрин не вызрело.

Главное же достигнуто: избавлен сразу от множества комплексов – от преувеличения достоинств заграничного житья, от завидок заграничному искусству, от самоуверенности и от самоуниженности.

Спокойствие пришло. Все парижские секреты не ахти что, ничего недостижимого нет, надо только побольше работать и думать. Кстати говоря, мало кто из парижских живописцев умеет думать по-своему. Работают лучше, а мыслят куце, у Европы ум житейский, здесь умов не растят – обходятся красивой упаковкой, красивая коробочка очень хорошо отводит глаза от пустопорожности.

То, что картины в Салоне не прозвучали – особая статья. Не успех русского человека на верную мысль наводит, а неуспех. Главное опять-таки достигнуто – тоже вот выставился, как Репин, как Поленов...

Когда сердце спокойно, глаза видят лучше, видят – правду. Что греха таить, страдал Виктор Михайлович, предлагая картину жюри Салона. А вдруг – в отсева?! Это ведь значит, что ты «хуже» и Репина, и Поленова, и Маковского с Савицким. Обозвать отвергающее тебя жюри дураками – утешение, но для кого? Одно дело –

не предлагать, а уж предложил, значит, хотел быть среди жалованных.

Теперь же, когда картины имели в Салоне место, пусть не лучшее, Виктор Михайлович смотрел на них не как создатель, а как протеже старого своего знакомого, которому помог, потому что не смел отказать, но теперь, не отказав, совестился смотреть на жалкую мазню своего приятеля. Совестился, когда перед картиной останавливались зрители, и был даже доволен, когда мимо нее проходили, едва взглянув.

Казнь египетская слоняться по выставке, всякий раз оказываясь в том самом зале, где неприкаянное твое дитя.

Уроки, уроки! Вся жизнь уроки! Но заграничными уж сыт - домой!

Домой, ребята, домой!

## **ГЛАВА ПЯТАЯ**

### **МОСКВА. АБРАМЦЕВО**

По свидетельству Виктора Михайловича Лобанова, его тезка Виктор Михайлович Васнецов, вернувшись в Россию, миновал Петербург и сразу направился в Вятку, к невесте своей, к милой Александре Владимировне.

О Васнецове все вспоминают как о человеке деликатном, мягком, но он был истинный вятч, гордый, норовистый, крутой. Однако это было внутри, не для посторонних глаз, никогда и никому во вред, разве что на свою голову.

Вот и с памятью по себе Виктор Михайлович обошелся круто. Коли я для вас что-то значу, коли вам интересно знать обо мне – узнавайте! И ни строчки не написал ни о жизни своей, ни о том, как они создавались, его великие русские картины.

Александра Владимировна Рязанцева, составившая счастье Виктора Михайловича и за которой он теперь отправился в Вятку, была дипломированным врачом. Редкость для России необычайная. Она дипломант первого выпуска женских врачебных курсов Медико-хирургической академии, то есть одна из самых первых русских женщин-врачей.

К сожалению, ничего не известно о материальном положении ее семьи, а это для биографии Васнецова далеко не праздный вопрос. У нас со времен еще Островского и Добролюбова укоренился на купечество взгляд как на класс одних только рвачей-толстосумов, непробиваемых консерваторов, гонителей и хулителей просвещения и всего передового.

На самом же деле русское купечество очень сложный и неоднородный организм. Действительно,

большую силу здесь имели старообрядцы. Почитая Петра Великого за антихриста, они не шли на царскую службу. Для деятельных людей выход был один – торговля. Думается, совсем не случайно старообрядческое купечество контролировало почти всю легкую промышленность России, коробейники вместе с ситцами разносили и свою веру. Но сами-то капиталисты, сплачиваясь в монополии на основе денег и религии, тоже ведь были неодинаковы. Если Абрам Морозов всю жизнь писал книгу об антихристе, то его брат Тимофей, прозванный Англичанином, отправил сына на учебу в Англию, пригласил на фабрику английских инженеров и завел футбол. Сын же его, знаменитый Савва Тимофеевич, строил МХАТ и еще один театр для своих рабочих в Орехово-Зуеве.

О вятских купцах Рязанцевых известно, что в селе Мухино, в 100 километрах от Вятки, у них была писчебумажная фабрика, но мы не знаем, легко ли была отпущена на учебу в Петербург Александра Владимировна, от больших ли денег или, наоборот, по малому состоянию, в надежде на оклад врача. Фабрика принадлежала не семье – роду, и доход мог быть очень и очень невелик.

Скорее всего семья была небогата, потому и не противилась браку с бедным художником.

Можно и другое предположить: сильная, волевая Александра Владимировна, переломив сопротивление семьи, получила диплом врача, жениха выбрала по любви и венчалась с ним вопреки родительской воле и, стало быть, без приданого.

После венчания в Петербурге 11 ноября 1877 года молодые, оставшись наедине, подсчитали свой капитал, и оказалось, что для дальнейшей совместной жизни у них имеется ровно 48 рублей.

В книгах о людях искусства сочинители порой даже имя жены позабудут назвать, занятые дифирамбами

глубине замыслов, торжеству творящего духа и т. д.

Иной, смотришь, до того договорится, что жена, дети, семья вообще несовместима с творчеством, что все это – обуза и помеха великому пророческому дару.

Не стану перебирать бесчисленные примеры, выстраивая ряд, который лил бы воду на мою мельницу: жены декабристов, жена протопопа Аввакума, вторая жена Достоевского... Доводов за и против – множество. Но если смотреть на творчество как на жизнь духа, питаемого жизнью естественной, без которой со дня творения и самого духа нельзя себе помыслить, ту самую жизнь творческого начала, которая имеет свой рост, свой взлет и свой конец, то следует признать, что художнику, как и всякому смертному, – не беда, что бессмертный венец на челе, – ничто земное не чуждо.

Всяческая истерия и шизофрения – несчастье, а если она от умелого наигрыша – для прессы и продажи – паскудство. Никогда и ни в чем не след выгораживать великих, чтоб примера заразительного, больного примера не было для и без того болезненных и взвинченных новых человеческих поколений.

Иной биограф, расщедрясь, вдруг да и пожалеет иную жену, как все жалеют Софью Андревну. Но ведь это смешная жалость! Тогда и самого Льва Николаевича надо пожалеть – груз гения прежде всего на плечах самого носителя. И слава хрупким, гнущимся, да не ломающимся женским плечикам, слава, слава женам всех творцов, которые храбро подставляют эти свои плечики под ношу, вес которой одному, может, богу ведом. Подставляют, несут, и ноша эта – общая!

Как знать, были бы они в Третьяковке, «Три богатыря», и была ли бы сама Третьяковка такой, какая есть, если бы не жены, имена которых поминают лишь в полных биографиях.

Зачастую одному только многотерпению женскому мы обязаны шедеврами в красках, в слове, в творениях

инженерной мысли.

Погубленного и несостоявшегося по вине женщин тоже много. Кто же тут учтет? И тем ценнее великий женский дар – быть женою.

Виктору Михайловичу Васнецову повезло: он встретил женщину, в полной мере наделенную, казалось бы, таким простым и естественным даром. Наверное, здесь надо еще сказать и о мужском даре быть мужем. Чем далее в развитии прогресса, тем, к сожалению, менее. Менее естественного в жизни, в отношениях между людьми, и «капризная природа» наказывает, ударяя в самое яблочко – по семье. Человечество шло к семье через племя, через безымянность, через века. Ныне оно на пути к бессмысленному одиночеству, но мы уверены: семья устоит перед испытанием цивилизации роботов, как устояла перед средневековым натиском монашества, которое есть не что иное, как насаждение одиночества и нелюбви к людям, к самой жизни.

Виктор Михайлович Васнецов, изведавший Петербурга и Парижа, остался верен заветам старины: семью свою он творил по подобию отцовской патриархальной сельской семьи, где отец – бог-отец, где мать – владычица, где дети любезные чада, живущие на радость родителям и на пользу Отечеству.

Без году пятьдесят лет прожили Виктор Михайлович и Александра Владимировна в счастливом семейном согласии, детей вырастили и выучили и сами были полезны и нужны всему народу русскому и друг другу.

Осеннее утро было обычное для Петербурга, серое, но сами-то они светились.

– Вот ведь какие калябадасы! – засмеялся Виктор Михайлович. – Небо в мороси, а светло. В Париже столько света всегда, а мне темно было. И картину-то я намазал там совсем черную. Здесь иное дело! Отчего бы?

И хитро смотрел на улыбающуюся одними глазами жену.

- Ну, что молчишь? По глазам вижу - знаешь. Она согласно кивнула головой и улыбнулась, и от улыбки еще более порозовела, похорошела.

- Вот смотри! - говорил он, выставляя перед ней эскизы. - Это теперь не ваше, Виктор Михайлович, это теперь - наше, а стало быть, прежнему не чета! Уж никак не чета! Смотри, смотри, главный мой зритель!

Перед Александрой Владимировной, заслоняя стены комнаты, стали «Птицы перелетные», «Поймали воришку», «Хороша наша деревня», «Кабак», «Витязь на распутье», «Чтение военной телеграммы», совсем новехонькие наброски «Развешивание флагов после победы», рисунки: «Святослав и Иоанн Цимисхий», «Марфа Посадница», «Степан Разин с персидской княжной».

- Только, Саша, ты смотри не как мимо проходящий зритель, а по-нашему, по-художнически. Это ведь не картины. Это - быть или не быть картине.

И загорелся, засуетился.

- Давай пусть будет по твоему слову. На что укажешь - тому и быть.

Лицо у Саши стало вдруг сразу печальным и строгим:

- Нет, - покачала она тихонько головой, - нет, Виктор!

- Да что нет?

- Не хочу, чтоб моей волею у тебя выкидыш был. Я тебе детей здоровеньких нарожаю, крепеньких. А эти, хоть и твои, да наши, и отвергнуть мне их никак нельзя, ни большого, ни малого.

- А ты и не отвергай! - пришел в восхищение Васнецов. - Ты похвали, а я по твоей похвале пойму, чему цена золотая, а чему - серебряная.

- Для меня, Виктор Михайлович, всё золото. И кабак вон какой разгульный, какое бедствие и для пьющих, и для их семейств. И победа-то у тебя не без горечи.

- Да какое ж веселье в военной победе? «Пчелу» октябрьскую видела? Рисунок они поместили, очень даже страшный рисунок - захоронение убитых под Плевной. Дорого нынче победы даются. Спасибо, все ты у меня понимаешь. Значит, и приговор твой должен быть совсем не пустяшным.

- Больной тоже знает, что у него горло болит, а вот лекарство должна назначить я, потому что я врач. И уж позволь мне любить тебя всего, а выбор...

- Милая! Саша, милая! Всё правда в твоих словах! Всё! Выбор - жизнь сделает. Скоро выставка грядет, вот и поспешать надо с тем, что по времени дорого, что всем нынешним русским людям близко - с военными, значит, темами.

- А мне и витязь твой очень нравится. Костей только больно много!

- Так ведь это поле брани.

- Опять, значит, ко времени?

- Ну а как же? Художник пишет царевну Шамаханскую, а думает-то всегда о своей царице, о нынешней.

- Если всегда, то обидно. Хочешь весны, а художник, оказывается, уж зиму замыслил и запрятал среди цветов.

- У нас с тобой еще много весны впереди и лета. О зиме пока думать не будем.

Поцеловал жену в глаза, в румяные щеки и стал убирать, отворачивая к стене холсты, оставляя самый броский, размашистый в письме эскиз «Хороша наша деревня».

Раскинул руки, прошел по комнате гоголем, пристукивая каблуками, запел:



Хороша наша деревня,  
Только улица грязна.

Саша, смеясь, подхватила знаменитую вятскую песню:

Хо-хо! О-хо-хо!  
Только улица грязна.  
Хороши наши ребята,  
Только славушка худа!

И, чуть склонив голову, рассматривал холст:

- Что скажешь? Нашенские?

- Ох, нашенские! «Мы не воры, мы не плуты, не разбойнички. Государевы мы люди, рыболовнички».

- «Мы ловили эту рыбу по сухим по берегам, - подхватил, декламируя, Виктор Михайлович, - по сухим по берегам - по амбарам, по клетям!»  
Всю правду о вас скажу, братцы мои родные, вятичи бедовые! Всю правду без утайки. - И зорко глянул на Сашу. - А кому польза от такой правды? Вон меня Аполлинарий ругал как-то: для кого, говорит, стараешься, для петербургских толстобрюхих чиновников? А вот что-то я призадумываться начал: может, прав Аполлинарий-то?

В прихожей раздался звонок.

- К нам?! - вспыхнула Саша и, метнувшись к кровати, задернула за собой ситцевую занавеску.

Виктор Михайлович мигом перевернул холст к стене и побежал открывать.

Пришел Адриан Викторович Прахов.

- Виктор Михайлович, прошу извинить за вторжение, но у меня сразу два дела. Первое: наипервейшее - исполнить указ Эмилии Львовны проведать и, если надо спасать, - спасти, а если

спасать не надобно, то самым жестоким образом выругать: куда это вы запропастились, забыв любящих вас друзей? Ужасный, ужасный вы эгоист! Это я уже ругаю, остальное при встрече скажет вам сама Эмилия Львовна...

Васнецов улыбался, разводил руками.

- Верно, верно - пропал. Но обстоятельства были. Важные обстоятельства.

- Картину новую начали? - Прахов кивнул на занавеску, натянутую от двери до простенка.

- Ах, совсем другое, Адриан Викторович. Много лучше, чем картину. Саша, выходи!

Стало вдруг так тихо, словно перед восходом солнышка. Но никто не вышел. Виктор Михайлович отдернул занавеску: Саша, заливаясь на глазах огненным румянцем, не пошевелилась, сидела сложа руки на железной студенческой койке, но глаза у нее сияли смехом, счастьем и никого нисколько не пугались.

- Саша, это Адриан Викторович Прахов! Она тотчас встала, подала руку.

- Мне Виктор Михайлович рассказывал о вас, о музыке в вашем доме.

- Музыки много! - засмеялся Прахов. - Эмилия Львовна - ученица Листа, а это - уже звание. Его отрабатывать надо! Но позвольте же мне поздравить вас! Ах, хитрец Васнецов! Свадьбу утаил! Прямо Кощей Бессмертный!

Снова поцеловал ручку у Александры Владимировны и расцеловался с Виктором Михайловичем.

- Ну-с, поручение Эмилии Львовны я исполнил. А второе дело - вот вам «Пчела», тут о вас кое-что, господин художник Васнецов, и убежден, вашего праздника критик не испортит. Прощаюсь, прощаюсь!

И, вручив номер журнала Александре Владимировне, тотчас ушел.

- Господи! Даже чаем гостя не попотчевали! - ахнула молодая хозяйка.

- Ничего, Саша! Будут у нас и застолья, и пиры - горой.

Александра Владимировна, явно огорченная своей промашкой, села к столу, открыла «Пчелу». И просияла:

- Витя! Про тебя! Слушай, я прочитаю. Критик писал об «Акробатах»:

«Продолжительное пребывание в Париже заставило Васнецова выбрать для своей картины тему из жизни французского простонародья, и этому выбору мы не можем не сочувствовать. Художник-реалист, не удовлетворяющийся в своем творчестве банальной фразой, общим местом, как бы оно красиво ни было, стремящийся постигнуть и воспроизвести предметы во всем живом и неисчерпаемом разнообразии, по необходимости принужден непрерывно присматриваться к живой природе, и поэтому гораздо полезнее и практичнее для него - раз он поставлен среди французского народа и его обстановки - выбрать французский сюжет. Васнецов остался верен этому реальному методу».

- Витиевато и не совсем правильно, но ведь не выруган!

- Витя, ну, ты уж очень суров к критику. Для него реалист - высшее в художестве, и он тебя в реалисты и возвел.

- Реалист. Конечно, реалист! - улыбался Виктор Михайлович, снова поворачивая лицом к свету свои холсты. - А ты знаешь, Саша, «Кабак» нужно иначе написать. У меня, кстати, холст есть свободный. Пожалуй, примусь-ка я за дело. Теперь лентяйничать нельзя - семьянин.

- Ну, а мне и подавно! Пора хозяйке обед готовить. И они, поцеловавшись, разошлись по делам: один по художественным, другая - по домашним.

«Кабак» в двух вариантах так и остался неоконченным. На глазах – Петербург, на слуху петербургские общегосударственные проблемы. Неудачная война с Турцией будоражила. О себе иначе как о витязях и чудо-богатырях думать не думали, крымская кампания уж быльем поросла, и вдруг с турками, коих Румянцев да Суворов, как мух, щелкали, воевать оказалось накладно. Столько народу положили, что и правительство смутилось.

Моргуновы в монографии о Васнецове приводят выдержки из писем Победоносцева своему воспитаннику, наследнику престола Александру Александровичу. Победоносцев был из тех приближенных, кто смел говорить правду и говорил ее. Второй штурм Плевны закончился потерей семи тысяч русских солдат, и Победоносцев, понимая, кто повинен в поражении, спешил сообщить наследнику о настроениях общества: «Молчание из армии кажется зловещим, – писал он. – Внезапно посреди быстрых успехов начались неудачи, очевидно от ошибок, от непредусмотрительности, от неосторожности со стороны распорядительных. Вмиг доверие к этим властям потрясено, а теперь всевозможные неудачи представляются воображению. Народные умы ужасно взволнованы, и теперь по случаю совершенной неизвестности и наших неудач всюду слышится ропот».

Как видите, «ярый консерватор» требовал гласности и большего доверия народу, он же после бессмысленного и никак не подготовленного третьего штурма Плевны не только осуждал действия командования, но и предвещал России, которая была для него едина с царским престолом, непоправимые бедствия. Третий штурм был предпринят 30 августа, по случаю именин царя. Сколько сынов отечества положено командующими всех мастей «по случаю». И не только ведь царскими сатрапами. Не только... Ради

славы российской, ради престижа фронта, ради всего полководческого гения, по надобности кого-то удивить, перед кем-то выслужиться. Нет, уроки истории не учат, они лишь стоят вечным укором, и потому их не любят, а покладистые историки из учебника в учебник отводят им все меньше и меньше строк, пока и последней строки не вычеркнут.

Провал третьего штурма был страшный, и Победоносцев в письме Александру сильных выражений не жалел.

«Приезжающие из армии не находят слов выразить горечь и негодование свое на бессмысленность планов и распоряжений, – вот так-то между собой беседуют консерваторы. – Это грозит в будущем великой бедой целой России, если все останется в армии по-прежнему. Что-нибудь надо делать, чтоб растворить эту желчь, чтобы погасить это негодование».

Художник Васнецов тоже имеет свое мнение о событиях, будоражащих страну.

Его «Чтение военной телеграммы» – уличная, городская сценка. У доски, где вывешено два листка с официальным сообщением с места военных действий, небольшая, тесно сбившаяся толпа. Городских людей здесь, однако, ровно половина, остальные пятеро – крестьяне, прибывшие в стольный град на заработки. Мужички по виду из самых, может быть, темных, однако война по темным-то и бьет в первую голову, их детей забривают в солдаты и гонят на штурм ради его императорского удовольствия и удовольствия его поздравителей, коим уже и ордена заготовлены и ленты!

Картина, однако, очень спокойная. Народ слушает жадно, но сам сказать ничего не может.

Такая же спокойная и другая картина, имеющая несколько названий: «Победа», «Карс взяли», «Развешивание флагов», «После победы».

Эта картина попала к Боголюбову, в его коллекцию картин, которую он преподнес в дар родному Саратову.

Спокойствие васнецовских полотен на столь животрепещущую гражданскую тему можно объяснить тем, что именно так вел себя народ, именно такие сцены видел художник на улицах Петербурга, но, возможно, была и чисто техническая сторона дела. Васнецов только-только начинал путь живописца, он еще не владел всеми секретами ремесла. Ведь его рисунки пером на близкую тему «Ночью на улицах Петербурга в день взятия Плевны» совсем иные. Тут и жесты, и стремительность движений – рисунок-оратор. Резкий свет, резкие тени – «ура» и резкие речи. Все лаконично, выразительно. И однако этот рисунок, представленный на VI выставку передвижников, экспонирован не был. Возможно, по цензурным соображениям.

Шестая Передвижная выставка открылась в Петербурге в марте 1878 года. Критика к Васнецову отнеслась недоброжелательно, промолчала или же, уделив его творчеству всего несколько строк, выругала. Вот, например, отзыв П. Боборыкина: «Самые акробаты прозаично вульгарны. В их типы художник не вложил ничего своего». Строгий Крамской из всех выставленных Васнецовым картин принял только одну. Вот что писал Иван Николаевич Репину: «Васнецова „Чтение телеграммы“ очень типично и жизненно. Мне эта картина очень нравится, но зато все остальное, боже мой! Нет, нехорошо, этак он никогда ничего не продаст, будет вечно бегать и нюхать: нет ли где деревяшки? Очень жаль, и тысячу раз жаль, но ему сказать ничего нельзя. А какой он мотив испортил! „Витязь“. На поле, усеянном костями, перед камнем, где написано про три дороги. Какой удивительный мотив! Его „Акробаты“, парижская картина, очень неудачна.

Она стала хуже, чем я ее оставил (а может быть, и нет)».

Ох, эти мудрецы, радеющие за высокое искусство, слишком высокое и совершенное, но опять-таки с их точки зрения. А между тем Крамской искренне желал добра молодому художнику. Он верил в него, и, думается, не без участия Ивана Николаевича прием Васнецова в члены Товарищества передвижников прошел спокойно и гладко. Об этом важном для Васнецова событии скупко повествует протокол от 9 марта 1878 года. Крамской принимал Виктора Михайловича в «товарищи», полагаясь больше на его будущие успехи, но другие-то члены, далекие от забот по опеке новых дарований, голосовали за нынешнего Васнецова, который вполне смотрится. Художник, конечно, не первой величины, но не всем же быть первыми!

Итак, для Васнецова начинался новый период и в жизни, и в творчестве, но прежде всего в жизни: по зову Поленова и Репина он переехал на житье-бытье в Москву.

В московском марте весны больше, чем в любителе захламлять мае.

Первое московское жилье для Васнецовых выбрано и снято их друзьями – Третий Ушаковский переулок по Остоженке, дом госпожи Истоминой.

Москву Васнецовы совсем почти не знали, ни Виктор Михайлович, ни Александра Владимировна.

Приехали, извозчик занес в квартиру вещи, Александра Владимировна тотчас начала устраивать новое свое гнездо, а Виктор Михайлович не утерпел, не усидел – побежал глядеть Москву. А Москва с Кремля начинается.

Пора было спросить дорогу. Как нарочно, люди навстречу шли все мелковатые, и он стеснялся

вопрошав их со своего каланчового роста, да и вопроса стеснялся: сударь, не скажете ли, где в Москве Кремль?

Идти наугад он уже устал и теперь тоскливо озирает толпу поверх голов и оглядывался, совершенно не понимая, где он и в какой поток нырнуть, в гору ли, под гору.

- Что вы ищете, сударь? Васнецов вспыхнул, как маков цвет.

- Кремль.

Прохожий, человек тучный, но одетый плоховато, легковато для зимы, тоже вдруг расцвел.

- Иван Великий! Успенский собор - твердыня духа российского. Царь-пушка, царь-колокол! Завидую вам, сударь, коль впервой идете зреть, принять и унести в сердце своем. Вы уж и близко теперь совсем. Ступайте вот-с по сей улице, по Никольской. Да не забудьте направо поглядывать. На сей улице в Греко-латинской академии сам Ломоносов гранит пауки грыз.

Поднял невероятной ветхости треух и поклонился оторопевшему Васнецову.

На Никольской теснота от народа. Особенно от торгующих книжками. Остановился поглядеть - глаза разбежались. Ни одной пустяшной книжонки - все для дела, для мудрого наставления, ведения по дорогам жизни, спасения от недугов и пороков: «Лечение от запоя и пьянства», «Новейший и вернейший способ лечить все болезни смесью французской водки с солью», «Искусство сохранять память и приобретать, ее потерявши, не обман, а истина», «Способ бриться без бритвы, мыла и воды», «Секрет носить сапоги», «Искусство быть всегда любимой своим мужем», «Супружеская грамматика, посредством которой каждый муж может довести свою жену до той степени, чтобы она была ниже травы, тише воды», сочинение Ротшильда «Искусство наживать деньги».



Васнецов полез было в кошелек, чтоб купить что-то из этого счастливо-наивного продувного товарца, не для того, чтоб Ротшильд, усвоив его советы, нос утереть, а чтоб обзавестись московским талисманом, на память, ради будущей, через годы-то, улыбки – вон какая Москва была! И не купил, вспомнил о денежных своих делах. О делах, которых нет. Плечи сами собой передернулись, словно кошки по спине поскребли.

Последние деньги ушли на переезд, а что теперь? В чужом-то совсем городе.

Он оглянулся с тревогою по сторонам, и почему-то эта тревога его не обеспокоила. То есть она была, но в голове, не в груди. В груди – непонятная, неведомая какая-то карусель. Не город – каша с маслом. А причуд-то! Причуд!

То вдруг французские магазины с вывесками по-французски: «Последние моды», «Скала Канкаль», «Реноме», «Лион», а то опять-таки по-французски, но фамилии русские: «Волков отец и сын», «Кузькин и Крошин», «Вильям сын Кубасов».

Дама, словно из Парижа, и барыня со свитой, один шпица несет, в специально сшитой для него собольей шубке, другие двое клетки с канарейками. Что за шествие? И тут же старьевщик, мужик с хитрющими глазами и с таким мешком – пол-Москвы заберет.

Вывески так и насканивают на тебя, пылающий вулкан, коптящий окорока, фея, рассыпающая пестрые конфетки. Крокодил, не умеющий раскусить сапога, – такая в нем прочность! А самовары! В пару, в баранках, увенчанные ослепительными головками сахара. Пиво бьет из бутылок, как из брандспойта, а чтоб понятнее было, надпись – «Эко пиво!»

Вдруг улица кончилась, и он увидел, что кирпичная стена, все время маячившая ему издали, это и есть...

– Кремль! – ахнул он тихонько. И пошел, пошел, почти побежал через площадь.

В нем дрожала, кажется, всякая жилочка, будто он, отец, встретил после долгих хождений по белу свету дитя родное.

Он подошел к стене, прикоснулся ладонью к заиндевелым на звонком мартовском морозе кирпичам. И вместо колючего холода почувствовал ожог огня.

«Мое, – сказал он тихонько. – Все тут мое».

Уже успокоясь, непривычной для себя медлительной походкой вошел через ворота на кремлевский двор.

– Здравствуй, Иван, – сказал он Ивану Великому одними глазами.

– Здравствуйте, святые соборы.

– Здравствуйте и вы – никогда не стрелявшие и не звонившие, пушка с колоколом – чудо по-русски. Сделать сделали, а ума сделанному не дали.

Он не пошел в соборы и к пушке с колоколом близко не подошел, поглядел – и домой. Бегом домой через всю Москву, к Сашеньке, поделиться радостью и великим для себя открытием.

– Саша, – сказал он с порога. – Мы – дома! Больше ехать уже некуда.

И тотчас распаковал заготовленный еще в Петербурге огромный подрамник и огромный холст. Натянул холст ловко, быстро. И сразу успокоился.

– Ну вот, – говорил он, улыбаясь холсту. – Ну вот. Жена ни о чем не спрашивала. Она была еще совсем неопытна и в семейной жизни, и тем более в жизни с художником, но сердце-то у нее было понятливое. И Виктор Михайлович пошел за женою, привел к холсту и, обнимая нежно, бережно за плечи, сказал:

– Это у меня совсем иное начинается. Совсем иное. Но свое! В Москве-то вот путем и не был никогда, а она – своя. В Петербурге тоже ведь много всяческих русских, и мужиков много, да только таких, как в Рябове, своих, не встречал. Ни разу ведь не встретил за все мое петербургское житье. А в Москве – пожалуйста.

Полна Москва моего рябовского любезного народа. На какое лицо ни погляди – наш, рябовский. И Кремль тоже. Мимоходом его раньше видел, с извозчика, а ведь тоже – наш. Мой. Веришь ли, Саша, у меня, когда к Кремлю сегодня бежал, – глаза слезами застило. Стыдоба! Здоровенный господин в слезах. И утереть эти слезы тоже рука не поднимается.

Повернул Сашу к себе, поглядел в самые глаза и рукою по голове погладил, так девочек гладят, совсем маленьких.

А у Саши в ответ глаза большие-пребольшие, и в них печаль.

– Ты что?! – испугался он.

– Тебя могла пропустить.

– Как так?!

– Да развела бы жизнь, и все.

– Не могла. Не могла, – сказал он, да и пошел по комнате кадрилью. – Не могла!

На следующее утро завтракали они поздно. Утомление переездом, хлопотами, волнениями. Проспали чуть не до двенадцати.

– Ну и богатыри мы с тобой! – сконфуженно улыбался Виктор Михайлович, а у Александры Владимировны от смеха глаза сходились в щелочки.

Но она и смеясь проворно собирала завтрак, и уже скоро был подан чай, булочка и немного коровьего масла в розетке для варенья.

Булку разрезала пополам, одну часть намазала маслом и положила перед мужем.

– А себе?! – удивился Виктор Михайлович.

– Не хочется.

Он все тотчас понял: семейная касса безнадежно пуста. Ничего не сказал, только прежде чем откусить свой хлеб с маслом, проглотил горький комок, вставший поперек горла. И мелькнула мыслишка: не купил книжку Ротшильда – вот и нет тебе денег.

Только чаю попили, пришли Репин и Поленов.

«Стыдоба, если бы на чай-то попали!» – ахнул про себя Виктор Михайлович и невольно глянул на жену, а у Саши глаза в щелочки собираются. Нет, не страшно с такой женой! А деньги?.. Да ведь когда-нибудь будут!

Друзья поглядели комнаты, хоть сами квартиру снимали. Прикинули, хорош ли будет свет в мастерской, и поднесли конверт с деньгами.

– Тут совсем немного, – успокоил Репин, – на обзаведеньице.

И, чтобы погасить смущение хозяина и хозяйки, предложил:

– Виктор, айдати в храм Христа Спасителя, к Сурикову. У него, брат, с рисунком слабовато, после Академии-то нашей. Мы с Поленовым в заговор вошли. Ради Сурикова и всех нас, российских недоучек, организуем-ка рисовальные студии. Коли учителей порядочных нет ни в России, ни в заграницах – будем сами себе учителями.

– Только Сурикову об этом говорить не надо, – мягко предупредил Поленов. – Он – казак, в нем – гордыни больше, чем у всего русского дворянства.

– Я двумя руками, двумя ногами за студии. – Васнецов вдруг подпрыгнул, выставляя длинные ноги и руки. – Неумелость моя – первый враг моим художественным мечтаниям.

– А что на этом гиганте будет? – спросил-таки Репин, кивая на пустой холст.

– Может, то, а может, другое. Вчера знал – нынче уже нет. Но что-то все-таки будет.

– Дай тебе бог! Дай тебе бог! – быстро сказал Репин. – А мне пусть даст «Крестный ход» кончить. Сами себе крест выдумываем, сами и несем. Вон ведь как замахиваемся!

Раскинул руки перед белым, совсем еще невинным и безгрешным холстом.

- А я нынче на дворики московские заглядываюсь, - сказал Поленов. - Военный заказ наследника отбил во мне охоту до замыслов, до великанов холстов. У меня ныне в душе тишина и уют.

В храме Христа Спасителя Сурикова не было, сказали: пошел чай с баранками пить. Решили подождать.

Репин повел Васнецова по храму как опытный экскурсовод.

- Вот смотри да ума набирайся!

- Это какого же?

- Самого нужного: учись, как не надо расписывать храмы, авось и пригодится.

В глаза бросался прежде всего Семирадский.

- По-моему, хорошо, - сказал Васнецов.

- Так ведь и действительно хорошо, - согласился Репин. - Я так считаю, что по сравнению со всеми тутошними Кошелевыми, Шамшиными, обоими Венигами, не исключая молодых - это я шепотом говорю - Прянишниковыми, Творожниковыми и даже Суриковыми - Семирадский в высшей степени перл! Индийская жемчужина среди российского речного перламутра.

- Ты не предваряй, - возразил Поленов, - пусть Виктор Михайлович сам поглядит, сам и скажет.

Суриков писал вселенские соборы, четыре из восьми, остальные четыре исполнял Иван Творожников, одногодок Сурикова и Васнецова, в картинах своих он изображал народную жизнь, но выставлялся на академических выставках.

Вениг-старший, профессор исторической живописи, написал «Рождество Богородицы» и «Успение», обе росписи эффектны, но с блистающим Семирадский профессор тягаться уже не мог. У Семирадского сама кисть была легкая, воздух в его шедеврах был пронизан светом и радостью. В храме написал «Тайную вечерю»,

«Крещение господне», «Вход в Иерусалим» и четыре картины из жития Александра Невского: «В Орде», «Послы папы перед Александром Невским», «Представление святого князя в Городце», «Погребение во Владимире».

Задержался Васнецов перед работами в иконостасе Евграфа Семеновича Сорокина да перед Крамским.

- Это? - спросил его подошедший Репин.

- Да, это. Сорокин и Крамской.

- Золотые слова! - засмеялся Репин. - Я о том же Стасову писал.

- Мне и Суриков по нраву.

- Мне тоже, - сказал Поленов. Васнецов вдруг повернулся к друзьям.

- Братцы, может, и не к месту будет сказано: мне картежники нужны.

- Ненадежному художеству предпочитаешь азартные игры? - смеялся глазами Поленов.

- Так он же «Преферанс» пишет.

- Это мы тебе устроим! - Повернулись на голос - Суриков. - На картинки пришли смотреть? А я теперь только наполовину художник.

- Кто же ты на другую-то половину?! - воскликнул Репин.

- Втроем не докумекаетесь. На другую половину я нынче гитарист. А какую гитару я купил - гусли стозвонные. Приходи, Васнецов, нынче вечером ко мне, сначала гитару послушаешь, а потом сведу тебя с человеком, у которого родии вся Москва, и все картежники.

- Так уж и вся? - засмеялся Репин.

- А что? В Москве от мала до велика в дурака режутся, ну а те, что в орденах да степенях, те, конечно, в преферанс. Приходи, Васнецов. Этих не зову. Не дозовешься. До дыр пол-то перед мольбертами протерли.

Балагуря, Суриков вырядился в халат, заляпанный красками, взял палитру, кисти.

- Ну, братцы, Прометей пошел к своей скале. Приходите на гитару! Не все-то вам под Баха носом клевать.

Вышли на солнце. Небо стояло голубоглазенькое, совсем дитя.

- Весна! - сказал Поленов.

Васнецов ступил мимо дорожки в снег, снег громко захрумкал. - Весна.

Приехал Аполлинарий.

По Москве катили ручьи, на Садовом кольце в каждом дереве птичий звенящий терем.

Виктор потащил брата на Москву-реку глядеть ледоход. Смотрели от Кремлевской стены.

- Вот он мой корабль! - Виктор запрокидывал голову, и над ним уносилась в небо древняя островерхая башня, потом скашивал глаза на проснувшуюся реку, на огромные льдины на сильной воде.

Аполлинарий, строгий лицом, но румяный, нежный, светил в ответ брату счастливыми глазами и задерживал в груди дыхание. Столько видано за два года разлуки, столько надежд рухнуло, но теперь он был в семье. Братьев много, а семьей был Виктор.

- Пошли-ка я с тебя портрет напишу! - щуря на брата глаза, сказал Виктор. - Задумок на меня наваливается много, каждая новая подбивает колени прежней. Для души напишу, для успокоения взбудораженного творческого муравейника.

И уже за работой признался:

- Москва - по мне, а вот я ей пока не ко двору. Местные художники смотрят на нас как на поганую, на чужую орду, не то чтоб заказами поделиться, всякие гадости говорят. Тут у них главный остроум Мясоедов.

Слава побаловала, да и отошла от него прочь, теперь зол на весь белый свет, и особенно на молодых.

Виктор подал брату папку с рисунками.

- Посмотри, а я на тебя погляжу, как лучше будет взять.

Аполлинарий положил перед собою первый лист и удивился.

- Иван Грозный, что ли? Историческую картину задумал? Этот большой-то холст для истории?

Виктор за голову схватился.

- Сколько вопросов! Провинциала не костюм выдает и не то, как он усы носит, а количество вопросов.

- Еще Грозный...

- Нет, Аполлинарий, Грозного я пока писать не возьмусь. Чтобы писать такие картины, художнику нужна умная рука. Умная рука умнее головы. И ум этот наживной.

- А по-моему, очень хорошие рисунки. Как они у тебя называются?

- Этот «Иван Грозный беседует с колдуном», а этот «Грозный смотрит на комету, предвещающую ему смерть».

- Какой сюжет!

- Здорово придумалось. Сам знаю, что здорово, но спешить - людей смешить. Грозный - это уже воздействие Москвы. Петербург Петром жив. Петербург Грозного не знает, да и саму Россию тоже.

- Девчущечки! - снова удивился Аполлинарий, разглядывая новый рисунок. - Как это в тебе уживается: Грозный, подружки, преферанс?

- Да как-то вот уживается... Ты вот что. Возьми книжку и смотри прямо перед собой... Будешь у меня молодой, умный.

Писал Аполлинария, а по вечерам уходил глядеть московских преферансистов. И скучнел.



- Как я допишу эту свою картину? Московские игроки даже рюмки по-другому берут. Какие-то мелкие, торопливые... Игра для них дело десятое. В Питере все иначе. В Питере преферансист не играет - священнодействует. Для него зеленое сукно все равно что алтарь. И знаете, что я заметил, - Виктор Михайлович обводил глазами Сашу, потом Аполлинария, - в Питере сами люди другие. Они там - одинокие. Все одинокие. Оттого и загадочны за столом. В Москве - люди ближе ДРУГ другу. Гнездами живут.

Говорил, а сам все взглядывал на Аполлинария, еще, еще.

- Слушай, попозировуй-ка.

- Еще для одного портрета?

- Да нет. Я тебя теперь лежа напишу.

Увел в мастерскую, уложил и углем, па огромном-то холсте, стал набрасывать фигуру. И тотчас прервал работу, нашел ситцевую, привезенную из Петербурга занавеску, набросил на холст.

- Ладно. Вроде бы и это начали.

Рисовать ходили к Репину, в Хамовники. Он жил в Большом Теплом переулке в доме Ягодиной. Василий Дмитриевич Поленов вместе с другом, художником Рафаилом Сергеевичем Левицким, снимали квартиру в Дурновском переулке, на Арбате, но летом они занялись поиском более удобного и, главное, более дешевого жилья.

Квартиры были дороги. Баумгартены, из окна которых и написан был год тому назад этот этюд знаменитого «дворика», тоже ломали цену, соглашаясь сбросить с нее только полсотни.

И вдруг квартира сама пожаловала. К Поленову приехал граф Олсуфьев, и оказалось, что его двоюродный брат сдает флигель всего за семьсот рублей.

В этом флигеле на Девичьем поле Поленов с Левицким прожили четыре года, до осени 1881 года. Флигель стоял в саду. Сад был огромный, спускался к Москве-реке и, кстати, примыкал к саду дома, который в 1882 году купил Лев Николаевич Толстой.

С Толстым хоть и не познакомились, а вот с Репиным стали жить в соседстве.

В репинский натурный класс, собиравшийся раз в неделю, приходили близкие товарищи, а позднее совсем еще юные Остроухов, Серов, Бодаревский.

Вот здесь-то Васнецов и добывал себе натуру: половца для побоища, преферансиста... В преферансисте, освежающемся рюмочкой, легко узнается полный, лысоватый Левицкий.

Первая московская весна радости принесла совсем немного. Стало ясно, что на картины, выставленные на передвижной, покупателей нет, а коли их нет в Петербурге, па Москву тоже не надейся.

Занимать у Поленова - язык не поворачивался, Репин сам жил туго. На этом список близких людей и заканчивался. Ну а в Петербурге у кого просить? Господи, все у того же Крамского. Стыд, стыд, но что же делать-то?

И первого мая пошло письмо с московской Остоженки на Васильевский остров в Петербурге.

«Я покуда еще не привык к Москве как следует. Но вообще более доволен, чем нет. Жду много от ней интересного. - И далее прорывалось отчаянье. - Как жаль, что картины мои не будут проданы, это теперь для меня ясно. На провинцию я не надеюсь. Кроме того, что картины мои дурны, они еще и дороги, должно быть. С каждым днем убеждаюсь более и более в своей ненужности в наличном виде. Что требуется, я не могу делать, а что делаю, того не требуется. Как я нынче извернусь, не знаю. Работы нет и не предвидится.

Впрочем, песенки эти вы слышали, да... скверный мотив».

Денег автор письма, однако, не просит, есть еще надежда, хоть какая-то, на московского покупателя.

Шестая Передвижная выставка открылась 7 мая. Поленов, не успевший прислать в Петербург свои работы, выставил их в Москве, и его «Дворик» со Спасом-на-Песках был куплен Третьяковым. Васнецов же и в Москве не пошел.

Для Репина Шестая выставка – новый успех и взлет. Его «Протодьякон» гремел и, отвергнутый великим князем, конечно, попал к Третьякову.

Шишкин выставил «Горелый лес» и «Рожь», обе картины тоже куплены Третьяковым, не обошел великий коллекционер вниманием и работы Ярошенко. Хоть и поторговался, но «Заключенного» приобрел по цене, на которой стоял художник.

Картин Васнецова Павел Михайлович не купил – это были картины переходного периода в творчестве. Третьяков, видимо, это чувствовал, а потому считал, что для его коллекции они необязательны. Но художника-то собиратель уж давно приметил и открыл для него двери своего дома. Пригласил к себе на дачу, в Кунцево.

Все биографы Васнецова с удовольствием цитируют Александру Павловну Боткину, родную дочь Третьякова. Да и впрямь удивительно написала Александра Павловна. Один абзац, а все видишь, и старое, деревенское еще Кунцево, и размеренную дачную жизнь, и молодого, устремленного к своему будущему Васнецова.

«В 1878 году, когда Передвижная выставка была в Москве летом, – пишет Боткина, – несколько знакомых художников приехали к нам на дачу в Кунцево. Говорили, что собирался и Васнецов, но его не было. Решили дальше не ждать и идти гулять. Шли по дорожке растянутой группой, дети впереди. Недалеко

от дома навстречу нам размашисто летела высокая тонкая фигура, которая, несмотря на темный костюм, казалась светлой от светлого лица и волос. Он спешил, искал нас, по ошибке попав на соседнюю дачу. Из радостных возгласов шедших за нами его товарищей сразу стала ясна атмосфера симпатии, которая окружала Васнецова. Это его появление запомнилось навсегда».

Но за обаяние Третьяков не платил, и пришлось Виктору Михайловичу кинуться в ножки к его высокоблагородию Ивану Николаевичу Крамскому.

На конверте так и написано: «В С.-Петербург, Васильевский остров, Биржевой переулок, дом братьев Елисеевых, Его высокоблагородию г. Крамскому».

Письмо небольшое, деловое: «Выставка наша кончилась 1 июня в Москве, и картины мои в целости остались – никто не купил ни одной. Дашков, которому я рисовал известные вам портреты, уехал... за границу. Работ других никаких. Следствие всего этого – сижу без денег и даже займы негде взять. Прибавьте еще к этому настоящее кризисное время. Если у Вас, Иван Николаевич, есть лишних 200 р. – то не откажитесь ссудить меня ими».

Деньги Васнецову были нужны на поездку в Вятку, проведать Марью Ивановну, матушку Александры Владимировны.

Крамской, хоть и не нравились ему почти все последние картины Виктора Михайловича, хоть и уверен был, что такое не купят, но деньги прислал. Васнецов успел получить их в день отъезда, 17 июня.

Они стояли у стены Трифоновского монастыря, над прекрасной рекою Вяткой.

Глядели и молчали, и чем дольше глядели и молчали, тем согласнее бились их сердца. И он сказал ей:

– Напишу, как наши предки любили Родину.

И тихонечко потянул за собой, и она почувствовала: это его искусство потянуло. И вот уж он летел по обычаю, а она, улыбаясь, шла чуть позади, не поспевая за своей любимейшей птицею.

Картина, как мир, рождается от одного толчка сердца, от одного слова-образа. Когда-то где-то на бегу увидал вдруг тишину после многих страстей человеческих.

Степь, скорбь, людей, для которых все дела земные кончились навеки.

Теперь же, сказав Саше, что напишет, как предки любили Родину, он отверг тишину. Как любили? Неистово любили, до последнего мгновения, до полной тьмы в очах! Это должна быть схватка, бой, где среди стремительных и тесных тел яблоку негде упасть.

Он набросал в альбоме композицию. В один мах, стремительными ломающимися линиями.

И вспомнил средневековые немецкие гравюры. Все это было. Груды тел, оскал смерти и оскал победы.

Остыл. Закрыв альбом. Да еще и отодвинул от себя.

Взял книгу Буслаева, перечитал отчеркнутое место: «Только тот исторический сюжет годится для искусства, который затрагивает настоящее с прошедшим по сродству идеи».

Его принимали как известного художника, а он стыдился. Картины этого известного в целой России никому не нужны были. Никому. А ведь, кажется, говорил о главном: о войне, которая занимала умы всех народных сословий. Не так, видно, говорил, не то. Тут подавай героев, тут подавай кровищу, как делает Верещагин, а глядеть на собственную растерянность от поражений, на собственное беспокойство кому охота. Кому нужен укор. Впрочем, укор бы годился, некоторые обожают «укоры», а это ведь только намек на укор. Это само состояние русского общества. Но ведь даже

Третьяков не понял замысла картин. Третьяков предпочитает «укоры» – заключенного, кочегара...

Но что же других-то винить? С себя надо спрашивать, с себя. Видно, не за свое дело взялся. За Репиным пустился вприпрыжку, отведать от репинского успеха, но вторые «Бурлаки» никого уже не удивят. А где оно, свое? Не гордыня ли глаза застит, не от лукавого ли? И альбом с заготовками к «Побоищу» отложен.

Хождение по гостям – дело хлопотное, да отказать нельзя. Теще нравится ее знаменитый зять: хоть какая-то компенсация за безденежье. Васнецов же хождением по гостям не тяготится. Ему нужна – улыбка. Улыбка для центральной фигуры в «Преферансе». Без этой улыбки картина, пожалуй, даже и не состоится.

Альбом начинает наполняться улыбками: одна, другая... пятая.

Улыбка эта не должна принадлежать игре. Не излишняя осторожность партнера ее вызвала. Она – воспоминание. О другой жизни, о других людях. Она – о женщине. Она о давно-давно ушедшем счастье. Она, пожалуй, и не улыбка даже, а сладкая печаль по невозвратимому.

Критики небось напишут: наш известный жанрист уморительно изобразил провинцию и провинциалов, хотя это Петербург, и ничего-то смешного нет в сцене. Есть одиночество на людях.

И еще есть художественная сверхзадача изобразить сложнейшую световую гамму: свечу, рассвет и столкновение двух этих световых стихий, света естественного и комнатного, искусственного.

Но для чего столь усложненная задача? Чтобы удивить друзей-профессионалов? Чтоб убедить себя – ты владеешь всеми тайнами искусства? А может быть, эта усложненность оттого только, что главное в жанровых картинах уже сказано, сказана вся правда о

жизни тяжелой, теперь, чтобы быть интересным для зрителей, знатоков, покупателей, для самого себя, необходима изощренность.

А вот импрессионисты взяли да и отвергли всю старую живопись, они пишут по иным законам, у них свои правила игры, свои герои, свои шедевры и своя рутина. И она тоже уже есть.

Теперь отставку получил альбом с зарисовками для «Преферанса» и был взят небольшой холст, чтоб написать эскиз «После побоища Игоря Святославича с половцами».

Любимой и самой нужной книгой стало «Слово о полку Игореве» в переводах Мея.

Писал маслом, тона взявши прежние свои, темные. Писал и видел – не то, не так, и чем более накапливалось в душе протеста, тем громче читал стихи Мея:

Загудела, заходила ходнем земля,  
Зашумела зелена-трава;  
Снялись с места ставки Половецкие,  
А Князь Игорь горностаем проюркнул в  
тростник,  
Канул в воду белым гоголем.

Центральную фигуру сраженного витязя он писал сидящим. Очнулся, поднялся и увидел содеянное. Одну только смерть увидел вокруг себя.

Когда эскиз был закончен, стало понятно – и это не то и не так.

Позже будет написано еще несколько эскизов с фигурой, поднимающейся с земли. И все они – не то и не так, пока мысль не вернется к первому замыслу, к тишине, к покою после страстей человеческих.

И вот, когда успокоится и этот последний витязь, когда ляжет он наземь, раскинув руки, расставив ноги, тогда и произойдет чудо: картина превратится в богатырскую симфонию, где нет сиюминутного торжествования, а есть торжество бессмертного эпоса, где павшие герои безымянны и где нет по ним острой боли, но есть вечная печаль, вечный вечер, и всякое русское сердце узнает здесь своих, и встрепенется навстречу, и поплывет на той лодочке в омуты неотплаканного, в то давнее зыбкое горе, ставшее со временем твердыней русской души. Из горя твердыни самые прочные, самые вечные. Про то многие народы знают. Многие. И все это – сильные народы. Духом великие.

Странный был год 1878-й для Васнецова.

Приняли в Товарищество, Москва приняла, в печати известным величают, и – ни копейки, хоть по миру ступай. И, однако, год этот можно назвать щедрым: перед тем, как уронить последние листы с календаря, он одарил Васнецова знакомством, которому цены не было.

Вернулся Васнецов в Москву 15 сентября, вернулся уже в нетерпении, чтобы писать свою первую историческую картину, «Витязь»-то скорее фантазия, отзвук на тоску по иным художественным путям.

А в Москве вдруг выяснилось, что историей повально заболели все друзья. Поленов писал терема XVII века, Суриков «Утро стрелецкой казни», Репин «Царевну Софью».

Что за поветрие?

Прежде всего, назовем самую легковесную причину: дружба между художниками всегда предполагает и соперничество. Это соперничество не антагонистическое, но оно тоже не без жестокости, ведь если ты уступишь в силе, то уже и в друзьях не



останешься. Не потому, что оттолкнут, как неровню, сам уйдешь, не в силах снести своего духовного поражения.

Художники творят каждый свое, радуются успехам друзей, помогают советами, дарят замыслы, отдают последнюю рубашку, но всегда поглядывают за товарищем, зорко поглядывают. Отстающему, если он ненароком оступается, помогают, тащат, потому что обогнать-то далеко своих признанных товарищей страшно. Страшно одному на вершине, лучше, когда рядом с тобой любимые люди, а еще лучше, когда каждый из них - вершина. Стоят вровень на ослепительном свете славы, а выше одно только небо.

Так что и эта причина - причина, все вдруг историками сделались.

Но были и другие мотивы, которые искусствоведы почитают за определяющие.

Во-первых, сама жизнь государства, политическая подоплека этой жизни.

1877-1878 годы - годы войны и дипломатических сражений.

Свершилось великое событие: Болгария освободилась от векового рабства, получили свободу Сербия, Черногория, Румыния, но оказалось, что великому совсем не чужды все атрибуты самой низкой прозы, великое рождалось в рутине и пошлости дворцовых интриг, отвратительного командования, воровства, наживы, ограбления. И все услышали запах крови. История сильно пахла человеческой кровью.

А потом и вовсе пошли дипломатические мерзости, игры, где на кон ставились судьбы народов.

Боясь возвышения России, а еще пуще объединения славянских государств, Бисмарк постарался украсть победу. На Берлинском конгрессе Сан-Стефанский договор был подменен Берлинским трактатом. Болгария делилась на две части, и южная передавалась Турции с правами на некоторую автономию. Босния и

Герцеговина отдавались Австро-Венгрии, Македония, которая была отдана Болгарии, возвращалась султану.

И глядя, как играют судьбами народов, художники не могли не задуматься над родной историей.

Нельзя забывать и о симптомах возраста. Все они отведали из чаши успеха и все достигли тридцати лет. Им казалось, что пора говорить о главном, о вечном, о высоком. В Академии вечными, высокими, главными считались исторические темы, и сколько бы ни ниспровергали ее ученики или недоучки авторитет ее профессоров, ее программы, ее методу, она в них сидела. В бытописании отличились, слово о нынешнем дне сказали, – время думать о судьбах народа, народов, о бренности и бессмертии.

Наконец, был Стасов, подъем общенационального сознания, возвращение к самим себе через голландский и немецкий, через французский, через презрительное неверие в свой народ. Да ведь и было отчего поглядеть на себя с уважением: был Пушкин, Гоголь, был Толстой, Достоевский. Был Глинка, Мусоргский, Чайковский. Была своя живопись и архитектура. Наконец-то разглядели красоту в теремах XVII века, в строгих контурах древних храмов, с удивлением взирали на крестьянские поделки. Былины свои записали, изумившись величию героев и через них, придуманных народом, и уразумели глубину и масштабы народной мысли, его мечтания, его предсказанную через этих же героев, свою судьбу.

И еще, что очень важно: художники, композиторы, писатели брались теперь за иные исторические сюжеты. Обаяние Петровской эпохи для нового искусства померкло. Петр – это насаждение иноземщины, насаждение палкой, каторгой, солдатчиной. В эпоху, когда ценность приобретали подлинно национальные черты, иные герои шли толпой па картины, на сцены, на страницы книг: царь Алексей

Михайлович – тишайший, царь Иван Васильевич – грозный. Совсем не случайно Петр у Сурикова далеко в глубине картины, а впереди – пострадавшие от него. Недаром русские – в русском, а русский царь – в немецком, и приспешники его корявы и зелены, как черти.

Шел пересмотр отечественной истории. Выросла своя, русская интеллигенция. Упивались открытием мира, обдуманного русской мыслью, и нравилось, нравилось думать по-русски и на русском наконец-то языке.

Сразу после обеда пришел Репин. Договаривались вместе сходить в Оружейную палату.

– А ведь мы с тобой отступники от русской старины, – сказал Репин, хитро поглядывая на Васнецова.

– Это в чем же?

– А ты знаешь, почему Гришку Отрепьева в пушку сунули? Думаешь, потому, что поляков привел? Отнюдь! Грех его был куда как тяжек! После обеда не спал, попирая заветы русских дедов и прадедов. Так что отступники!

– Я смотрю, силен ты стал в российской старине.

– Ну а как же! Стасов мне такие книжки поставляет! Хоть голова моя и дырява, да кудревата, кое-что в кудрях путается и остается.

Директором Оружейной палаты в те годы был профессор С. М. Соловьев, его не застали, и Васнецов предложил «пробежаться» по набережной у Кремлевской стены.

– Я уже давно не был в храме Василия Блаженного, для моей Софьи посещение это будет очень даже ко времени. Тесноту пишу. После царского-то простору весь мир – келия. Такой тоски и представить себе почти невозможно. Волчья тоска.

- Я, когда пробегаюсь тут, - признался Васнецов, - всегда заглядываю в пределы Василия. Там древность как поселилась, так и живет. Лампадки тусклые, тесно. Тени огромные, медленные. Иной раз оглянешься - от страха и совсем струсишь. Наши пращуры среди ужаса жили. Оттого и молились горячее нашего. Тьмы на земле много больше было.

По узкой винтовой лестнице стали подниматься вверх, заглядывая в узкие, как щели, оконца. Поднимались вверх, а пахло, как в погребке, неуютно.

Виктор Михайлович шел первым. Он уже взошел на площадку и ждал Илью Ефимовича, который затаился внизу. Тот все не шел, а Васнецов понимал это, не окликал, давая другу прочувствовать древний храм. И вдруг грохот, опрометчивый, совсем панический, удаляющийся.

Поспешил вниз.

Репин стоял на дворе, на желтой ноябрьской отжившей траве. Поглядел на Виктора виновато.

- Кровью пахнуло. Кровью, кровью! Я знаю, как пахнет кровь!

Виктор Михайлович смотрел на Илью Ефимовича с изумлением. Они снова пошли в Оружейную, молча, думая о своем.

«Запах крови услышал, - думал Васнецов, - вот сила воображения».

И недоверие кольнуло.

«Неужто играетя? Среди людей искусства игрунчиков всегда много. У каждого почти своя маска, тщательно оберегаемая, подкрепляемая все новыми и новыми выходками. Лишь бы публика судачила... Расскажу про запах крови, и все это перескажут множество раз. И все удивятся силе репинского воображения. Воображения гения».

Посмотрел на друга с неприязнью, но встретил ясные его глаза, улыбнулся, засмеялся. Все принял и

простил.

- Ты что? - удивился Репин.

- Так.

- Знаешь, тебе надо обязательно с Саввой Мамонтовым познакомиться. Ты ведь чахнешь без музыки, а у них и музыка, и вообще ярмарка. Ярмарка духа!

Заговорились, и позабылось кольнувшее недоверие. Вечером Виктор Михайлович пересказывал Саше и Аполлинару историю с запахом крови, рассказывал восторженно.

- У Репина великая дорога будет. Того не украсть и не унять, что от бога. Ведь кто он? Чугуевский мещанин. Неуч, как все мы, а знакомства с ним весь Петербург желал, а теперь и Москва.

- Тут, наверное, и от характера зависит, - осторожно сказала Саша.

- И от характера тоже. Я с налета никак не могу сойтись. Мне нужно, чтоб душа с душой соприкоснулась, а это уж очень деликатное дело, не быстрое, но зато как золото, долгое и красивое, - и рассмеялся. - Вот и себя похвалил!

Снова резал окаянную деревяшку. Жить надо было. Хорошо хоть «Нива» прислала заказ на деревяшку.

Резал по своему рисунку: «Заблудилась».

Дело привычное, мастеровитости не занимать, и работа уж к концу, но глаза то и дело поглядывают на часы, и руки волнуются не от работы, а иначе, мешая точности, твердости движений.

- Все, Саша! Не могу больше. Еще три часа впереди, а уже не могу делом заниматься.

Александра Владимировна тоже давно уж в хлопотах, выгладила рубашку, вычистила костюм. Галстук у Аполлинурия взяла, поновее, моднее.

Сегодня Виктора Михайловича ждали у Мамонтовых, на Спасско-Садовой.

Одевался, как на бал. Мамонтов большой железнодорожный магнат, миллионщик. Художники говорят о нем с восторгом, но как знать... Магнаты – на капризы охочи. А что греха таить – у Васнецовых надежда затеплилась. Тут ведь хоть один бы заказ хороший, один поворот колеса Фортуны на себя... Удача к удаче, как неудача к неудаче. Но ведь не все же в черноте пребывать. Жизнь, как зебра, пора бы и на свет выйти.

От таких-то мыслей, от надежд Виктор Михайлович отмахивался, гнал из головы прочь, но тепло и надежды из головы тотчас переселялись в самое сердце. И было тревожно. А ну как опять... неудача?

Отворили дверь дети. И тотчас умчались. Появился слуга, принял пальто.

– Проходите!

В доме движение, людей много. Все незнакомые. И хозяйка с Репиным.

– Елизавета Григорьевна, вот и наше Красное Солнышко – Васнецов. Не правда ли, у него и фамилия-то солнечная.

Елизавета Григорьевна подала руку для поцелуя. Смотрела хорошо.

– Мы знаем ваши картины, ваши рисунки.

– Вы-то знаете, Елизавета Григорьевна, – воскликнул Репин, – а вот он не знает, что квартиру-то вы ему подыскивали!

– Я не знал, потому что друзья хранили от меня в тайне и вашу заботу, и... – Виктор Михайлович зарделся, не умея быстро найти нужное слово.

– И наш дом... Простите за суету: идет жаркая подготовка к рождественскому спектаклю. Где же Савва Иванович?

– Я – здесь! – Из комнат даже ветром пахнуло, так стремительно шел этот огненный человек – Савва Мамонтов.

- Виктор Васнецов!

Рукопожатие крепкое, глаза цепкие, быстрые.

- Я увожу от вас Виктора Михайловича, - взял под руку, пошел быстро. - «С квартиры на квартиру» люблю. У нас художники бедноту наперебой рисуют, словно это мед для них. У вас другое. У вас не просто бедность, у вас - одиночество. Безмерное одиночество, на которое обрекает несостоятельных людей наше не очень-то доброе общество. Вам удалось показать неизбежность такого существования. Критики, как всегда, проглядели и картину, и ее вызов. Она ведь вызывающая при всей своей тихости. Она - приговор чиновничьей России, которая выбрасывает из жизни всякого, кто не может уже твердым почерком писать входящие и исходящие бумажонки... Так что знайте, этот дом - ваш друг.

Такого Васнецов не ожидал, но это было только начало. Тремя минутами спустя Мамонтов ввел Виктора Михайловича в зал со сценой и объявил сидящим за столом людям:

- Вы искали Мефистофеля - вот вам Мефистофель! Наилучший!

- Какой Мефистофель? - с упавшим сердцем обратился Васнецов к уходившему от него Савве Ивановичу.

- Фаустовский.

- Но я на сцене и близко не был!

- Виктор Михайлович! - на него, улыбаясь, смотрела Елизавета Григорьевна. - Да ведь мы все актеры такие же, как и вы - самовластные, и это будет не спектакль, а живая картина. В Маргариты меня определили, а Владимира Сергеевича - в Фаусты. Познакомьтесь.

- Алексеев, - подал руку будущий Фауст.

- Васнецов!

- Ничего, - сказал Алексеев. - Это вначале очень страшно, а потом даже и затягивает...

Это был брат Станиславского.

- Все! - крикнул издали Савва Иванович. - Вы пока обговорите сцену, а я посмотрю, что у нас в костюмерной делается, и вернусь.

- Итак, вы - Мефистофель, - сказала Елизавета Григорьевна. - Мы выбрали для нашей картины «Видение Маргариты Фаусту».

Лицо у нее было совсем простое, но сама простота эта была от ума, от знания. Возможно, и нажитая, но ведь добытое трудом еще притягательнее.

- Лежи, Аполлинарий, лежи! Ты мой талисман. Думаешь, чего я тебя из картины в картину таскаю? На счастье!

Виктор Михайлович поскакивал у полотна голенастым воробушком.

Все варианты были испробованы и отставлены, все сомнения оставлены. Теперь шла работа на большом холсте. Темная, почти черная полоса пересекла его, отделив небо от земли. Может, и безотчетно. Тут, домысливая, можно в дебри забрести, дескать, взял в траурную каемку земные дела, саму суть земного существования.

Все, видимо, проще. Эта темная полоса - запечатленная в художнике память: детства, память о далях вятского края.

Так же, как у Нестерова, елки. У него и в Палестине елки. Вспомните мозаику «Воскресения» в храме на крови. Вспомните вогнуто-вывернутый мир Петрова-Водкина. Петров-Водкин был профессор, он изобрел целую концепцию по поводу своего искусства. Но побывайте в Хвалынске, поглядите на изломы меловых гор над Волгой, и станет ясно: сначала были образы детства, а уж концепция придумывалась много позже, оправдывая практику.

- Так, Аполлинарий! Очень хорошо лежишь! Еще мазочек. И вот здесь. Ах ты боже мой! Блик не годится.



На этой картине ничто не должно ни сиять, ни сверкать. Это покой. Очень хорошо лежишь, Аполлинарий. Впрочем, можно подняться. Обед, наверное, стынет и Саша сердится. – И ахнул. – Спит!

Положил кисти, на цыпочках подошел к диванчику, сел: не хотелось, топая у картины, разбудить нечаянно уснувшего брата. Открыл лежащую на квадратном валике дивана, чтоб всегда под рукой была, книжечку Мея. Удивился: открылась на сне Святослава.

Святославу снился смутный сон:  
Будто я в горах под Киевом,  
Говорит он: будто в эту ночь  
Одевали меня с вечера  
На кровати на тесовой черной ризою,  
Подносили зелено вино,  
Л вино-то с зельем смешано.  
Будто тощими колчанами  
Мне на грудь из грязных раковин  
Крупный жемчуг сыпали и нежили.

Поднял глаза на свою картину: вот он сон Святослава, сон наяву. Вот он, княжеский опустевший колчан – такие богатыри полегли. И подумал: чем не современная картина? Ведь это тоже о зря погубленных русских людях, дела отнюдь не давних времен. Интересно, что Стасов скажет?

В передней послышались голоса. Аполлинарий вздрогнул, торопливо вскочил на ноги.

– Кто это?

– Сейчас узнаем. – Старший брат глянул в прихожую. – Мстислав Викторович!

Мстислав Викторович уже снял пальто и галоши. Александра Владимировна была несколько растерянна, часы работы мужа были временем священным...

- Простите, что почти поутру.

- Познакомьтесь, Мстислав Викторович. Это жена моя, Александра Владимировна, а это - Прахов Мстислав Викторович.

Прахов поцеловал руку Александре Владимировне, но как-то почти машинально. Лицо у него было серое, глаза отсутствующие.

- Проходите, Мстислав Викторович! Саша, чай, нам крепкого чая, а если еще что есть, то тоже, пожалуйста...

- Брат? - спросил Прахов, пожимая руку Аполлинарию. - Вижу, что брат. Удивительно молодой!

Сел, взял, тоже совсем механически, книгу Мея и тотчас отбросил от себя.

- Книги! Книги! Сколько у нас всего, подменяющего жизнь.

Аполлинарий незаметно вышел, принес чай, баранки, графинчик с вином.

Мстислав Викторович взял графин, не дожидаясь рюмки, налил вина в чашку, выпил. В глазах его мелькнул совсем детский страх.

- Прости меня, Васнецов! Я от самого себя по Москве бегаю. Столько людей хороших кругом, а я словно в поле на ветру, на дождю... На улице мороз, а я и сам мокрый, как мышь, от страха своего, и весь город мне чудится мокрым. Слякоть. И в людях - слякоть. Во всех этих хороших... Ну, да оставим сие...

Он отер лицо ладонями, потом полой пиджака, опять ладонями и поглядел на картину.

- О поле, поле!.. Васнецов, а ты молодец! Я такой живописи не видывал... Это ближе, пожалуй, к декорации, но зато потуг не видно - сделать все, как в жизни. Это хорошо, Васнецов! Ты не берешься подменять жизнь, говоришь не от жизни, не от бога, а от самого себя... Наши высоколобые критики этого не

поймут, но ты не огорчайся. Это очень хорошо. Это, может быть, ровня самому «Слову».

Он поглядел на книжицу, которую отбросил, увидел, что это «Слово», что это Мей, полистал.

Ох, ты гой-еси, земля Русская,  
За холмами ты охоронила!  
Поздно... Меркнет ночь; свет-зорька закатилась.

Взгляд потух, рука опустилась, бережно положила книгу.

– Верно, Васнецов! Поздно, меркнет ночь.

– Мстислав Викторович, – помолчав, предложил Виктор Михайлович, – чай остывает...

Прахов усмехнулся, нехорошо усмехнулся.

– Я лучше вина.

– Да тут совсем мало.

– Ничего, допью. Мне и малого теперь много. Выпил остатки вина. Встал, подошел к картине, покосился на эскиз «Поймали воришку».

– Васнецов, ты плюнь на все эти жанры. Ты – вот это пиши. Попомни мое слово – вот она твоя песня! А сколько в нашей истории сюжетов преудивительных. Тех же половцев взять. Есть описание одной битвы в летописях. У половцев было большое и сильное войско, но оно вдруг побежало. Русские были изумлены, никак не могли добиться от пленных, в чем причина панического бегства, а те одно твердили: с вами в небе было еще одно войско, белое, грозное. Разве это не сюжет, Васнецов? Не для Стасова, конечно. Тому горбунов подавай, нищих, заколотых штыками... Слякоть весь этот наш мир. Я прямо дрожу от слякоти.

Он поклонился вдруг, пошел в прихожую, сунул ноги в галоши и, подхватив старенькое пальто, чуть ли не бегом выскочил из дому.

- Что это с ним? - У Александры Владимировны лицо было напуганное.

- Не знаю, - ужасно огорчился Виктор Михайлович, надо было жену успокоить: ребенка ждет, но не мог пересилить огорчения. - Господи, как же помочь вот таким людям? Ведь надо же что-то делать. Адриан-то куда смотрит?

Аполлинарий принес из мастерской так и не тронутый чай. Виктор Михайлович взял чашку, выпил.

- Давно такого чая не пробовал.

- Последний заварила, - сказала Александра Владимировна и спохватилась: - Да, что-то хотела сказать важное... От Мамонтовых утром человек приходил, зовут быть сегодня.

- День-то неприятный.

- Значит, по делу.

- Да какое же может быть дело у финансиста к художнику? - горько вырвалось.

На широкой светлой лестнице дома Мамонтовых, ведущей в жилые комнаты, сердце у Васнецова всякий раз сладко обмирало. Он чувствовал себя маленьким мальчиком перед дверьми, за которыми приготовлена рождественская елка.

Елизавета Григорьевна, в легкой шелковой шали на плечах, разливала чай. Были Неврев, Поленов, Репин, Левицкий.

- Виктор Михайлович, а мы вас заждались! - укорила хозяйка.

- Вечер хорош, пешком шел.

- Да что же хорошего? - Толстенький Левицкий даже плечами передернул. - Поземка, ветер в лицо!

- Поземка-то и хороша! - не сдался Виктор Михайлович: не скажешь ведь, что карман пуст, не то что на извозчика, на чай денег нет. - Такие затейливые колечки завивает, а снег в вечернем освещении - совершенно невинное дитя...

С благодарностью принял из рук Елизаветы Григорьевны чай и сразу прихлебнул, чтоб не пролить и чтоб изгнать из себя собачий, пронизывающий февральский холод.

- Ну, на чай опоздал - это полбеда, - сказал Репин, - песню нам за это споешь, вятскую свою. Ты на выставку отправил картину? Крамской очень беспокоится, все дотягивают до последнего срока, до самого последнего.

- Я отправил свою картину.

- «Преферанс»?

- «Преферанс».

- Хорошая работа. Может, самая мастеровитая из твоих.

- А вы сами-то отправили?

- Моя «Царевна Софья» почти готова. Осталось только поправить там да сям. Дней через пять отошлю. Не знаю вот только, на покорение ли града братца своего поедет моя Софья или на очередной позор?

- Перекреститесь, Илья! - покачала головой Елизавета Григорьевна. - Ваша картина будет центром выставки. Я думаю, что ничуть не ущемляю этим своим приговором ни Василия Дмитриевича, ни Виктора Михайловича. «Бабушкин сад» Василия Дмитриевича, его «Лето», его «Удильщики» и лиричны, и прекрасны... У Виктора Михайловича...

- Ну, что вы оправдываться взялись! - засмеялся Васнецов. - Мы принимаем это. В храме каждая икона - драгоценность, по алтарь есть алтарь. Софья - сама кровь и плоть нашей истории.

- Стасов после вашей «Софьи» на руках вас будет носить! - обещала Елизавета Григорьевна.

- Для меня все его громы и молнии - пустой звук! - рассердился Поленов. - Он столько раз демонстрировал свое дилетантство, а то и просто невежество в вопросах живописи.

- У нас, коли не кончал Академии, так уж и дилетант! - замахал руками Репин. - Мне слово Стасова очень дорого. Сам же упивался его статьями о Всемирной выставке. Да ведь как раскатал-то всех этих господ! - вскочил, потрясая над головой кулачком: - «Я обвиняю судей, судивших наше искусство на Всемирной выставке, в том, что они присудили свои награды только тем художественным произведениям нашим, где не было никакой, не только русской, но вообще какой бы то ни было национальности!»

Обессиленный упал на стул, залпом выпил чай, просиял Поленову глазами.

- Вася, друг! Ну, кто еще мог так тарарахнуть! Кто, кроме Стасова?!

И тут в столовую вошел Савва Иванович.

- Баталии в разгаре. Здравствуйте, друзья! - сел, взял у Елизаветы Григорьевны чашку. - Рад, что удалось сегодня всем собраться. А то ведь, наверное, в Петербург поедете, на открытие выставки. Да и сам я в Петербург собираюсь... Елизавета Григорьевна, по глазам вижу, не посвятила вас в нашу совместную с ней затею, которая может осуществиться только с вашей помощью... Вы все создаете не только большие полотна, которые оседают в чьих-то частных коллекциях, то есть доступны чрезвычайно ограниченному кругу людей. Но ведь у вас и рисунков много, а рисунок - это произведение самое демократическое. Печать его, во-первых, не искажает, а во-вторых, делает доступным для всего народа и для всей России, на Соловках и на Камчатке. Мы с Елизаветой Григорьевной затеиваем серию альбомов под общим названием «Рисунки русских художников».

- Савва Иванович! - Репин раскинул руки. - Ваш альбом - вот он за столом сидит.

- А сколько нужно рисунков? - спросил Васнецов.

- Рисунок по три. За качество ручаюсь. Они будут выполнены фототипией в мастерской Шерера и Набгольца. Я уже к Крамскому со своей идеей стукнулся. И он прислал работы. Я человек скорый, но целый день сегодня терпел, чтоб поглядеть присланное вместе с вами.

Быстро поднялся из-за стола, принес большой пакет и ножницы.

Репин вскрыл пакет, развязал тесемку на картонной папке. Открыл.

Все уже грудились за его спиной. Всполошенные приятной новостью, готовые прикинуть, как они будут глядеться рядом с маститым Крамским... И стало вдруг тихо. Так тихо, что Елизавета Григорьевна, наливая чай в опустевшую чашку, торопливо закрыла кран.

Рисунок назывался «Встреча войск». За окном войска, у окна дети, кормилица с младенцем на руках и плачущая вдова.

- Это он о себе, - сказал Репин.

Слова показались лишними, потому что все сразу поняли, это Крамской о себе.

Посидели еще с час, притихшие, посерьезневшие. Прикинули, кто что даст в альбом, разошлись по домам.

- Вы, пожалуйста, Виктор Михайлович, дайте мне свою «Княжескую иконописную», - попросил Васнецова Мамонтов. - Уж очень эту вещь Чистяков мне расхваливал.

- У меня ее нет.

- Сделайте повторение!

- Хорошо, Савва Иванович, попробую. Возвращался домой пешком, но радостно шел, легко, и ветер не мешал, в спину дул.

Дома Александра Владимировна встретила красными от слез глазами.

- Саша! Что?!

- От Мамонтовых слуга их приезжал.

- Да я же от них.  
- Ты пешком, он на лошади.  
- Так что случилось-то?!  
- Мстислав Викторович, - она заплакала.  
- Что?!  
- Мстислав Викторович у себя в гостинице...  
удавился.

Сошел с колеса жизни хороший, да слабый человек. Погоревали по нем, но у жизни на бегу и радости, и горести скорые.

Мамонтов, уезжая в Петербург, заплатил Васнецову за три рисунка для альбома. Васнецов дал «Подружек», «Богатыря» и вариант «Княжеской иконописной».

Расплатились с мелкими долгами по лавкам, Крамскому двести рублей отправили, просроченный уже долг.

А тут приспели выставочные волнения.

Седьмая Передвижная выставка открылась 23 февраля в конференц-зале Академии наук.

Чтобы уничтожить успех передвижников, президент Академии художеств, великий князь Владимир, в те же самые дни в залах Академии художеств открыл шумно разрекламированную экспозицию Общества выставок художественных произведений, а чтоб уж изничтожить всепобедно и окончательно, были выставлены картины иностранцев, и среди них «Ромео и Джульетта» Макарта.

Крамского это открытое соперничество только распалило, а вот Павел Михайлович Третьяков волновался: «Выставка открыта в пятницу, - писал он 28 февраля Ивану Николаевичу, - за все эти четыре дня, т. е. по вторник, ни в „Новом времени“, ни в „Голосе“ нет никакого объявления... Может, ваше серьезное Товарищество хочет совсем обойтись без объявлений? Но ведь нельзя же без этого: под лежащий камень и вода не течет, да, наконец, для публики Вы обязаны



дать публикации. На днях мой знакомый москвич из гостиницы приказал кучеру везти себя па выставку в Академию наук. Кучер с Николаевского моста подвез прямо к Академии худ., знакомый приказывает везти дальше, но кучер говорит: „Здесь, будьте покойны, как нам не знать! Эта самая выставка и есть“, так что мой знакомый должен был осмотреть прежде Академическую выставку, и потом уже попал на Вашу. Это был Савва Ив. Мамонтов, причастный к делу искусства, ну а другой бы, может быть, и совсем не попал на Вашу выставку».

Позже объявления были даны во всех петербургских газетах, но в успехе своей выставки, в ее превосходстве над академической Крамской не сомневался нисколько. Он писал Репину: «Сегодня я, наконец, поставил Куинджи, и... все просто ахнули! То есть я Вам говорю, выставка блистательная... в первый раз я радуюсь, радуюсь всеми нервами своего существа. Вот она настоящая-то, то есть такая, какая она может быть, если мы захотим. Скажите Васнецову, что он молодец за „Преферанс“. Не знаю, общий ли тон выставки так влияет или в самом деле выставка далеко за уровень, только я хожу и любуюсь. Поленов молодец, а о Маковском (Владимире. – В. Б.) и говорить не следует – перед его картиной плачут, перед Вашей приходят в ужас».

О «Царевне Софье» у Крамского было очень высокое мнение. Он писал Стасову: «Какой Репин!! После долгих полунеудач и полуудач он, наконец, опять решительно и резко отличился. Его „Софья“ – историческая картина. Больше всех, сердечнее всех я радуюсь за Репина. Вы знаете, сколько на него было лаю, ему нужно было отмстить всем этим деревянным чурбанам, ну, и он отмстил!»

Самому Репину он писал еще более восторженно и ярко: «„Софья“ производит впечатление закрытой в

железную клетку тигрицы, что совершенно отвечает истории. Bravo, спасибо Вам!.. Ваша вещь где хотите была бы первую, а у нас и подавно! Вы хорошо утерли нос всяким паршивцам».

У Стасова, однако, было свое особое мнение, восторги Крамского его не смутили. «Софью» он разобрал в заключительной части своей большой статьи «Художественные выставки 1879». Статья эта была напечатана в мартовских номерах «Нового времени». Стасов отказал Репину в самом даре исторического живописца. «Для выражения Софьи, этой самой талантливой, огненной и страстной женщины Древней Руси, – продекламировал он свой приговор, – для выражения страшной драмы, над нею совершившейся, у г. Репина не было нужных элементов в его художественной натуре. Он, наверное, никогда не видал собственными глазами того душевного взрыва, который произойдет у могучей, необузданной натуры человеческой, когда вдруг все лопнуло, все обрушилось, и впереди только одна зияющая пропасть. А художник-реалист, сам не ведавший, тотчас же теряет способность создавать...»

И вдобавок обвинил в сочинительстве, под которым понимал позерство, театральщину. И это в столбом стоящей Софье.

Вот оно искусство! Один зритель видит в Софье – тигрицу, другой тоже хочет видеть тигрицу, но в этой Софье он не находит то, что ему нужно. И вот что такое критик! Приговор объявляется во всеуслышание, без сомнения в своей правоте, причина якобы неудачи после словесного витийства отыскана в самом художнике: реалисту исторический жанр заказан.

Споры спорами, а выставка и впрямь получилась выдающейся. Признал это и Павел Петрович Чистяков, он писал Репину в Москву: «Наша выставка больше Вашей и есть хорошие работы, но впечатления... не

производит, много дряни, а делать нечего – надо принимать. Еще раз пойду к Вам на выставку. Шишкина ничего нету, а хотелось бы... Куинджи все так же не исчерпывает всего, но молодец. Дай ему бог и впредь так. Все пути хороши, только работай во всю мочь и от души».

У Шишкина на выставке были две небольшие работы – «Песчаный берег» и «Этюд». Чистяков воспринимал их именно как этюды – не картины.

Куинджи и Репин привлекли самую широкую публику, петербуржцы торопились не прозевать – выставка была открыта всего на шесть недель. Кстати, Куинджи, дорабатывавший свои картины, еще и задержал открытие на несколько дней.

Нежданно для устроителей приехал посмотреть картины Александр II. Он не только был внимательным зрителем, но и сделал покупку, осчастливив царственной милостью «Русалок» Константина Маковского.

Для борьбы Крамского с Академией посещение царя было очень важным. Иван Николаевич писал Третьякову: «Слышали? государь был! а ведь мы и не думали, да-с, оно, того, приятно... вытянутые лица в Академии художеств! На здоровье!!»

Третьяков восторгов Крамского не разделял, ответил на письмо тотчас: «Если бы не было К. Маковского, может, не был бы и государь! Адлербергу нужно было устроить продажу, ну вот государь и на выставке!.. Я не вижу особой благодати в борьбе с Академией, на это тоже время требуется, а его так мало. Тесный кружок лучших художников и хороших людей, трудолюбие да полнейшая свобода и независимость – вот это благодать!»

Кружок лучших подбирался великолепный, мастерство совсем еще молодых крепло на глазах. Куинджи на Седьмой выставке показал «После дождя»,

«Север» и «Березовую рощу», Репин «Софью», Поленов «Бабушкин сад», Крамской собирался выставить «Лунную ночь», которую сначала называл «Дедушкин сад», но из-за поленовской работы переименовал ее в «Старые тополя», в «Волшебную ночь», но картина была не совсем готова, Крамской подумывал закончить ее к показу в Москве, но тут умер его сын Ваня... Не до картин стало. На Седьмой выставке у Крамского были портреты Ф. П. Корниловой, жены Софьи Николаевны, певицы Елизаветы Лавровской...

А что же «Преферанс»?

Третьяков картину эту не приобрел, а критика ее похваливала, даже Стасову она нравилась. Вот что он написал о «Преферансе» тридцать лет спустя после выставки: «Меня привела в восхищение эта милая, комическая сценка из мира маленьких чиновников, как они серьезно ведут свое важное дело – преферанс, как иные из них тут же ведут другие важнейшие свои дела – запрокинув голову, пропускают рюмочку или же смертельно скучают, коль скоро нет бумаг перед носом, – все это было великолепно, все это было полно наблюдательности, меткости, комизма, юмора, все это ставило Васнецова в ту самую категорию, где создали такие великие вещи Перов и Влад. Маковский. И я кончил один свой отзыв о Васнецове такими словами: „Пусть, пусть г. Васнецов испытывает свое дарование на разных задачах. Должно быть, он, наконец, сыщет свою настоящую дорогу“».

Похвала? – Похвала. Но не понял великий судия ни эти картины Васнецова, которые поднял, ни картину Репина, которую утопил.

Недобрыми глазами долго, пристально, как чужой, рассматривал свое «Поле побоища» Виктор Михайлович.

– Темнее должна быть картина. Приглушеннее! – сердито поглядел на Аполлинария. – Я слева в нижнем углу начал темнить – вместо темени только грязь

развел. Пришлось птицу намазать. Да и птицы не получилось – какой-то ворох перьев... Иной раз пожалеешь, что не пьяница. Там вся жизнь: трын-трава.

Бросил кисти, сел на диван, опустив голову и руки.

– Ну, кто это купит? Царю, что ли, это надо? Царю нужны победы, а здесь – поражение. Здесь наших больше лежит, чем половцев. Скажут: не любит Васнецов русских людей... В общем, еще одна пропащая картина, – опять сердито покосился на молчащего брата. – Ты-то что думаешь?

– Думаю, все очень хорошо.

– Хорошо!! – хлопнул ладонями по коленкам Виктор Михайлович. – До того хорошо, что из дома бежать хочется.

Вскочил, оделся, ушел.

– Куда он так скоро? – вышла из спальни Александра Владимировна.

– Не знаю, – и тоже стал одеваться. – Дайте мне денег, я в лавку за хлебом схожу, картошка тоже кончилась. Надо бы в мундирах сварить. Виктор любит, когда в мундирах и чтоб рассыпчатая. С луком, с капустой да с крупной солью. Без всякого масла.

Суп сварили с пельменями. Картошку в мундирах. Капусту Аполлинарий с клюковкой купил. И соль крупную, и калачей к чаю. А старший брат не пришел обедать. Вдвоем обедали.

Аполлинарий, начитавшись Забелина, про житебыть старых русских цариц рассказывал, как замуж за царей выходили, во что рядились, что кушали. Умиляло: царица по дороге в Троице-Сергиев монастырь от крестьянок пироги брала, квас, отдавая деньгами. А детишкам своим, царевичам да царевнам, на гостинец морковку покупала.

– Просто жили: с бога начинай – господом кончай, – согласилась Александра Владимировна.

- Да уж молились все триста шестьдесят пять дней в году! - Глаза Аполлинария сверкнули вызовом. - Вот и домолились до крепостного права, от которого и поныне никак не отхаркаемся.

- То не нашего ума дело, - прекратила опасный разговор Александра Владимировна.

За окном темень, а Виктора Михайловича все не было.

- Пойду за дровами, - вздохнул Аполлинарий, - пора на ночь затапливать.

Виктор Михайлович пришел, когда Александра Владимировна ужин на стол собирала. Принес сверток под мышкой. Развернул.

- Кольчуга! - Аполлинарий даже в ладоши хлопнул.

- Кольчуга! - радовался Виктор Михайлович. - Завтра ты ее примеришь, а я вот этого, на переднем плане, пропишу, а то кольчужка больше на мешковину смахивает.

Подошел к жене, бережно обнял за плечи.

- Ты уж прости дурака! Дорого взяли, но я отработаю. Я эту кольчужку в ста картинах напишу... А это тебе и твоему голубчику, что носишь.

Достал из-за пазухи два апельсина.

- Оранжевые, как солнышко!

- Обедать-то будешь?! - спросила Александра Владимировна, принимая апельсины.

- А как же! Намерзся, бегая по Москве, наголодался. Вымыл тотчас руки, сел за стол, поправляя усы, да и подскочил.

- А ведь сегодня Мамонтовы принимают... Сашенька, прости, но побегу. Савва Иванович из Питера воротился, о выставке будет рассказывать.

Шапку на голову, пальтишко на одно плечо - и бегом, бегом...

- Только мы его и видели, - сказала Александра Владимировна и подошла к зеркалу, разглядывая

подурневшее от беременности лицо и трогая невесть откуда взявшуюся седую прядку над ухом.

Часы устало, нехотя пробили двенадцать. Александра Владимировна, кутаясь в шаль, сидела за столом, глядя на язычок оплывшей свечи. Перед ней белой горкой лежало заштопанное белье. Загляделась на пламя свечи, забыла снять наперсток, забыла нитку перекусить.

Аполлинарий примостился на низкой скамеечке перед открытым подтопком. Дрова сосновые, постреливали. Аполлинарию было жалко Сашу и стыдно за старшего брата. Жена беременна, а братец в гостях веселится без зазрения совести. Хотелось утешить Сашу, как-то отвлечь, но не умел, да и побаивался. Она поймет, что он ее развлекать взялся, тогда слез не миновать.

«Если он будет так себя вести, уеду!» – зло решил Аполлинарий и затолкал в подтопок огромное, толстенное полено, огонь тотчас и сник.

– Лошадь подъехала, – Саша встрепенулась, но только одними глазами. Перекусила нитку, завязала узелок, наперсток сняла.

Аполлинарий наострил слух, но лошади не слышал, и вдруг заскрипел снег, отворилась входная дверь. И вот уже пахнуло морозом из прихожей.

Аполлинарий упрямо глядел в печь, чтобы показать брату обиду. Саша тоже не поднялась, такая тяжесть вдруг на плечи ей навалилась – не вздохнуть.

Виктор Михайлович осторожно вошел в комнату, прислонился плечом к дверному косяку.

Молчали.

– Сердитесь? – спросил тихонько, чуть виновато и чуть улыбаясь.

Прошел к столу, положил на круглую филейную салфетку толстую пачку денег.

– Хозяйствуй, хозяйка.

- Виктор, ты извозчика ограбил! - Глаза Саши уже собирались в счастливые щелочки.

- Ограбишь их! Целковый содрал. И пришлось дать, никогда таких денег при себе не держал. Да и не видывал.

- А у нас краски как раз кончились, - сказал Аполлинарий.

- На краски хватит. На всё хватит. Это только задаток. Савва Иванович заказал мне сразу три картины для кабинета Правления Донецкой железной дороги. Три! А что, про что - это уж как я сам захочу! - Он сиял, лицо, глаза, руки. - Саша, Аполлинарий! Вы понимаете это, три картины по моему собственному вкусу. И деньги на жизнь.

Они смотрели на деньги, не очень-то веря своим глазам.

- Давайте чайку выпьем, - сказал просительно Виктор Михайлович. - После любых застолий - хорошо чайку попить, домашнего.

Взял свечу, быстро прошел к своей картине.

- Аполлинарий!

Аполлинарий, разводивший самовар, пришел с сапогом в руках.

- Я для Саввы Ивановича решил старую свою задумку исполнить. Напишу «Ковер-самолет». И еще мне одна сказка на ум скакнула, про трех цариц подземного царства.

- Это здорово, наверное, будет! - обрадовался Аполлинарий.

- Вот и я думаю, что здорово, - поднял свечу, разглядывая картину. - А знаешь, по-моему, все тут на месте, и цвет есть, и настроение.

- Да еще какой цвет! После твоей все картины черными покажутся.

- Не такая уж скверная штука - жизнь, но сколько же ей от нас терпения нужно. Ты помни это, брат. Не



будет в тебе терпения - не будет и художника. Всем приходится терпеть, даже счастливым.

- Самовар поспел! - позвала Александра Владимировна, и голос у нее был счастливый.

В 1879 году Мамонтовы уехали в Абрамцево уже 23 марта - на весну. На весну света, как сказал бы Пришвин.

А для Васнецова весны и в Москве было через край. Его несло в счастливом потоке творчества. Он и привыкнуть-то никак не мог к своему нежданному счастью - писал не то, что Крамскому нравится или что заказала Водовозова, а то, что душа носила и выносила, берегла и уберегла. Впервые в жизни он имел возможность быть в картинах своих самим собою.

Он писал «После побоища Игоря Святославича с половцами», набрасывал «Ковер-самолет», начал «Три царевны подземного царства». Все это была сказка, воспрянувшая в нем, как птица Феникс. И все сходилось в одно: жена ждала первенца, а он погружался в детство свое. Чуть не каждый день вспоминались ему странники, приходившие в Рябово, их странные рассказы о райских птицах Сирине и Алконосте и его детская надежда, первая своя надежда на чудо - увидеть ковер-самолет.

Потянуло в Коломенское. Ведь это с коломенской колокольни, размахнув самодельные крылья, сиганул мужик, пожелавший для себя и других мужиков птичьей свободы. Вот и Виктор Михайлович чувствовал в себе птицу. Птицу из-под облака!

Снега горели как жар. Белые утесы, нависшие над Москвой-рекой, вобрали за долгую белую зиму столько света, что он уже не помещался в их недрах и столбами стоял, уносясь в небо легко и светло, как сама Коломенская колокольня.

Она была одновременно и земная, вечная, привет потомкам из допетровских, настоянных на дедовских

медах времен, и вся небесная. Как стрела в полете.

«Мы-то себя за ученых да умелых почитаем, – думал Виктор Михайлович. – В старину-де щи лаптем хлебали, а у них вот – Коломенское. Да разве оно такое было! Теремной дворец в прошлом веке еще развалили. А он и на чертежах – стати лебединой».

И понял – «Ковер-самолет» должен быть прост, как эта колокольня: она да небо. И на картине так же вот надо сделать: небо да ковер-самолет с Иваном-царевичем и царевною. И никаких ухищрений.

Думал о ковре-самолете, а писал «Побоище». И что-то слабело в нем, какая-то опора была нужна. Но жена в себя уходила, первый ребенок – первый страх за две жизни разом, ей самой была нужна и нежность, и крепость. Брат слишком молод для откровенных бесед, Репин, обиженный Стасовым, уехал в Чугуев. Мамонтовых отрезало в Абрамцеве залихватское половодье тихой речки Вори. И тогда Васнецов пошел к Третьяковым, за музыкой пошел.

Его приняли как своего, близкого человека, да он и неприметен был. Садился в уголок у печки и слушал кипение чужих страстей, которые до слез близки, которые соединяли душу с душой всего человечества. Наполненный до краев, как заздравный кубок, он спешил из Толмачевского переуллка в свой Третий Ушаковский, прозрев в очередной раз и торопясь озарить светом прозрения, светом музыки мир красок своих.

В. М. Лобанов, который так безжалостно олитературил живое слово Виктора Михайловича, его высказывание о музыке сохранил более или менее близким к подлинному:

«Я всегда хотел, чтобы в моих картинах зрители чувствовали музыку, чтобы картины для каждого звучали. Не знаю, насколько мне удалось это, но я всегда к этому стремился, считал одной из первых

своих обязанностей как художник. На это в значительной мере меня натолкнула Москва, и ей я многим обязан. Когда я писал „Побоище“, я ощущал творения Баха, „Богатыри“ дышали Бетховеном, а „Снегурочка“ звучала мелодиями наших песен и музыкой Римского-Корсакова. Эти чувства и желания во мне зародили, должно быть, музыкальные вечера в Толмачевском переулке, когда я ни жив ни мертв, сидя в гостиной у печки, упивался звуками, наполнявшими комнату».

Не кистью единой написаны лучшие картины Васнецова. Они не только смотрятся, но и звучат, ибо созданы двумя стихиями – в цвете и в звуках.

Жить на одной московской земле с Мамонтовыми и месяцами не видеть их было уже немыслимым. Репин все еще был в Чугуеве, а его семья уже перебралась в Яшкин дом, специально построенный Саввой Ивановичем для художников.

Приехали Праховы из Петербурга, сняли дачу в Монрепо. Грозилась нагрянуть в гости Боголюбов из Парижа и Крамской – из столицы.

Васнецовы сняли дачу в Ахтырке, в трех верстах от Абрамцева.

Этюд, подаренный Поленову, не есть ли вид с террасы этой дачи? Деревянные перила со следами давно смывшейся краски. Дерево старое, ветхое, перила узкого, длинного крыльца загуляли, одна тумба в одну сторону, другая – в другую. Но дорожка от крыльца посыпана свежим желтым песком, значит, место жилое. Слева – цветущая липа, справа кусты бересклета – тоже зацветшие. Вдали березка. Птицы, наверное, в таком месте звонкие. Людям в радость и высокая трава, и заросли кустарников, и сладкий запах липы, и лепеты березовой листвы.

Занепогодило. Июнь светил долгими зорями, не пуская ночь на порог, но дыхание видно, воздух зимний,

колючий. В лесу совы охают.

Виктор Михайлович перед сном выходил из дому, чтоб, затаясь, побыть наедине с молчанием насупившихся к ночи елей, с опоздавшей на гнездо птицей, с тишиной, которую разрушает даже капля росы, неудержавшаяся на ольховом листе.

В такую вот чуткую минуту Виктор Михайлович и увидел над собой сову. Беззвучная, головастая, она походила на кудлатого лесного человечка.

«Надо нарисовать сову», – подумал он.

Сова боком, боком улетела за елку, и оттуда тотчас выпорхнула, мигая крыльями, как ресничками, летучая мышь. Он проследил суматошный ее полет, и взгляд его остановился на чистом полотне неба. Оно было медное, медленное. И по нему над черным горизонтом стлалось сизое, в белых разводах, из иных стран, из холодных, ночных, – облако.

«Господи! – подумал он. – Это ведь Родина моя!»

Холодно было, руки мерзли – в июне-то! – но сладко. Он опять вспомнил себя, рябовского, который в нем забылся совсем в городах, а это был – очень нужный для художества человек, потому что тот человек, тот мальчик знал о сокровенном больше бородатого, женатого дяди, двойника своего. Тот мальчик был частицею земли и неба, и теперь нужно вспомнить, что это такое – быть частицею земли и неба.

Ночью 9 июня ударил мороз.

Виктор Михайлович проснулся до свету от холода. Поглядел в окно: звезды полыхают, а земля... белая. Одедся, вышел на террасу: деревья по пояс в инее. «Хлеба побьет!»

Утром пошел в Абрамцево. Дома одни слуги.

– Елизавета Григорьевна с дочерьми в Киев уехала. Савва Иванович – па работе, а мальчики с Василием Дмитриевичем на реке.

С реки доносились звоны хорошо точенного топора и хорошо просушенного дерева.

Поленов вместе с мальчишками готовил флотилию к летнему плаванью. У Мамонтовых было три лодки: «Лебедь», «Рыбка», «Кулебяка». Последняя была неуклюжа, тяжела, и юные матросы с удовольствием уступали эту лодку взрослым.

- Ты что не работаешь? - спросил Васнецов Василия Дмитриевича.

- Как же это не работаю? Мы очень даже работаем. Неделю напролет, - и отдал приказ команде: - Несите сухие дрова, разводите костер, будем смолить «Кулебяку».

Ребят как ветром сдуло.

- Эх, Виктор, - сказал Поленов, улыбаясь невесело, поживаясь от неловкости. - У Репина что ни картина, то эпоха. Ты тоже вышел на проезжую. Куинджи - нарисовал березы и весь белый свет обрадовал. А что я? Всё умею, все знаю... Отдача же самая ничтожная - бабушкин сад, московский дворик. Это так мелко. Верещагин с войны - войну привез, а себе славу трубную. Я тоже кинулся в пекло, и опять - пшик. Пишу мои военные картины, заранее их ненавидя и самого себя тоже. Лучше уж топором тюкать.

- Ледок на речке-то! - удивился Васнецов.

- Ледок. Вон как листья на кустах обвисли. Убиты морозом на взлете лета.

- Ты не прав, - сказал Васнецов. - Твой «Дворик» купил Третьяков. А этот человек не ошибается. Он пустое не купит.

- Спасибо тебе, - сказал Василий Дмитриевич. - Я и сам знаю, что это само по себе неплохо... Гордыня, видно, заедает. Хочется прикоснуться к вечности, ну а какая вечность в московском дворике? Милая штучка - и все... Приходи вечером, мы пойдем на лодках Савву Ивановича с поезда встречать.

- Да тут по реке версты три до станции!

- То-то и оно. Настоящее плавание.

- Нет, я лучше попозже приду, когда Савва Иванович отдохнет с дороги.

Подходя к усадьбе, братья Васнецовы слышали какие-то странные удары дерева о дерево. За дубами было не видно, и шли, гадая, что это за плотницкие работы?

Да и засмеялись, как вышли к дому: дети играли в городки.

- А нам можно? - спросил Виктор Михайлович.

- Можно!

- О! Тогда и нас примите! - крикнул с крыльца Репин.

- Приехал? - обрадовался Виктор Михайлович.

- Да не один, вот знакомься - Тоша Серов. Не смотри, что у него на губе пушок едва пробивается, в рисунке меня побивает. Честное слово! Ну что, сыграем? Ахтырка на Яншин дом!

«Народ» запротестовал, играть всем хотелось. Стали делиться на две команды. В одной - Васнецовы, в другой Репин и Савва Иванович, а дети «сговорились».

Городошное сражение шло до темноты.

Потом отправились в дом пить вечерний чай, и тут затеялись, как вспоминает В. С. Мамонтов, «Литературные городки». «Каждая партия громила своего противника стихами, тут же иллюстрируемыми Васнецовым и Репиным».

Домой идти было поздно, и братья Васнецовы пошли ночевать к Репиным, в Яшкин дом. Савва Иванович их провожал.

Свет из окон выхватывал обвисшие, как тряпки, листья.

- Погибла зелень! Теперь уж не отойдет, - сокрушался Виктор Михайлович. - Ох, господи! Крестьянам-то какая беда!

- Умный хозяин - пересееет, пересадит, а тот, что на авось надеется да на бога, молебен отслужит, а зимой по миру пойдет! - Репин говорил сердито. Он писал «Крестный ход» и нагяделся всяческих святош.

- Ты не трогал бы, Илья, бога, - сказал серьезно Васнецов-старший.

- Религия, Виктор, - дурман!

- А может быть, спасение?

- Дурман, Виктор!

- Спасенье! От безверья - спасенье. От нигилизма. Нигилизм - это яловая корова, отрицание ничего еще не создало, создает - вера.

- Может, вера и создает, но только не та, что - в бога.

- Нет, в бога! Бог - это добро, а то, что против бога, то на стороне зла.

Аполлинарий, друг Степана Халтурина, слушал брата, улыбаясь, но в разговор не вмешивался.

- Вы действительно верите в бога? - спросил Виктора Михайловича Мамонтов.

- Верую.

- Это в тебе попович сидит и твоя убогая семинария! - хмыкнул Репин.

- Нет, Илья. Во мне сидит иное. Во мне сидит уважение к моим предкам. Я не думаю, что мы умнее Ярослава Мудрого, святого князя Владимира, святой княгини Ольги, что отечество наше мы любим сильнее Ильи Муромца. Это мы нынче далеко от них, а пройдет тысчонка-другая лет, и для потомков наших мы будем с Петром Первым и с Ярославом Мудрым - самыми близкими современниками.

- А ведь в этом вы правы, - согласился Савва Иванович.

- Ура! - закричали вдруг мальчишки, увязавшиеся с отцом проводить гостей.

- Вы что, тоже сторонники православия? - удивился Савва Иванович.

- Нет, - сказал Сережа. - Мы сторонники господина Васнецова.

- Да когда же это вы успели покорить моих детей? - изумился Мамонтов.

- Ну, коли дети за него, так я сдаюсь, - сказал Репин. - Признаю - Ярослава Мудрого я не мудрее, а с моим тезкой Ильей мне, замухрышке, силой тоже не мериться.

- Э, нет! - не согласился Мамонтов. - Вы и есть наши три богатыря: Репин - Васнецов - Поленов.

- А Серов у нас будет Садко - Богатый Гость, - принял своего юного друга в богатыри щедрый Илья Ефимович. - Ты знаешь, что это за чудо-мальчик, Виктор?! Я сказал тебе, что он рисует, как я, а он рисует лучше меня. Не веришь?

- Не верю.

- А, понимаю! Думаешь, очередной репинский восторг. Нет, брат, этот мальчик - будущий гений. Помяни мое слово. Да ты завтра сам в этом убедишься.

Рисовали Соню, племянницу Саввы Ивановича.

Репин красками, Антон - карандашом. (Речь идет не о каком-то другом Серове, о Валентине Александровиче. Для своих Валентин Серов с детства был Антоном. Сначала называли Валентошей, потом короче - Тошей. Тоша вскоре превратился в Антона.)

Соня была удивительно хороша. Илья Ефимович, вновь влюбленный в свою милую Украину, уже грезил «Запорожцами», а потому и Соню одел в украинский костюм. На Соне мониста, она среди цветов, а в прекрасных глазах ее молодость, жизнь, по и скорбь. Она совсем недавно потеряла отца и приехала в Абрамцево к любимому дяде, чтобы побыть на людях.

Людей же в доме Мамонтовых было множество, и все такие умные, веселые, такие придумщики. Савва



Мамонтов был в те годы на волне делового успеха. Дела его имели значение общерусское, общегосударственное – он построил железную дорогу сначала на юг, соединив заводы центра с каменным углем Донбасса, а потом принялся строить дорогу на Север, к потаенным за тремя печатями богатствам. К удачливым тянутся, да ведь и родственников было много.

Мамонтовы, Третьяковы, Якунчиковы, Сапожниковы, Боткины, Хлудовы, Коншины, Алексеевы – все эти купеческие роды связаны кровными узами.

Павел Михайлович Третьяков был женат на Вере Николаевне Мамонтовой. Сестра и самая близкая подруга Веры – Зинаида Николаевна в замужестве Якунчикова. Савва Мамонтов женат на Лизе Сапожниковой, отец которой был купцом первой гильдии. Брат Третьякова Сергей первым браком сочетался с Елизаветой Мазуриной. Одна из ее сестер вышла за Дмитрия Петровича Боткина, богатея и собирателя картин, другая стала женой директора Трехгорной мануфактуры, третья в замужестве носила фамилию Алексеева.

Старшее поколение деловых людей было еще и влюбленным в искусство, и неудивительно, что их отпрыски связывали свою судьбу с людьми искусства. Дочь Третьякова Вера вышла замуж за пианиста Зилотти, дочь Варвары Сергеевны Мазуриной была за ректором Академии художеств Беклемишевым, Коншины породнились с Чайковскими, их дочь Параша была замужем за Анатолием Ильчом. Кузина Елизаветы Григорьевны Мамонтовой Наталья Якунчикова – жена Поленова. Зинаида Николаевна Якунчикова (Мамонтова) была пианисткой. Одного из Алексеевых мы знаем как Станиславского, и список этот можно продолжить.

Талант зажигается от таланта. А в Абрамцеве огоньки в то неласковое лето разгорелись в пламя,

которое светило многим, да и теперь еще светит удивительной памятью по себе.

- Вот! - Репин выстлал перед Васнецовым пол рисунками, своими и серовскими. - Вот! Ну, кто кого превзошел? Здесь - равны, и здесь - равны. «Яблоки и листья» - у меня все-таки лучше.

- Да нет, пожалуй, - возразил Васнецов. - У тебя - горизонтально, у Антона - квадрат, вся разница.

- Я это нарочно сказал. Молодец, мальчик! Быть ему мужем! Вот, Виктор, что такое - хороший учитель. Антон рисует все, что я рисую. Мастер от мастера перенимает, мастер у мастера научается... Мы были бы с тобой на голову выше, будь у нас в юности хорошие учителя. Нам еще с Чистяковым повезло. Антон!

В комнату вошел, помедлив, Антон. Серьезными глазами посмотрел на учителя, на Васнецова.

- Вот что, Антон, - сказал Репин. - Тебе пора к Чистякову в учебу. Мы с Васнецовым - практики, по земле ходим. А тебе надо и в сферах повитать. Чистяков - идеалист, а идеализм юной душе полезен. Не надолго, но полезен. Осенью поедешь к Чистякову.

• Но до осени еще было далеко. Вернулась из Киева Елизавета Григорьевна. В доме стало еще радостнее. Все рисовали, выдумывали, музицировали.

Разгорелся творческий огонек и в Аполлинарии. За осень и зиму он написал всего три небольших работы: «Вятский пейзаж», «Подсеку» и «Старую дорогу». Теперь же работал много, жадно. Для уединения сбегал из Ахтырки в Москву, ходил писать этюды на Воробьевы горы, в Нескучный сад... Брат достал ему работу в петербургских журналах, появились небольшие, но свои, заработанные рисованием деньги.

Такой легкой, умной, деятельной жизни не бывало еще и у Васнецова-старшего. Утро - творчеству и заботам о Саше, вечером беседы у Мамонтовых, а среди дня - хождения в природу.

Виктор Михайлович окупался в пейзажи Ахтырки с таким восторгом, словно через годы пути попал наконец в тридевятое царство.

- Саша! - признавался он жене. - Я влюблен!

- Боже мой, пропала!

- О нет, Саша! Я влюблен в тебя, в твое материнство, в абрамцевские дубы, в тощие осинки па низинах Ахтырки.

Начатые картины сил забирали много: и «Побоище», и «Ковер-самолет», и «Три царевны». Последняя картина, оставленная на потом, вдруг за последние дни двинулась, да так скоро, что хоть все отложи, а ее кончай. Удача - самый скорый работник. Ладно да складно написалась младшая царевна. И лицо, и зыбкий голубой самоцвет в ее черной простоволосой головке. У сестер короны, кокошники, а у младшей - один камешек, но как горит! И как она мила, и как печально прекрасна! Главное, живая. Она не подавляет в себе чувств. Старшие, матерые красавицы царевны все в себе, холодны, недоступны. По их лицам не поймешь, что у них в груди. А младшая рученьки заломила, страдает. Любовь к человеку изведала, самой человеческой любви...

Кое-где еще тронуть - и картина будет совсем готова. Тут бы, коли разумным быть, и поторопиться. Ведь заказная... Сбыл - и свободен для иных, высоких замыслов.

Не тут-то было. Душа не желала расставаться с картинами. Душе виднее: дитё, может, и вызрело, а все ж не родилось еще.

Доделывать, дотягивать - терпение нужно, а новые неясные, неведомые образы одолевают, теснят грудь, ворочаются в душе огромно, захватывая дух. Что они такое - ум не знает, а на сердце то радость буйная, то тоска и томление - и тоже мятущиеся.

Встал затемно. На далеком пруду у него сыскался этюд - удивительное место, с которого подглядел, кажется, саму Тишину. Он так и называл про себя этот свой этюд: «Затишье». Сосны, гладь воды, плес, лес. У природы, как у человека, тоже есть свои потаенные уголки, где она благодатно отдыхает, ничего нового не затевая. Тихая вода, неподвижный воздух, молчащий лес. Так все просто и так вечно.

Виктор Михайлович не торопился. Поставил мольберт, выдавил краски на палитру, тщательно смешал их. Потом пошел к воде, умылся, вытер лицо и руки платком. Было еще темновато, и Виктор Михайлович уже в нетерпении поглядывал на небо, которое сегодня тоже не торопилось начать увертюру...

Он пошел поглядеть, что тут, за зеленой стеной бересклета, и опять очутился у воды. Но здесь была иная вода. Черная, старая, а может быть, и древняя. По берегам росла не осока - тучный таинственный аир. Сгнившее на корню дерево, может, век тому назад ухнулось вершиною в омут, и уж не понять, что это было за дерево: черное, осклизлое - приют подводных каракатиц.

Возле корневища из-под воды что-то светилось. Похоже и на луну, и на человеческое лицо. Васнецов вздрогнул, шагнул ближе - и перевел дух: камень! Обыкновенный камень.

«Аленушкино место», - подумал он.

И удивился: с чего бы сказка припомнилась, да не больно-то любимая... В детстве ему всегда становилось страшно, когда их милая стряпуха рассказывала об Аленушке, которая с камнем на шее со дна братцу-козленку советы дает, не о себе печалуясь, о нем, о братике. Более горькой сказки не было в его детстве.

Он глянул на небо и кинулся бегом к мольберту: драгоценные полчаса обмиравшей по красоте природы истекали.

Возвращаясь домой, он не сделал крюка, чтоб постоять еще раз над старицей, но он думал... об Аленушке. Только не надо, чтобы зрители испытывали страх, который с детства поселился в нем. Нужно иное! Нужно Аленушкино сердце, которому цены нет.

И перепугался. А где же ее взять, Аленушку? Ведь тут хорошеньким личиком не обойдешься. Здесь иная красота должна торжествовать. Красота боли и печали по всем болям и печалям. Русская исконная красота. Небось скажут, сказка, а это – жизнь. Маленький-то человек, дитя, страдает за весь белый свет куда горше взрослых – ко всему привыкших. И за отца с матерью страдают: отец мать побил, и за нищету свою, и за то, что хам да мерзавец и богат, и миром правит. Все ведь видят детские глаза, все понимают. И правду, и неправду. Для правды – радость, для неправды – опять-таки сердечко. Журавлик без крылышек.

Васнецов вышел к ржаному полю. Поле струилось под ветерком. Хорошее поле. Летний мороз, кажется, ни одного стебелька не задел. На высоком месте. Счастливый хозяин.

Васнецов повернул на тропинку, ведущую через молоденькие елочки на проезжую дорогу. Нагнулся, чтоб сорвать василек для Саши. Сорвал, а когда распрямился, увидел в пяти шагах от себя – Аленушку!

В нем так и замерло все, как перед прыжком вниз. Это была она! Она – русская душенька, на веселых, на быстрых, на девичьих ногах.

– Постой, девочка! – крикнул он ей вослед, взмахивая беспомощно руками, как перед чудобабочкой, прилетевшей неведомо откуда. – Я нарисую тебя!

Девочка остановилась, но решительно замотала головой.

– Да чья ты? Откуда?

Она указала рукой на деревушку, выглядывающую из-за леса, и, поскакивая то на одной, то на другой ноге, умчалась.

Уже листва на осинах обрадовалась скорой осени, уже бурьяны на пустырях свалялись, как шерсть на паршивой собаке, а в Абрамцеве готовились к самому праздничному празднику.

1 сентября - день рождения Елизаветы Григорьевны. Тут не только приготавливались подарки, но и сами люди преображались, собирали всю свою радость, всю фантазию, призывая на помощь детство. Взрослые ведь тоже могут играть! Да как еще хорошо! Но для этого надо быть счастливым.

М. И. Копшицер в своей книге «Мамонтов» пересказывает репинскую картину, под которой подпись: «1 сентября 1879 года».

«...Детский праздник в лесу. Видна со спины фигура Елизаветы Григорьевны, исполненная какого-то вдохновенного изящества. В поднятой ее руке - горящий факел, свет которого вырывает из тьмы несколько стволов, нижние ветви деревьев, группу ребятишек, идущих следом за Елизаветой Григорьевной. Лишь один мальчик в матросском костюме (судя по возрасту - Сережа Мамонтов) забежал вперед, обернулся, и пламя освещает его лицо, глаза его блестят, он весь - воплощение чистой детской радости. Необычайная картина!.. Это какое-то „нерепинское“ полотно - это похоже на сказку».

Это и есть сказка. Взрослые, собравшиеся в Абрамцеве, чувствовали себя волшебниками. Они знать не знали, что так оно и было на самом деле: они были волшебниками.

Абрамцево роднило души.

Отведавшие общества Мамонтовых уже не могли не тянуться к их дому. А это был именно дом, неразъемное

существо из Саввы Ивановича, Елизаветы Григорьевны, их детей, их друзей.

Кончался добрый 1879 год, принесший Васнецову друзей, картины, замыслы и – девочку! Самую прекрасную на белом свете девочку, потому что она была дочкой.

Под Новый год, 29 декабря у Мамонтовых на Садово-Спасской было представление.

Спектакль ставил Поленов. Взяли последний акт драматической поэмы Аполлона Майкова «Два мира». Поленов играл трагическую роль патриция Деция. Он же сочинил и музыку – песни первых христиан. Роль Лиды исполняла Елизавета Григорьевна. А душою всего предприятия был, как всегда, Савва Иванович. Он и главный декоратор, и осветитель, и гример, режиссер и сценарист, и самый восторженный ценитель актерских дарований! Он восхищался – и все играли прекрасно, на зависть профессионалам.

Распахнув крылья, принимал Виктор Михайлович новый, 1880 год. На Восьмую выставку передвижников он отправил свои самые дорогие картины. Не из тех, о которых говорят: не хуже, чем у корифеев, но свои! Совсем иные песни. Похвалы Мамонтова, Поленова, Репина кружили голову, и Васнецов ждал признания. Его иными песнями были «Ковер-самолет» и «После побоища Игоря Святославича с половцами» на сюжет из «Слова о полку Игореве».

– Снять, убрать, закопать! – острые умные глаза Мясоедова поблескивали по-мышинному.

– Что снять, Григорий Григорьевич? – спросили патриарха передвижничества.

– Маляра снять! Мертвечину!

– Васнецова? «После побоища»?

– И ковер с ушами тоже. Мы – серьезное общество, а нам сказочки для штанишек с помочами предлагают.

– Вы несправедливы, Григорий Григорьевич!

- Я?! Да я одолжение художнику делаю. Разве Мясоедов возражал против «Преферанса»? Я отнюдь не против господина Васнецова. Увольте! Я против направления. Против уничтожения самой идеи нашего Товарищества!

Мясоедов гремел, метал молнии. И у него имелись сторонники. По счастью, Крамской снова был избран в Правление. Он вместе с молодыми членами Товарищества защитил картины Васнецова.

В те годы почта из Петербурга в Москву ходила скорее, чем в наш космический век. Васнецов тоже был порох. Он тотчас отправил в Петербург заявление о выходе из Товарищества.

Год назад вздорно его покинул Куинджи, требовал вывести не только из кандидатов в Правление, но и из самого общества М. П. Клодта. С Куинджи не согласились. Теперь не согласились с Мясоедовым, да еще и потребовали от него письменного извинения перед Васнецовым.

Григорий Григорьевич извинился не без сарказма, Васнецов чуть было не подтвердил своего решения о выходе, но к нему со словами приветствия и поддержки обратились Савицкий, Репин, Максимов, Поленов...

Назревал раскол Товарищества, и Виктор Михайлович, смилив гордыню, забрал заявление назад.

О победах сладко читателям читать, победителям их победы даются такой изнурительной борьбой, что у них и сил иногда не остается для торжества. А уж когда эта победа поздняя, на краю самой жизни...

И вот тут какой вопрос возникает! Отчего же это люди всякий раз умудряются проглядеть гения? Да ладно проглядеть, они умудряются оплевать сегодня то, что завтра сами же и вознесут.

Не странно ли? Где разгадка слепоты и прямой озлобленности против нового? Может, в генах наших?



Ведь стремимся от неведомо когда погибшего Золотого века к Золотому же?

Кажется, вот оно – прекрасное мгновение. С восторгом поклонились «Последнему дню Помпеи» – и довольно бы. Но приходят новые мастера, ниспровергают каноны, и вот уже ужасы Помпеи неестественны и попросту фальшивы. То, что казалось недостижимо прекрасным, вызывает снисходительную улыбку, а то и гримасу отвращения.

Зыбок наш духовный мир. Он податлив на веянья и отзывчив на бури. Но ведь и сама земля нет-нет да и содрогнется под нашими ногами.

Искусство Васнецова, как и все действительно новое и действительно прекрасное, испытано на вечность прежде всего поношением.

Первый булыжник бросил собрат по искусству, град камней – посыпался от газетной братии. Эти не только били, но били, поучая.

«Каким образом могло укрыться от художественной фантазии Васнецова, – вопрошал обозреватель „Московских ведомостей“, – что его персидский ковер не может лететь сам по воздуху? Как не пришло ему на мысль заставить нести его какого-нибудь духа, повинующегося велению волшебного слова? Перенос явлений реального мира на свое полотно, художники не должны забывать, что только дух животворит и что именно этот „дух“ составляет черту, отличающую искусство от грубой действительности».

Какой дурак, не правда ли? А ведь это мнение государыни Москвы устами одного из ее велеречивых критиков. Не оставили «Московские ведомости» без внимания и «После побоища».

«Отчего же картина Васнецова производит с первого раза отталкивающее впечатление? – вопрошает критик и тотчас задает еще более утонченный вопрос: – Отчего зрителю нужно преодолеть себя, чтобы путем

рассудка и анализа открыть картине некоторый доступ к чувству? – Оттого, – поясняет всепонимающий ценитель и судья, – что в картине отведено слишком много места „кадаверизму“ (трупности. – В. Б.). Оттого, что художник, избрав сюжет более или менее фантастический, поэтический, отвлеченный, не воспользовался теми средствами, которыми обладает живопись для передачи таких сюжетов. Картина Васнецова напоминает стихи, переданные прозой».

И все-таки у критика не поднимается рука совершенно изничтожить это странное произведение, где все действующие лица, кроме птиц, мертвы. Он оговаривается: «Картина эта лучше, нежели первое ее впечатление. Во всяком случае, она заслуживает внимания для характеристики г. Васнецова. В ней начинает уже звучать то, что немцы называют „Stimmung“ – „настроение“».

«Современные известия» высказывались не лукавя: «Ни лица убитых, ни позы их, ни раны, наконец, ничто не свидетельствует здесь ни о ярости боя, ни об исходе его. Искренне уважая талант почтенного художника, мы крайне удивлены, зачем это он потратил такую массу времени и красок на эту невыразительную вещь».

«Молва» была еще более категорична: «Мы прямо скажем Васнецову, что из внутреннего содержания летописи ни духа ее, ни смысла не попало в его картину. Васнецов художник талантливый, но молодой, ему много надо трудиться, в особенности много надо мыслить и чувствовать».

Но та же «Молва» к «Ковру-самолету» относилась вполне терпимо: «Полет ковра выполнен весьма удачно, – констатировал критик и тотчас оговаривался, – но на фигуре стоящего на нем витязя и вокруг нее не ощущается ни малейшего движения воздуха».

«Новое время» соглашалось с «Молвой»: «Более, чем „Битва с половцами“, нам на этот раз понравился у г. Васнецова его „Ковер-самолет“, который действительно летит, и если впечатление, оставляемое им, не совсем удовлетворительно, то причину следует искать в воздухе и пейзаже, которые действительно сильно прихрамывают в картине: нет прозрачности, нет воздушной перспективы, но замысел очень удачен».

Из вполне положительных можно привести, пожалуй, только отзыв «Всемирной иллюстрации», критик которой писал о «Побоище»: «Картина исполнена превосходно. В техническом отношении В. Васнецов сделал громадный шаг вперед. Это-то, собственно, и подкупает некоторых специалистов-техников в пользу картины. Но, кроме техники, художник обнаружил в этой картине много вкуса и известную фантазию, известное представление, которое, если и не доведено до поэтической силы, до полной гармонии с текстом, то, во всяком случае, навеивает нечто из сказаний о богатырском эпосе и о тех битвах, какие относятся к сказочной старине». А что же Стасов?

Молчал, ибо не признал за существенное. Даже не выругал: сказки – не реализм, тут пи борьбы, ни идейности. Серьезная критика, как всегда, до детского жанра не снисходила.

И ведь не впервой! Белинский по сказкам Пушкина определил, что это закат таланта!

Стасов не только не заметил новаторской сущности живописи Васнецова – по своей тенденциозности он, видимо, был близкая родня Мясоедову, но после долгого молчания еще и разнес все скопом и не без злорадства.

«Все „богатыри“ на полях сражения, на распутье, в волшебном полете, в раздумье и т. д., – объяснил он своим читателям, – уже вовсе ничего не стоили у

русских живописцев. Талант даровитый, хороший художник, как Васнецов, становился неузнаваемым, когда принимался за русскую седую древность и, вместо чудных витязей из „Слова о полку Игореве“ или из русских былин и сказок, представлял только каких-то неуклюжих, ровно ничего нам не говорящих топорных натурщиков, нагруженных кольчугами и шлемами».

Все это Владимир Васильевич позабыл во времена великой славы Васнецова. В своей большой статье о нем непонимание новых сказочных сюжетов было переложено на... Крамского! Прочитав письмо Крамского Репину о «Витязе» – «какой мотив испорчен», – Стасов драматически восклицает: «Не странность ли это изумительная? Такому верному, такому глубокому, такому меткому художнику-критику, как Крамской, и вдруг так страшно ошибиться!.. В этом случае (а этот случай был довольно редкий и необычайный) мы с Крамским не сходились и спорили... Я стоял именно за „Витязя“... Радуюсь тому, что судьба дала мне не ошибиться в оценке Васнецова при самом начале нового его поприща...»

Да, Крамской не одобрил «Витязя», но то был первый вариант картины, второй, всем нам известный и любимый нами, был написан через пять лет, в 1882 году. Что же касается картин, выставленных на VIII выставке, Иван Николаевич писал Репину: «Трудно Васнецову пробить кору рутинных художественных вкусов. Его картина не скоро будет понята. Она то правится, то нет, а между тем вещь удивительная». Это сказано о «После побоища», которую Стасов и через двадцать лет не понял. В той самой статье 1898 года он еще раз отрецензировал картину, а вот что мы читаем в этой уже устоявшейся стасовской оценке: «Мне и до сих пор кажется, что нельзя эту картину признать „капитальной“: она не выполняет вполне своей задачи, всей ее ширины и глубины, и главным образом

представляет лишь собрание интересных, изящных и художественных подробностей древнерусского и древнеазиатского мира. Сами люди, их характеры, натуры, типы всего менее играют тут роли. Сильного, характерного выражения злобы, ярости, остервенения, мрачности, горячности, энергии – ничего подобного ни на одном лице и ни в одной позе русского или половчанина не нарисовалось. Ни один из бывших сражающихся ни с кем другим не сцепился и не переплелся, как это непременно должно было случиться в свирепой рукопашной схватке дикарей...»

Не понял Стасов замысла картины, ее былинного стиля, ее духовной мощи, ее настроения. Он, видимо, по природе своей не понимал драматизма покоя, величия покоя, его особой страсти. Как тут не вспомнить оценок Стасова репинской «Софьи», Репин и попенял критику за новую его слепоту.

20 марта 1880 года Илья Ефимович писал Владимиру Васильевичу:

«Поразило меня Ваше молчание о картине Васнецова „После побоища“ – слона-то Вы и не заметили, говоря „ничего тузового, капитального“ нет, я вижу теперь, что совершенно расхожусь с Вами во вкусах; для меня это необыкновенно замечательная, новая и глубоко поэтическая вещь, таких еще не бывало в русской школе; если наша критика такие действительно художественные вещи проходит молчанием, я скажу ей – она варвар, мнение которого для меня более неинтересно; и не стоит художнику слушать, что о нем пишут и говорят, а надобно работать в себе запершись; даже и выставлять не стоит...»

Ну а что же публика? Мы зачастую наблюдаем картину: критика ругает – публика в восторге, критика льет елей – публика отворачивается. Устроители выставки, после скандала с Мясоедовым, отнеслись к картинам Васнецова с почтением и выделили им

отдельный зал. Зрители могли побыть наедине с картинами, проникнуться их настроением. Обратимся к самому пристрастному, но и к самому внимательному свидетелю. Вот что писал о московской выставке И. Н. Крамскому П. М. Третьяков: «Публика вообще осталась очень недовольна нынешней выставкой, и только исключительно одна Ваша картина („Лунная ночь“ - В. Б.) пользовалась симпатией ее. К картине Маковского („Толкучий рынок в Москве“ - В. Б.) полнейшее равнодушие. Ее весьма не одобряют („Милосердие“ - картину автор уничтожил. - В. Б.), Васнецова „Поле“ менее образованные не понимают; образованные говорят, что не вышло; над „Ковром“ смеются, т. е. насмеются и те и другие. Репин („Проводы новобранца“ - В. Б.) положительно всем без исключения более нравится „Софьи“, но и только; сюжет одобряют. О Куинджи, т. е. о его отсутствии, и те горюют, которые осуждали его „Щель“ (не мое название, а той же публики) и „Березовый лунный день“...»

Речь идет о «Закате солнца в лесу» и о «Березовой роще». Куинджи, выйдя из Товарищества, в 1880 году в помещении Общества поощрения художников выставил одну свою картину «Лунная ночь на Днепре». И Петербург впервые в истории отечественной живописи встал в очередь, чтоб поглядеть на небывалое диво, па сказку наяву.

Вот так был встречен зрителем и критикой богатырский эпос Виктора Михайловича Васнецова.

Публичное поношение художника не смутило Павла Михайловича Третьякова. Картину «После побоища» он купил еще в Петербурге за пять тысяч, кстати, картину собирался приобрести великий князь Владимир, но Васнецов предпочел, чтобы его детище было у Третьякова.

А что же «Ковер-самолет»? Ведь это одна из трех картин для кабинета Правления Донбасской железной дороги.

Возможно, под впечатлением всеобщего неодобрения главные пайщики дороги решили вообще не украшать кабинета.

Савва Иванович Мамонтов, хоть и был заказчиком и аванс давал, ссориться с членами правления не стал.

Дело вскоре уладилось. «Трех сестер подземного царства» приобрел его брат Анатолий Иванович, «Ковер-самолет» купил М. С. Рукавишников (перед революцией он подарил картину Нижнему Новгороду), а Савва Иванович стал «владельцем» «Битвы русских с половцами», последней части триптиха, которую Виктор Михайлович закончил в 1881 году.

Картину эту очень ценили в доме Мамонтовых, и особенно дети. «Вспоминается... старый швейцар нашего дома, Леон Захарович, – писал в своей книге о русских художниках Всеволод Саввич, – который любил, выпроваживая нас из столовой, ворчать: „Ну, чего вы ждете? Приходите завтра и увидите, кто оказался победителями – русские или татары“».

Это особая тема: Васнецов и дети. Мы к ней еще вернемся.

Заканчивая же разговор о первых эпических картинах Васнецова, приведем еще одно высказывание, относящееся к 1896 году. В журнале «Живописное обозрение» была помещена гравюра с картины «Поле битвы». (Как ее только не называли!)

«В этой картине, – объяснял критик читателям, – художник вдохновлен певцом „Слова о полку Игореве“... Вот на переднем плане молодой герой, красавец юноша, с восторгом бившийся и павший за святую Русь, – встретивший горькую чашу смерти с прекрасною улыбкою. А вот налево от него и старый, матерый богатырь, могучий и ростом и силою.

Горделиво и осанисто раскинулся он во всем величии своей падшей славы на гряде вражеских тел».

Сироп о староотечественных богатырях и густ, и чрезмерно сладок, но зато полностью отвечал официальным настроениям.

- Не читай ты газет! - вырвалось у исстрадавшейся Александры Владимировны. - Павел Михайлович да Савва Иванович лучше знают, что хорошо, что плохо.

Васнецов сидел в деревянном, жестком кресле, согнувшись, подперев щеку рукою, которую он упирал в колено.

Газеты аккуратной стопкою лежали на закрытом ящике с красками.

- Да я и рад бы не читать, но... Саша! Ну, как же так! Где глаза-то у людей?

- Если б такие картины из Парижа привезли, не проахались бы, а тут - свое. Да еще и не петербургское.

- В Петербурге меня никогда не поймут! Петербург - немец. Но у меня и на москвичей надежды нет после писаний!

Позвонил колокольчик.

- Почтальон! - озаботилась Александра Владимировна. - Письмо тебе, Витя! Ты к сердцу-то не принимай близко. Нынче ругают, завтра хвалить будут. Ты же сам говоришь.

- От Чистякова! - сказал он, положил письмо на газеты, спохватился, взял, переложил на стол. - Верись ли, Саша, - страшно. Чистяков ни хитрить не станет, ни жалеть.

- Может, погуляем? - предложила Александра Владимировна. - А письмо подождет.

Васнецов засмеялся.

- Выдюжим, Владимировна! Все выдюжим. Вскрыл конверт, развернул письмо, читать начал вслух.

- «В прошлое воскресенье собрался я побывать на выставке В. В. Верещагина, на Передвижной и, кстати,



на Вашей, но почему-то попал прямо на Вашу, и уже на верещагинскую не попал, как ни старался. Вы, благород... - голос прервался, - благороднейший, Виктор Михайлович, поэт-художник...»

Теперь он читал про себя, не веря глазам, бумаге, солнцу!

«Таким далеким, таким грандиозным и по-своему самобытным русским духом пахнуло на меня...»

- Виктор, что же ты замолчал? - воскликнула Александра Владимировна.

Он протянул ей письмо:

- Читай, что-то глаза застилает.

- «Таким далеким, таким грандиозным и по-своему самобытным русским духом пахнуло на меня», - прочитала Александра Владимировна и... расплакалась.

- Ну, ты-то что?! - гладил он ее по руке, держащей листок. - Ведь не ругает... Правильные вещи говорит. Все тут правильно! Поэт-художник, а разве не поэт? Вот именно-то! Вот кто в корень смотрит - Чистяков.

И, одной рукой прижимая жену к груди, другой взял письмо и читал громко, ударяя на все сильные слова и повторяя их:

- «...русским духом пахнуло па меня, что я просто загрустил. - Загрустил! - Я, допетровский чудак, позавидовал - позавидовал! - Вам. И невольно скользнули по душе стихи Кольцова: „Аль у молодца крылья связаны“... Да, связаны! Потерпеть надо. Я бродил по городу весь день - весь день! - и потянулись вереницей картины знакомые и увидел я Русь родную мою, и тихо прошли один за другим и реки широкие - и реки широкие! - и поля бесконечные, и села с церквами российскими, и там по губерниям разнотипичный народ наш и, наконец, шапки и шляпки различные; товарищи детства, семинаристы удалые и Вы, русский по духу и смыслу - русский по духу и смыслу! - родной для меня - Саша! Саша! Родной для меня! - Спасибо душевное Вам,

спасибо от подстреленного собрата, русского человека!»

Виктор Михайлович тыльной стороной руки вытер глаза.

- Господи! Как он несчастен!

- Ты читай, читай! - шепнула Александра Владимировна.

- «Шевелите меня хорошенько, авось либо и я поднатужусь, украду где-нибудь толику малую деньжат, да и опущусь и брошусь в бездну глубокую, в даль непроглядную милого и дорогого отечества, милой родины нашей!.. Ох, зарапортовался, прости, голубчик! Мне и писать некогда! Спасибо, спасибо, больше ничего!»

Виктор Михайлович снова положил письмо на стол, зашагал по комнате.

- Саша, я и не знал, что у Чистякова такое сердце! Грешен, не знал... Чистяков добрый, бесребреник, но не знал, что он учеников своих за родных в душе держит. Это ведь письмо родного человека. Павел Петрович тут много еще пишет и уж ругает, конечно, я и сам знаю: ругать есть за что. Но ведь и главное надо видеть.

«Теперь, отдохнувши, начну вторую половину, - принимался за разбор по косточкам Чистяков. - Картина не совсем сгруппирована, луна несколько велика, судя по свежести атмосферы. Следовало бы покров, чуть заметный от самого горизонта, накинуть на все; в рисунке есть недосмотры, но вообще в цвете, в характере рисунка талантливость большущая и натуральность. Фигура мужа, лежащего прямо в ракурсе, выше всей картины. Глаза его и губы глубокие думы наводят на душу. Я насквозь вижу этого человека, я его знал и живым: и ветер не смел колыхнуть его полы платья, он, умирая-то, встать хотел и глядел далеким, туманным взглядом; да и теперь глядит на нас

- и пусть глядит, авось, либо по щелям расползутся от этого взгляда шакалы, мошенники, зазывающие на аукционы добрую, бедную, отзывчивую на все родное публику русскую. Замолол... теперь меня не удержишь, только бумагу подкладывай - и не стыжусь нескладицы, родной мой! Где душа пишет, там ум и красноречие не нужны. Баста!

Я писал К. Т. Солдатенкову теперь о Ваших игроках в карты. Он хочет приобрести их. Напишу ему Ваш адрес на днях. Не берите дешево и не дорожитесь. Вы все там пятеро родные мне почему-то...»

- А верещагинский аукцион и Павлу Петровичу не пришелся по душе, - сказал Виктор Михайлович. - Чтобы содрать как можно больше денег, Верещагин решил продать свою индийскую коллекцию поштучно, сумма, предложенная Третьяковым, показалась ему мала. Павел Михайлович все же купил работ семьдесят пять. Рублем, говорят, всех забил. Сколько ни предложат, а он рубль сверху. Но дорогие картины по рукам пошли, Демидов Сан-Дonato купил, Базилевский, Нарышкин.

- Ну, уж это-то чего тебя волнует? - обеспокоилась Александра Владимировна.

- Как же не волноваться! Выходит, одному Третьякову больше всех нужно, каким быть русскому искусству. Ведь чтобы быть - мало создать, надо еще и не исчезнуть в трясине частных коллекций. Искусство, Саша, - одно волнение.

- Да уж вижу! - вздохнула, улыбнулась и грустно покачала головой Александра Владимировна.

А Виктор Михайлович поглядел на ее голову, и сердце у него защемило: столько седых волос! Не его ли в том вина? Ведь уж и дети пошли, а своего угла пет - вечный мытарь.

Весна ставит на крыло птицу и художника.

Виктор Михайлович, тяготевший всегда к жизни обстоятельной, оседлой, летнее гнездовье облюбовал в Ахтырке. Репин с Серовым отправились в Запорожье и далее в Крым – шел сбор материала к «Запорожцам».

Поленов из Москвы пока не думал сбегать. Его держала любовь. Но влюбиться угораздило в певицу, в красавицу. Это была Мария Николаевна Климентова. Она то принимала ухаживанья художника, то отдаляла от себя. Ее голос привораживал к ней толпу поклонников, и среди этой толпы встречались люди в генеральских мундирах... Кстати, Климентова первая и одна из самых искренних исполнительниц Татьяны в «Евгении Онегине». Искренность на сцене и в жизни не всегда совпадают. Измученный Поленов уехал в Египет и далее в Палестину, и именно в это время Мария Николаевна сделала выбор. Она стала женою известного деятеля той эпохи Муромцева. Брак был неудачным. Умерла Климентова в эмиграции. Чувство к Поленову хранила всю жизнь. Это было высокое чувство, он навсегда остался для нее Рыцарем красоты.

В ту весну 1880 года Василия Дмитриевича еще не покидали надежды, он писал Климентовой после премьеры в Большом театре «Фауста» Гуно, где она исполняла роль Маргариты: «Вчера я был на Вашем блистательном дебюте и случайно пришлось сидеть рядом с Иваном Сергеевичем Тургеневым, и вот мы вдвоем Вас судили, т. е. говорил почти все Иван Сергеевич, а я больше слушал...»

Тургенев был в Москве не как всегда, проездом. Москва готовилась к торжеству небывалому. Открывался первый памятник во славу русской словесности – Пушкину! И то, что общество доросло до мысли – признать за величайшие деяния сочинение стихов – поднимало это общество в собственных глазах и обнадеживало. Надежды были смутные, но они тревожили всех. От памятника на Тверском начиналась

неведомая дорога к неведомому будущему, конечно, более прекрасному, по крайней мере, более справедливому. Памятник открыли 6 июня.

Родственник Поленовых Иван Петрович Хрущев, филолог, видный деятель министерства просвещения, писал Елене Дмитриевне в Имоченцы о Пушкинском празднике: «Мы с Васей были и па открытии монумента, и на обеде, и на заседаниях. Овации Тургеневу были беспримерны, да и речи о Пушкине хороши. Праздник был такой возвышенный, примирительный и вместе глубоко гражданский, что нельзя было не порадоваться, не отдохнуть от всех тяжелых впечатлений последних лет... Вася был пьян духом, и я рад, что вытащил его из мастерской, да и он рад».

А Васнецов? Что писал он летом 1880-го, когда Пушкин снова, в который раз, всколыхнул Россию? В мастерской в Ахтырке писалась для Саввы Ивановича «Битва русских со скифами», но душа художника была с «Аленушкой». Это самая тихая картина Васнецова, самая нежная. Он не торопился с большим холстом. Златоволосая девочка была найдена и написана, но искания не кончились. Ему не доставало глаз. Глаза ему были нужны необыкновенные. Их нельзя было выдумать, их надо было встретить в жизни.

Нынешние художники довольствуются выдумкой. Может, потому-то вечность и отворачивается от них, отдавая предпочтение старым, много искавшим мастерам.

В июле приехал в Абрамцево Поленов. Его душевный подъем на Пушкинском празднике сменился рассеянностью. Василию Дмитриевичу казалось, что его картины не выдерживают высоких мерок, пушкинских мерок.

В Абрамцеве занялся вдруг зодчеством.

Апрельское половодье на Воре на этот раз смыло плотину и принесло в дубовую рощу.

Пик половодья пришелся на конец страстной недели. Церковь была на другом берегу реки, и жители деревни все пришли к Мамонтовым, где по заведенному порядку служили заутреню.

Воря шалила второй год подряд, и Савва Иванович решил построить на территории усадьбы часовенку.

Поленов, прошедший детство и юность в Имоченцах, хорошо знал и любил северное русское зодчество. Он нарисовал несколько часовен-избушек, держа в уме олонечские оригиналы.

Рисунки Мамонтову нравились, но строить часовню не стали: мала, в такой часовне и обитатели усадьбы не поместятся. Поленов вскоре уехал в Имоченцы, и дело о строительстве отложилось на будущее.

В августе в Абрамцево явился Репин. Он привез множество этюдов к «Запорожцам», а принялся дописывать «Крестный ход». Теперь он, как на службу, каждый день отправлялся в Хотьковский монастырь, где рисовал паломников, монахов, нищих.

Видно, споры о достоинствах и недостатках пушкинского памятника навели абрамцевских мудрецов на мысль самим заняться скульптурой. Савва Иванович вылепил бюст Васнецова, Васнецов – Репина, Репин – Мамонтова. И у всех получилось. Мамонтов, впрочем, был не новичок в пластических искусствах, он брал уроки у Антокольского, Репин за скульптуру получил в Академии медаль. Ну а Васнецов в грязь лицом тоже не ударил.

Однажды Савва Иванович привез из Москвы книжку Оссиана. Читали по очереди вслух, и удачнее всего получилось у Васнецова. Он обвыкся в доме Мамонтовых и уже не помалкивал, не краснел при каждом к нему обращении. Оказалось, что этот молчун, с угловатыми от порывистости движениями мил, остроумен, смешлив и впечатлителен.

Оссиан – подделка. Заспорили о ценностях.

- Этого я не понимаю и никогда не пойму! - говорила Елизавета Григорьевна. - Почему мы ценим не произведение, а один только звук? Вот этюд на стене.

- Поленов! - подсказал Савва Иванович.

- Да, Поленов! Но, предположим, некий ученый искусствовед открыл, что это - Рафаэль! И тотчас! Именно тотчас этюд, стоивший сто рублей, будет стоить сто тысяч! Что в нем прибыло? Звук иной? Поленофф - Рафаэль. И цена этого иного звука баснословна - девяносто девять тысяч девятьсот.

- Милая! - воскликнул Савва Иванович. - Во-первых, Поленов только в начале творческого пути. И так как он создаст еще очень много картин, этюдов, рисунков, шедевров и полушедевров, то ему и платят дешевле. Он, может, и выше Рафаэля, но пока жив - дай ему, господи, много лет! - не имеет ореола исключительности.

- Разве дело в исключительности? Каждый художник - исключение. На Василии Дмитриевиче просто номерка нет, - сказала Наташа Якунчикова. - Вот как вечный покой накинёт свой покров, тут искусствоведы, как вороны, и кинутся номерки раздавать. Бывает, что под грудами тел и не разглядят воистину первого. А до живых им дела нет!

Наташа была влюблена в Поленова, и ее задело за живое, что имя любимого поминалось всуе.

- Наташа, ты, как всегда, права! - согласилась Елизавета Григорьевна и обратилась к жене Васнецова. - Вы за меня или против?

- Женщина всегда держит сторону женщины.

Все засмеялись и дружно посмотрели на Васнецова.

- Ты один у нас сегодня - художник, - сказал Савва Иванович. - Рассуди!

- У Елизаветы Григорьевны складно получилось. Послушал я ее и согласился с нею. Верно - звук дороже самой вещи. Да только без «но» и тут не обошлось. Я

это «по» во Франции прочувствовал. Того же Фортуни взять: каждая вещица у него светится, живет. Не художник – тысяча и одна ночь. Такого еще не бывало и, кажется, и быть больше не может! Но приходите в Салон на следующий год: пяток Фортуни увидите наверняка, а еще через год их будет пять дюжин, и даже во многом его превосходящих, без его пороков и мелких промахов.

– Виктор Михайлович, сдаюсь! – Елизавета Григорьевна подняла обе руки. – Все поняла и приняла.

Прошла неделя, про Оссиана забылось, читали в те осенние дни Пушкина. И вдруг Васнецов принес показать Елизавете Григорьевне эскиз «Песни о Сальгаре».

– Ну, нет! – запротестовала Елизавета Григорьевна. – Вы сейчас увлечетесь новой для себя темой и «Аленушку» – в угол. А у меня такие надежды на нее. Напишите «Аленушку», Виктор Михайлович. Среди всех художников, какие бывают у нас, кого по картинам знаю, я не вижу такого, кто чувствовал бы женскую душу лучше вас.

– Елизавета Григорьевна! – загорелся Васнецов. – А ведь мне повезло наконец. Я нашел глаза для Аленушки!

– Где же?

– Да за вашим столом, Елизавета Григорьевна. Когда Оссиана читали, Верушка заслушалась, пригорюнилась, а у меня дух захватило... Аленушку я не оставлю, не беспокойтесь. Она ведь даже снится мне. Два раза приснилась...

Из Ахтырки в Москву ехали уже не в Ушаковский переулок, а в Зачатьевский. Появились деньги, сняли квартиру потеплее, попросторнее. Семья снова ждала пополнения.

Все дни теперь Виктор Михайлович проводил со своей Аленушкой, страдал за свою промашку:



понаписал летних этюдов, а картине нужна осень.

Сам Виктор Михайлович считал «Аленушку» большой удачей. У нее нет двойника, как у большинства васнецовских картин того периода.

1881 год начался несчастьем для России. Вера Николаевна Третьякова записала в дневнике: «О горе! 28 января 1881 года в 8 ч. 40 м. вечера скончался Федор Михайлович Достовский». Смерть писателя воспринималась русскими людьми как своя, кровная утрата.

«Кисти из рук выпадали», – вспоминал об этих днях Васнецов.

Горькое письмо отправил Крамскому Павел Михайлович: «Очень больно мне было в Петербурге, что Москва мало участвовала в похоронах Ф. М. Достоевского, бранил себя, что не послал телеграмму брату (Сергей Михайлович Третьяков был московским городским головою. – В. Б.) о том, что похороны отложили до воскресенья...

На меня потеря эта произвела чрезвычайное впечатление: до сего времени, когда остаюсь один, голова в каком-то странном, непонятном для самого меня тумане, а из груди что-то вырвано; совсем какое-то необычное положение. В жизни нашей, т. е. моей и жены моей, особенно за последнее время, Достоевский имел важное значение. Я лично так благоговейно чтил его, так поклонялся ему, что даже из-за этих чувств все откладывал личное знакомство с ним, хотя повод к тому имел с 1872 года, а полгода назад даже очень был поощрен самим Ф. М.; я боялся, как бы не умалился для меня он, при более близком знакомстве; и вот теперь не могу простить себе, что сам лишил себя услышать близко к сердцу его живое сердечное слово. Много высказано и написано, но сознают ли действительно, как велика потеря? Это, помимо великого писателя, был глубоко русский человек, пламенно чтивший свое

отечество, несмотря на все его язвы. Это был не только апостол, как верно Вы его назвали, это был пророк; это был всему доброму учитель; это была наша общественная совесть».

Виктор Михайлович «Аленушку» в те горестные дни совсем другими глазами увидел. Маленькая девочка не по брату тоскует, не по судьбине своей... Она и есть судьба, она и есть Россия, чистая, любящая весь белый свет, но куда ни погляди - болотные топи! Вот и пригорюнилась. Не растерялась, не отступила, но пригорюнилась перед новым походом за счастьем, за правдой, за самой жизнью.

Зрители IX Передвижной выставки «Аленушку» сразу же и приняли, и полюбили. А вот критика в своем непонимании нового пути Васнецова упорствовала.

Стасов назвал «Аленушку» - плаксой, уродом, а художника обвинил в сентиментализме.

Даже те из критиков, кому картина нравилась, считали долгом обязательно сказать «но» и ополовинить достоинства.

«На настоящую выставку, - писал один из таких критиков, - Васнецов поставил большую картину, представляющую весьма симпатичный и глубоко прочувствованный тип деревенской девочки, которую художник назвал „Аленушка“ (дурочка)... В этом маленьком личике вы прочтете всю драму жизни, всю скорбь души, немощную, ужасную скорбь. Глядя на Аленушку, невольно проникаетесь любовью к ней - это личико так симпатично, так искренно. И как бы кто ни нападал на художника за рисунок, за письмо, но лицо Аленушки выручает все... - И далее критик спешит защитить свои похвалы с помощью ложки дегтя: - Как мастер-живописец Васнецов показал свою силу в прошлом году; в этой же картине ему, видимо, было не до живописи...»

Критика провинциальная не поднималась до каких-либо обобщений, зачастую выдавая за критику пересказ картины и свои домыслы о героине. Вот что писала, например, газета «Киевлянин»: «Безумная, забитая, загнанная на деревне Аленушка Васнецова сидит в глубоком раздумье, на камне у воды. Изорванное платье, дикий взгляд, утомленная поза, полная неподдельного отчаянья – все это вместе взятое вызывает невольно тяжелое чувство».

Нужно было время да время, целая жизнь художника, чтобы наконец пришло осознание сделанного им. Вот как И. Э. Грабарь, уже в новом столетии, оценивал непринятую критиками «После побоища» и непонятую «Аленушку».

«Картиной... „После побоища“, – писал Грабарь, – открывается эра в русском искусстве, с нее начинается длинный ряд тех страстных попыток разгадать идеал национальной красоты, которые не прекращаются до сих пор и, вероятно, долго еще будут вдохновлять художников, чувствующих свою связь с народом».

Об «Аленушке» же сказано еще более определенно: «В. М. Васнецов в 1881 г. создает свой шедевр – „Аленушку“, не то жанр, не то сказку, – обаятельную лирическую поэму о чудесной русской девушке, одну из лучших картин русской школы. В ней нет никакой композиционной усложненности и режиссерского мудрования, картина проста до последней степени, и вся она вылилась из чистого чувства».

«Аленушка» не была центром IX выставки. IX выставка – дебют и торжество Сурикова. «Утро стрелецкой казни» – это и новое имя, и новый исторический герой – народ, и небывалый взгляд на событие. Это история глазами опять-таки самого народа.

Первым, как всегда, высказался Репин в письме к Третьякову: «Картина Сурикова делает впечатление

неотразимое, глубокое на всех. Все в один голос высказали готовность дать ей самое лучшее место, у всех написано па лицах, что она - паша гордость на этой выставке (хорошие люди, развитые люди, да здравствует просвещение!!!)».

Чистяков тоже был «за». Отвечая Павлу Михайловичу на его просьбу сказать правдивое слово, он писал: «Картина В. И. Сурикова очень выразительная картина, хотя в ней нет тонкости в отделке. Надеюсь, что этого недостатка лет через 7 уже почти не будет у молодых идущих теперь художников. Теперь нами управляет публика. Что делать - времена всякие должны быть. Картина эта многим нравилась. Для меня она очень экспрессивная картина, даже до тяжеловатости. (Конечно, впечатление она производит тяжелое.) Ну, да и сюжет такой. Радуюсь, что Вы приобрели ее, и чувствую искреннее уважение к Вам и благодарность. Пора нам, русским художникам, оглянуться на себя всеми силами и пора увидеть, что мы люди и мы можем разговаривать с природой божьей и совершенствовать и развивать себя. Пора! Долой шкуру обезьяны и с богом в путь, в дорогу широкую вперед. Мало кто думает об этом. Все и вся пока подловато-трусливо поворачивают у Европы; а которые корчат русского человека - те до грубости стараются подражать тоже Европе... А теперь душевное большое спасибо Вам, благороднейший Павел Михайлович, за всех, кого Вы поддерживаете. Ведь лучше Вашей галереи нет».

Третьяков вполне заслуживал похвалы учителя русских гениев живописи. Галерея Третьякова была уже не просто отличным собранием самых лучших русских картин, она стала духовным центром русской культуры, открытой книгой о чаяньях, о горестях жизни народа и о торжестве его духа.

Кстати, подводя итог посещаемости галереи за 1881 год, Третьяков записал очень большую по тем временам цифру – 8368 человек. Для наших дней – это ручеек, ручеек, обернувшийся Волгой.

Странное дело! Критика не соглашалась с художником, оценивала его работы как проходные, как мало что значащие. В иных отзывах звучало желание не только унижить художника, но и уничтожить. Более других преуспели в травле русофилы. И. С. Аксаков в своей газете «Русь» вынес Васнецову приговор, не подлежащий пересмотру: картины – лубочные, их не спасают сажженные холсты. Масляная краска потрачена зря, ибо все это не имеет с искусством ничего общего.

Художественный обозреватель этой газеты, подписавшийся «К. М.», разнес IX выставку всю скопом. Он писал: картины «Савицкого, Максимова, Клодта, Сурикова, Бодаревского, Богданова и совершенно невозможного Васнецова ниже всякой посредственности».

Если часто порют, то привыкают и к розгам. Куда больнее, когда тебя перестают понимать близкие люди, твои учителя, и вожди.

Вдруг широкая трещина пересекла отношения с Крамским. Васнецов послал на выставку несколько картин и еще «Женскую головку». Эту «Женскую головку» Крамской своею волей на выставку не поставил. Он все еще чувствовал себя учителем, тем более что ученик за картины свои удостаивался брани, и он, Крамской, с боем пробивал их на передвижные выставки. Так что, привыкнув защищать, он чувствовал за собою право и ограждать ученика от ненужных нападков. Но ученик-то был автором «После побоища», «Аленушки», «С квартиры на квартиру», «Преферанса». Птенец давно уже стал орлом и парил на той же высоте, что и учитель, а учитель этого не видел. Он все еще

опекал, по доброте, по широте сердца, и нарвался на довольно-таки жесткую отповедь.

Вот что писал Васнецов Крамскому по поводу злосчастной «Женской головки»:

«Добрый и уважаемый Иван Николаевич!

Я отвечаю Вам не сейчас, а через несколько дней, и это, думаю, – Вам понятно. Ваше известие о „Женской головке“ затронуло постоянные мои, так сказать, проклятые вопросы. Не знаю, жалеть ли мне о том, что Вы не выставили картинку, никому ее не показывая и не допустив обсуждения на общем собрании. Но за Ваше доброе желание избавить меня от лишнего поругания я Вам искренно благодарен.

Вопрос для меня не в том, что Вы поступили по отношению ко мне произвольно, а в том, что, оказывается – я посылаю вещь, которую нельзя поставить па выставку, не подрывая художественного кредита Товарищества! Положение для меня чрезвычайно неловкое! Если я не ошибаюсь, у нас существует правило или по крайней мере практикуется, что каждый член Товарищества сам отвечает за выставляемые им произведения... Автор считает вещи достойными выставки, и они должны быть выставлены без всякого препятствия со стороны Товарищества. Право должно принадлежать всем без различия. Но я допускаю случаи, когда выставляемое произведение затрагивает художественную репутацию не одного только автора, но и всего Товарищества, то есть когда произведение до чрезвычайности превышает своими безобразиями средний художественный уровень выставки. В таком случае я понимаю и допускаю обсуждение произведения общим собранием. Но случаи такие должны быть крайне редки, так как затрагивают положение автора как члена Товарищества и его существенные права. На мой взгляд, обсуждение произведения члена общим собранием равносильно его

перебаллотировке, а в таком случае трудно допустить настолько несамолюбивого художника, который продолжал бы оставаться членом при таких условиях.

Мне думается, И. Н., что я не отличаюсь особенной нескромностью по отношению к своим произведениям, в данном же случае никак не могу примириться с мыслью, что я так жестоко ошибся, посылая свою „Женскую головку“ на Передвижную выставку...

Против уже совершившегося факта я ничего не возражаю и прошу Вас ни в коем случае не выставлять „Ж. г.“. За Ваше искреннее желание мне добра я Вас от всей души благодарю! Конечно, И. Н., Вы чувствуете и понимаете, что подобное событие заставляет меня много и серьезно задуматься в свое положение, как члена Товарищества».

Письмо, конечно, запальчивое, несмотря на все оговорки и благодарности в адрес Крамского. Тяга к самостоятельности у художника выше благоразумности, привязанности, даже любви. Придет время, и сам Васнецов испытает ту же горечь, какую испытал Крамской, читая письмо своего ученика.

Дело действительно было не в женской головке и даже не в тех картинах, которые у Васнецова покупали Третьяков, Мамонтовы, великий князь и знаменитые коллекционеры. Дело было не столько в сделанном, сколько в задуманном. Грандиозность задуманного заносит художника на самые высокие небеса, и в это время не только неприятие, но и малейшее сомнение в его превосходных качествах вызывает взрыв самого несправедливого и попросту глупого негодования. Крамской со своим опекунством попал Васнецову под горячую руку. Это ведь приспела весна 1881 года. Памятник Пушкину окрылил, смерть Достоевского – ошеломила: гения гений от смерти не заслоняет. Вот они два крыла, которые встали незримо за спиной Васнецова, когда пришла пора весеннего перелета.

Мамонтов пригласил Васнецова па этот раз в само Абрамцево, в Яшкин дом.

Мастерская здесь была просторная, светлая. Виктор Михайлович и развернулся во всю свою молодецкую удаль. Такой холст поставил, что даже Савва Иванович ахнул:

- Уж не Полтавская ли битва здесь будет?

- Э, нет! Никаких баталий. На этой громадине будут всего три фигуры. Только три.

Он проснулся с хорошим сердцем. Неслышно встал, оделся, вышел на крыльцо.

Хоть и редко, бывает: он увидел, как нарождается, может, самый необычный день в году. Такой новый, как первый.

Стоял апрель. Самый большой скромник среди двенадцати месяцев. Столько он делает доброго для земли, для весны, для жизни, а все в смущенье. Сверкнет солнцем, прольется чуть ли не парным теплом - и вот уж опять по самые брови закутан в серенький плащ.

День и сегодня на краски не был щедрым, но Васнецов вдруг почувствовал всю великую красоту этого весеннего, серого. Мир был влажный, не мокрый, как по осени, а влажный, потому и показался новорожденным. Влажным, как листок, только что разорвавший почку, влажным, как гусенок среди обломков своего большого гусиного яйца.

Васнецов сошел с порожка и по-журавлиному, не совсем складно, долговязо, но легко пустился навстречу этому новому дню.

Он ворвался в дубовую рощу и осадил себя, как скакуна. Ну, полетел. Какого тебе чуда надо, когда вот оно, куда ни поворотись.

Старые дубовые листья поскрипывали под ногами. Дубы, растопырясь - всяк из них герой, - заслоняли грудью то, что было у них за спиною.



- Богатыри! - сказал тихонько Васнецов.

Он прошел лесом, обходя усадьбу Мамонтовых. И опять сорвался на свой бег.

Ему вдруг вспомнились Выдубецкие пещеры и то страшное лето, когда подхватил холеру. Могло бы и не быть Абрамцева...

Он прислонился спиной к дереву. Дуб был шершавый, но не грубый. Затаил дыхание, словно проверял, как было бы без него... И не поверил этому. Без него нельзя.

Вдруг тихо, счастливо заржал на конюшне совсем еще молодой жеребец. Тоже, наверное, показалось, что без него миру никак нельзя.

Васнецов улыбнулся и, улыбаясь, пошел на конюшню.

- Пошто ранехонько так? - удивился конюх.

- А вот лошадей посмотреть.

- Погляди, - согласился конюх. - На лошадей с утра поглядеть очень хорошо, да не всякому годится.

- Это почему же?

- А уж потом ни сбрехать, ни съязвить. Совестно будет. Потянешь руку к чужому, а в спину тебе словно кто смотрит.

- Ну а как же цыгане?

- А что мне про цыган думать? - осердился конюх. - Я - человек русский. Я про наше тебе говорю.

Васнецов залюбовался рыжим, сверкающим молодыми боками конем.

- Лис! - нежно сказал конюх. - Лисынька - солнышко наше. Веришь ли, барин, солнца нет, а коли Лис стоит на конюшне, то чудится, что на дворе солнце.

- Верю, - согласился Васнецов. - Только что это ты меня барином обзываешь? У меня ни кола, ни двора. Всего моего - руки да жена с детишками.

- Ну так это к слову сказалося. Не бери себе в голову, - успокоил конюх. - Мы ж ведь тоже с глазами.

Видим, как маетесь у своих картинок.

- Скажи, а нужны ли наши картинки-то?

- Ну а как же? Коли деньги дают - нужны.

- Я про другое. Тебе они нужны?

- Мне? - Конюх подергал себя за мочку уха. - Я в комнатах-то и не бываю. Я ведь тут, с лошадьми... Да погоди ты огорчаться! Больно быстро скисаешь. На пасху дочке моей Елизавета Григорьевна книжку подарила с картинками. Так ведь не оторвешь. Глядит и глядит! Я даже спрашиваю, чего глядишь? Чего нарисовано, то и есть, иного не прибудет. А она отвечает: ну и ладно, что не прибудет. Мне и так красиво.

- Спасибо, - сказал Васнецов и поклонился.

- Ты чего приходил-то?

- Да ведь поглядеть.

- Вот и тебе спасибо. Один любишься - хорошо, а когда вдвоем - уже два хороша.

Васнецов пошел было быстро, да остановился. В углу у стены увидел огромного черного тяжеловоза.

- Ого-го!

- То-то и есть, - согласился конюх.

- А нельзя ли его днем привести к Яшкину дому? Я бы его порисовал.

- Отчего же нельзя! Хозяин скажет, что можно - приведу.

- Мне и Лис, пожалуй, будет к месту.

- И Лиса приведу. Савва Иванович скажет, и приведу.

Май еще не наступил, а уже носились в вечернем теплом воздухе майские жуки.

Городошники тоже начали сезон недели на две раньше обычного. Савва Иванович бросал биту, целясь в городки только глазами, а Виктор Михайлович обязательно выставлял перед собой палку, очень долго щурил левый глаз и потом метал тяжелую биту

необычайно резко, и городки от его удара взмывали в воздух брызгами.

- Да, - сказал Савва Иванович, проиграв первую партию на три фигуры, а вторую на две. - Из тебя, Виктор Михайлович, хороший бы молотобоец вышел.

- Просто везет сегодня, - оправдывался Васнецов. - Я ведь, бывает, мажу, а нынче все в цель да в цель.

Вернулась из церкви Елизавета Григорьевна. Пошли в гостиную.

- Пора бы нам от мечтаний о церкви перейти к делу, - сказала она, занимая свое место у самовара.

- Да я уж говорил с Самариним, - откликнулся Савва Иванович, - обещал в конце мая быть и начать. Только у нас-то с вами даже проекта до сих пор нет. Поленовские часовенки хороши, но нужна церковь.

- Так в чем же дело?! - сказала Елизавета Григорьевна. - Пусть каждый возьмет лист бумаги, да и создаст проект.

Сказано - сделано. Один Виктор Михайлович почеркал, почеркал листок да скомкал.

- Дайте мне на ночь наброски Василия Дмитриевича, я свой проект завтра представлю.

Проекта еще не было, но место для будущей церкви выбрали. В глубине парка, среди огромных деревьев, неподалеку от оврага.

- А ведь тут будет хорошо! - согласился Савва Иванович. - Из-за деревьев выйдешь, и вот оно - наше чудо, лебедь белая!

Мамонтов за всякое дело брался горячо. Уже назавтра спилили несколько деревьев, к великому огорчению Елизаветы Григорьевны. Елизавета Григорьевна боялась, что вдруг церковные власти не захотят дать разрешение на постройку, тогда деревья погублены зря. Она и в Лавру ездила, и митрополита перехватывала для беседы. Ни разрешения, ни отказа не последовало. Но архитектор Самарин уже к делу

приступил, определив, какие нужны материалы и сколько. Ямы под фундамент начали копать.

На троицу 31 мая Савва Иванович записал в «Летописи»: «Вопрос о церкви сделался первенствующим. Пользуясь плохой погодой, весь день просидели за столом с чертежами и рисунками. Все соглашались на том, чтобы выдержать в постройке стиль старых русских собориков. Церковь будет во имя Спаса Нерукотворного».

В тот день рисованы были шатры и пятиглавые храмы, с галереями и папертями. Храмы готические и в духе Айя-Софии, бесстолпные. И, конечно, с колоннами, с многоэтажными колокольнями, в духе тех, что строились во славу побед в 1812-м.

- Пойду-ка я домой схожу, - сказал Васнецов, - у меня там нарисовано...

И принес листок, а на нем храм - с одним куполком. Вроде бы махонький, но могучий, простой очень, а красиво. Главное, не для потехи - для молитвы.

- Я в уме новгородский Спас держал, - признался Васнецов, - тот, что в Нередицах.

- Голосу за Васнецова, - поднял руку Поленов.

- Мне нравится, - согласился Савва Иванович. - Но подождем, что Елизавета Григорьевна скажет.

Елизавета Григорьевна была в гостях в имении брата Саввы Ивановича Анатолия. Приехала к обеду. Посмотрела на рисунок Васнецова.

- Это так по-русски, - сказала она.

Вечер закончился замечательно. Вдруг приехал университетский товарищ Саввы Ивановича Петр Антонович Спиро, по профессии физиолог, по призванию музыкант. Напелись всласть. И. Даргомыжский с Мусоргским звучали, и русское народное... Васнецов - счастливый победитель зодческого конкурса - был в ударе, спел вятскую песенку, душещипательную:

Снеги белые, пушистые  
Покрывали все поля,  
Одного лишь не покрыли:  
Поле горя моего.

Спел, да спохватился. Поленов траур носил. В марте после тяжелой болезни умерла любимая его сестра Вера. Улучив момент, Васнецов подошел к Василию Дмитриевичу.

- Прости, Вася.

- Да за что же?

- Ах, Вася!

- Нет, ты не думай... Мне хорошо в Абрамцеве, среди вас. Меня врачует весь этот шум, вся эта жизнь. От смерти в жизни спасение. Только в ней. Постройка храма меня тоже очень утешает. Моя работа здесь в память о Вере. А сколь долгая это будет память, и о Вере, и о нас самих, от нашей душевной щедрости зависит.

- Как хорошо ты сказал, - обрадовался Васнецов. - Мы ведь и не задумываемся над тем, что у нас выходит из-под кисти. Думать-то думаем, но совсем иначе. А ведь действительно, что мы сделаем, то и останется. То и есть наше. Ведь кому какое дело, в квартире ли мы жили или в собственном доме, что пили, что ели, как одевались. Наши картины станут самим временем. Это, кажется, один Третьяков и понимает.

- А ведь если все это помнить, пожалуй, и не напишешь ничего. Ответственности перепугаешься, - сказал Поленов. - Потому-то, верно, и считается, что вся художественная братия - дурак на дураке. Все-то нас судят, все-то нам указывают. А мы - терпи да от своего не отступайся.

Они вышли на улицу. Ночь была жгуче-темная, звезды сияли яростно.

- Мороз будет, - сказал Васнецов.

- Какой мороз! Май кончается.

- В полуночной стране живем.

- А я как раз югом грежу. Хочется изведать жара пустынь. Дорогами Иисуса Христа хочу пройти... Что бы там ни говорили, но нет истории более человеческой, чем история Иисуса Христа. Я не о религиозном чувстве, я о гуманистической сущности этого величайшего из образов. Где драму ищет, а я гармонию. Отдать жизнь во благо других - это и есть «сё человек».

- А каково было матери? Если бы у меня хватило силы, я бы написал Богоматерь. - Васнецов тихонько засмеялся, и очень грустно. - Бодливой козе рога бы, да бог не дает... А холодно! Домой пора.

Попрощался, пошел по выбеленной морозом тропинке. Шел и на звезды смотрел.

- Ну, что мне предстоит-то? - одними глазами спросил празднично сверкающее небо. - Скоро ли мои богатыри поскачут по белу свету? А что потом?

И увидал, как фосфорически сверкнули глаза впереди. Волк? Остановился. Поднял камень, метнул.

- Мяу-у! - дурным голосом завопила кошка. Даже головой покачал: ну, герой, кошку за волка принял. И обрадовался. Надо Ивана-царевича написать, на волке. Как царевну от Кощея увозит. Чудесная картина может выйти. Абрамцевские дубы, ахтырские глазастые цветы...

Весело поглядел на звезды.

- Спасибо за подарок!

Обуяла работа. Холст для богатырей был взят богатырский: 295,3 X 446. Каждое утро из конюшни приводили Лиса, приходил Дрюша Мамонтов. С него Виктор Михайлович писал младшего богатыря Алешу Поповича. Дрюша, может быть, был слишком молод для богатыря, - совсем еще мальчик, но Васнецов хотел ухватить в этом образе - беззаботность. Скакать и

биться хоть сейчас готов, пусть только укажут, куда скакать, кого воевать. Для этой готовности сразу и детали нашлись: лук со стрелой в одной руке наготове, а в другой руке плетка. Стеганул коня – и пошел богатырским скоком по степи врагу наперерез. Сразу пришло и движение для богатырей. У Добрыни тоже должно быть оружие наготове, а вот Илья торопиться не будет. Умудрен жизнью и боевым опытом. Он, прежде чем скакать и бить, обязан взвесить и вражескую силу, и свою тоже. Враг коварен, может в западню поймать. Если уж бить врага, то крепко и намерняка.

А между тем церковь строилась. Да так быстро, как только в сказках бывает. 31 мая еще прожекты рисовали, а 7 июня Мамонтов записал в дневнике: «Кладка в настоящее время доведена под крышу с трех сторон, только двойное северное окно задержало кладку, но г. настоящее время колонны готовы, и завтра окно будет сделано и начнут делать своды».

Пора было подумать о внутреннем да и внешнем убранстве храма. Поленов предложил поехать в Ростов Великий и в Ярославль, расхваливая красоту и оригинальность тамошних храмов.

Отправились всем абрамцевским табором. Тихое озеро Неро отражало, прихорашивая, древний ростовский Кремль. В Ярославле дивились соседству великой Волги, с напором летящей мимо города в неоглядные дали, и совсем деревенской, недвижимой, в кувшинках, речки Которосли.

Храмы Ярославля были все стройные, купола держали высоко, гордо. Каждая церковь в изразцовых поясах, где под крышею, где вокруг окон. Изразцы сверкали новехонько, а им уж более двухсот лет.

Поразили росписи в храме Ильи Пророка необычайностью тем, сочностью красок. Постояли на

каменных плитах монастыря, сохранившего России «Слово о полку Игореве».

Вернулись в Абрамцево полнехонькие, как короба. Поленов занялся проектированием алтаря, а Васнецов, сделавший рисунки рельефов для окошек, увлекся камнерезаньем. Тотчас каменотесами заделались и все обитатели Абрамцева. Даже Елизавета Григорьевна взялась за резец и молоток, и Петр Антоныч Спиро, и репетитор мамонтовских школяров студент Юркевич.

Уже в конце июля каменные работы были завершены. Оставалось покрыть крышу и написать образа. С крышей было просто, завезли железо и покрыли, а вот с образами художники не поторапливались. Один Репин, вспомнив молодость, любовно писал «Спаса Нерукотворного».

Васнецов же с головою ушел в своих богатырей, да так преуспел, что осмелился устроить вернисаж.

В Абрамцеве людей на все хватало: на труд, па искусство, на отдых и на игру.

Савва Иванович, строитель железных дорог, строитель церкви, сел, да и накатал за несколько дней комедию, названную им «Каморра». Сюжет ее был незатейлив. Каморра – это шарлатаны, которые, обирая русских туристов, тем не менее устраивают их личное счастье. Место действия Италия, а значит, много темперамента, много нелепицы и каламбуров.

Декорации снова написал Поленов, он же играл Джеронимо, одну из главных ролей комедии.

Поленов и Мамонтов предводительствовали в театре, пьеса, как всегда, была слеплена и поставлена наспех, за пару недель, представление состоялось 24 июня. Репин в то лето властвовал над полями и лесами Абрамцева, хотя жил в Хотькове. Все иное население усадьбы и деревни было охвачено военными действиями.



Васнецов со своей командой сидел в засаде. К нему подполз Дрюша.

- Смотрите туда! Они там! Они готовят атаку.

- Вот что, - решил командир, - бери самых ловких, по оврагу зайдешь им в тыл, и, как только мы завяжем сражение, выскакивай и забирай их знамя.

- Слушаюсь!

- Сидеть, глядеть в оба! - отдал команду Васнецов, наблюдая за лесом через поляну: кусты там и впрямь шевелились подозрительно.

И тут кто-то из васнецовских увидел «противника» и, охваченный восторгом боя, выскочил на поляну.

- Ура! - кричал мальчик. - Ура!

Несколько человек последовали за героем. Навстречу этой горстке со стороны противника высыпала целая армия.

Впереди, размахивая деревянной саблей, скачками мчался Репин.

- Эге-гей! - кричал он своим. - Сарррынь на кичку! Гоп! Гоп!

- Вперед! - послал войско Васнецов на выручку своим недисциплинированным храбрецам. И побежал сам, забыв прихватить оружие.

- Эге-гей! - вопил Репин, бросаясь на предводителя вражеского отряда, занося саблю над головой.

Васнецов остановился.

- Илья, да ты меня пополам рассечешь. Глаза-то как сверкают.

- Черт побрал! - сказал Репин, втыкая саблю в землю. - И впрямь завоевался. Однако почему ты без оружия? Вот что - война есть война: ты - мой пленник.

- Ладно. Пленник, так пленник.

- Оружие сдавай!

Виктор Михайлович поглядел вокруг себя, поднял палку и положил ее к ногам победителя.

- Теперь по правилам?

- Все в порядке.

И тут из леса, где укрывался противник, раздались радостные вопли победы. Сражавшиеся на поляне герои повернулись на крики. Из леса выбежал Дрюша с плененным знаменем в руках.

- Победа! - звенел он на все Абрамцево. - Победа!

- Прохлопали! - ахнул Репин и, прищурясь, глянул на Васнецова. - Обхитрил, длинный! Начисто обхитрил.

Случился тихий вечер, без споров, без остроумничанья, даже без музыки. Сидели в гостиной, занимаясь своими делами. Дети строили из специального набора кубиков дворцы. Елизавета Григорьевна и Наташа Якунчикова вышивали хоругви, рисунки к ним сделал Поленов. Савва Иванович карандашиком набрасывал портрет Наташи. Он снова вспомнил о скульптуре. Александра Владимировна листала старые номера «Живописного обозрения», Поленов молчал и слушал.

В чтецах нынче был Васнецов. Для чтения избрали «Купца Калашникова», а Виктор Михайлович в «Калашникове» души не чаял. Читал он поокивая, глуховато от волнения:

Отзвонили вечерню во святых церквах;  
За Кремлем горит заря туманная;  
Набегают тучки на небо, —  
Гонит их метелица распеваючи;  
Опустел широкий гостиный двор.  
Запирает Степан Парамонович  
Свою лавочку дверью дубовою  
Да замком немецким со пружиною;  
Злого пса-ворчуна зубастого  
На железную цепь привязывает...

- Какая тревога за всей этой картиной. Все обычно, а жизнь уже сломана. - Васнецов отирал слезы. - Всякий раз на этом месте горло перехватывает.

Присловье читал и разудало и весело, но смертной тоской веяло и от удали, и от веселости.

Ай, ребята, пойте - только гусли стройте!  
Ай, ребята, пейте - дело разумеите!  
Уж потешьте вы доброго боярина  
И боярыню его белолицую.

Концовку читал спокойно, никак не окрашивая голос, а у слушателей по спине мурашки бежали.

И казнили Степана Калашникова  
Смертью лютою, позорною;  
И головушка бесталанная  
Во крови на плаху покатила.  
Схоронили его за Москвой-рекой,  
На чистом поле промеж трех дорог,  
Промеж Тульской, Рязанской, Владимирской.  
И бугор сырой земли тут насыпали,  
И кленовый крест тут поставили.

Чтение кончилось, но те, кто слушал, пошевелиться и то не смели. Виктор Михайлович отер лоб платком.

- Такое чувство, словно над обрывом стою.

- И я тоже почувствовала себя над обрывом! - откликнулась Наташа Якунчикова. - Господи, что же это за наваждение? Что это такое?

- Художественность, - сказал Мамонтов.

- Честность, Савва Иванович! - воскликнул Васнецов. - Милая честность! За нее бы поцеловать человека и все ему простить. Ан нет! Честен - так

получай! И кнут, и казнь! Л самая пуцая гадость во всем этом, что все слезами обливаются: гонитель, палач, зрители. Знали бы вы, как я ненавижу зрителей. Зрителей! Палач – человек подневольный. Правителю бычий пузырь власти, надутый, глаза застит, а ведь зритель-то все понимает, и ни с места. Никогда правого не защитит. Никогда!

– Да ты бунтарь! – засмеялся Мамонтов.

– Он – Калашников, – сказал Поленов.

– Да вы все у нас рыцари! – улыбнулась Елизавета Григорьевна и увидела благодарные влажные глаза Наташи.

Она, бедная, без памяти и без надежды была влюблена в Поленова, а у того весь мир на Климентовой сошелся. Снова наступила тишина, и все поглядели на темные окна. За окнами свершалось теперь таинственное преображение: лето перетекало в осень.

– Август, – сказала Наташа.

Савва Иванович пошел проводить Васнецовых до «трех сосен». Половина неба была закрыта облаками, а другая половина в звездах.

– Летит! – вскрикнула Александра Владимировна.

– Август, – сказал Савва Иванович. – Звездопады в августе – обычное дело. Хочу все тебя спросить, Виктор... Вам ведь тесно. Не очень помешает, если мы террасу пристроим?.. На следующий год Яшкин дом снова ждет тебя, если Абрамцево не надоело.

– Спасибо, Савва!.. Мне ничего не помешает. Тем более что я собираюсь на недельку отвлечься от богатырей. Нельзя, чтоб работа приедалась. Пора ведь образа для церкви писать. За мной сам Сергей Радонежский. По Лавре хочу побродить.

– Погода-то! Совсем солнца нет!

– Для думанья хорошо, что солнца нет. Глаза не слепнут.

- Правду тебе скажу: удивляюсь твоим богатырям, и очень счастливо удивляюсь. На моих глазах ты сам в богатыря вырос. Еще в какого богатыря!

- Савва!

- Ну что Савва! Критика дурит? погоди печалиться. Это еще не беда, когда ругают. Вот когда хвалить начнут - тогда беда. Мед, он липкий! И вымажут, и перекормят. А перекормленный медом зритель много хуже зрителя незрячего.

- А может ли незрячий быть зрителем? - улыбнулась Александра Владимировна.

- Еще как может! - в один голос сказали и Савва, и Виктор.

Среди дня пришел Репин. Виктор Михайлович латы на Алеше Поповиче выписывал.

- Привез Мамонту подарок! Моего Пирогова. Форму отлили чудесную: оба экземпляра один к одному. Второй думаю университету подарить. Я зимой скуки ради хочу лекции послушать... А вообще, скажу тебе, надоела мне матушка-Москва, как горькая редька. Ой, Витя! В России, если есть где жизнь, так только в столице. Дремучие у нас люди. Даже те, что с университетами, с Сорбоннами! Встретил вчера в Москве Третьякова с Григоровичем. Григорович в Петербург зовет. Обещает квартиру при музее. Я бы поехал. На Григоровича, впрочем, надежда малая, слишком он легок на слово. Сказал и забыл. Но Москва для меня исчерпана. Закончу «Крестный ход» и... Может, вместе подадимся?

Васнецов смотрел на Репина серьезно.

- Быстрый ты человек, Илья. Ну, куда я от этого? - рукою показал на полотно. - Это, Илья, мне Москва дала.

- Москва, Москва! Она не приняла ни тебя, ни меня.

- Значит, не из торопких. Ничего, примет. Я Москву домом ощущаю. Будут деньги, обязательно построю

себе дом в каком-нибудь переулке. Москва – переулками красна. Сошел с тротуара – и вот она тебе и деревня, и Россия.

– Домосед ты, Витя!

– Домосед, но бездомный.

– А я – кочевник. У меня степь в сердце. Что же до богатырей, то ты прав – это у тебя крепко, крупно. Хороша троица! В искусстве теперь тоже есть три богатыря.

– Ты, я, а третий кто? – хохотнул Васнецов.

– А Суриков! Подходит?

– Подходит. Только у каждого из нашего брата своя троица.

– Пускай их тешатся. А троица та, что я назвал. Знаешь, что я теперь пишу? Человека, вернувшегося с каторги. Из образованных.

– Нашел время! Это после первого-то марта?

– Ко времени! Смотришь, их высочества поглядят, да и вернут кого-то. Ну, ладно, богатырствуй! Побежал. А помнишь, как впервые встретились? Ты Гомера нарисовал. По Академии гуд, вокруг толпа, Куинджи кудрями трясет: новый гений.

– Смешные мы были!

– Мы были то, что надо. Мы хотели быть гениями, и если еще не стали ими, так станем. Время у нас есть!

И улетел, как птаха, быстрый, легкий, счастливый.

Стоял перед «Троицей» Рублева. Стоял, как перед чудом! И чудо это по простоте, красоте, по естеству своему было равным радуге, звездному небу, утру. То был сам круг жизни. Фигуры трех ангелов явственно обозначали этот круг. Осыпавшаяся, переродившаяся за века краска не губила впечатления, а только его усугубляла. Синее – как вздох ребенка, вишнево-красное – мало что само по себе величественно, оно у смотрящего все гордое в нем, все высокое, все, что и есть в человеке, – бог, оживляет и поднимает со дна

души. Золотые лица ангелов, их глаза, устремленные в самих себя, в свою тихую скорбь, были воистину вечными.

Васнецов вышел из храма и сколько-то времени простоял на площади, прежде чем глаза стали доносить до мозга живую жизнь вокруг: старец монах, молоденький послушник, бабы в лапоточках, дамы с кавалерами.

В киосках шла торговля. Стояла очередь за святой водой. Все это было человеческое, хорошее, милое. Но это была суета сует. И всю эту жизнь привел в движение, не ведая о том, монах Сергей, прозванный Радонежским. Каким он был? Суровым и неприступным: ведь подвигнул Русь на противостояние, без него не хватило бы у князя Дмитрия духу выйти на Куликово поле. А может, был он, как агнец. Кротость тоже воспламеняет, поднимает сильного на защиту слабого. Главное, человек он был!

- Радонежье! - вслух сказалось, радуя праздником звуков. - Радонежье.

Почему-то представил осины с рыжими наростами лишайников, серое небо, остуженную осенним хладом воду.

Церковь в Абрамцеве была построена, и вот тут наконец пришло разрешение на ее строительство. «Закладку», то есть освящение места и торжественный молебен назначили на первое сентября, совместили с празднованием дня рождения Елизаветы Григорьевны.

Отликовались - и на зимние квартиры. «Богатыри» требовали иного простора, Васнецов снял квартиру теперь уже на Таганке, на Воронцовской улице.

Близилось открытие Всероссийской художественно-промышленной выставки, о которой много хлопотал Михаил Петрович Боткин. Художники давали на нее самое лучшее. Васнецову хотелось быть на выставке и хорошо представленным, и вполне новым. Он взялся за

новый вариант «Витязя на распутье» и, видимо, потому, что вкладывал в эту картину тревожащую его мысль. Это была подсказка властям, и прежде всего новому царю: чем куда бы то ни было подвигать Россию, подумали бы...

Васнецовский витязь не скачет сломя голову дорогой непрямоезжею, стоит. Дума его тяжкая, а вокруг не чужая земля – Русская.

Кроме «Витязя», Виктор Михайлович готовил к выставке «Аленушку», переписывая некоторые неудачные места, и «Акробатов». Поспешал он с «Тремя богатырями». Преподаватель Академии художеств Иван Федорович Селезнев писал Чистякову 10 декабря: «Вчера я был у Васнецова – видел его картину, вещь прекрасная; типы богатырей замечательные, в особенности хорош Илья Муромец. В живописи он тоже сделал успехи...»

Однако картина на выставку не попала. Почему? Да, может, потому, что в Москве не было Поленова.

Процитируем письмо Василия Дмитриевича от 8 ноября 1881 года. Вот что он писал Адриану Викторовичу Прахову в Петербург: «Сегодня узнал я от Саввы, что Вы собираетесь в странствование на Восток, правда ли это? Я ведь тоже имею намерение предпринять такое же путешествие, и если почему-либо это не расстроит Ваших планов, то я был бы несказанно рад совершить его вместе с Вами».

Поездка на Восток состоялась. Уже в декабре Поленов, Прахов и Абамелек-Лазарев были в Каире. А между тем приближался Новый год. В доме Мамонтовых на Садовой затевали очередной спектакль. Да какой! Савва Иванович решил ставить «Снегурочку» Островского. Декорации ко всем прежним спектаклям писал Поленов. Кто-то должен был заменить его. И кто же, как не самый близкий дому человек, кто, как не Васнецов? Правда, маленькое «но» имелось: Васнецов



понятия не имел, что такое сцена, декорации, театральные костюмы. Да у руля-то театрального предприятия стоял Савва Мамонтов. Тот преград не ведал и сомнениями не терзался.

Васнецов отнекивался, но Мамонтов был неумолим, и «под вдохновляющим деспотизмом» работа пошла сначала помаленьку, а потом уж и ночей не хватало. Где уж тут о «Богатырях» думать?

Написать надо было четыре декорации: Пролог, Берендеев посад, Берендееву палату и Ярилину долину. Да еще костюмы.

Дело, как всегда у Мамонтова, было задумано и совершено с размахом.

В Тульскую губернию отправили одного из служащих специально для закупки у крестьян старинных костюмов, вышивок, домашней утвари.

Заведование костюмерной и бутафорией взяла на себя Елизавета Григорьевна, и за две недели все у нее было готово.

А Васнецов одолел под восхищенными взглядами Саввы и Ярилину долину, и Берендеев посад. Изощрялся выдумкою, рисуя Берендееву палату, а вот Пролог у пего не пошел.

- Отдохнуть нам всем надо! - решил Мамонтов и увез Васнецова на денек в Абрамцево. - Ты заодно деревяшки поглядишь. Может, пригодится что для Палаты.

Истопник обрадовался приезду хозяина, набил печи дровами. Холодный, отчуждающий воздух быстро стал домашним, но в пустых комнатах хозяйничали все-таки не люди, но вещи.

- Музеем веет, - сказал Васнецов. - Летом этого не чувствуешь, а сейчас и стены, и мебель так и тычут тебе, что ты - тоже не вечен, что здесь до тебя бывали Аксаков, Гоголь... Господи, Гоголь!

Мамонтов, стоя у окна, сказал серьезно:

- Ничего страшного. Были здесь они, теперь - мы. Погляди, какая луна на дворе.

- Пойду пройдуся, - спохватился Виктор Михайлович и быстро добавил: - Может, что и подгляжу...

Дубы теснились, как отступающая рать. Их сучья, похожие на руки, вскинуты вверх, словно они загораживались от света...

Васнецов пошел в сторону Яшкиного дома. Просторная поляна была светла и пустынна. На самой середине стояла закутанная в белую шубу елочка. Вершина ее от снега была свободна и сверкала иглами инея.

- Вот она моя Снегурочка!

В ночь перед рождеством, 6 января 1882 года, домашний театр на Спасско-Садовой был полон.

Александра Владимировна, когда пошел занавес, от страха и волнения опустила голову, закрыла глаза и услышала - тишину. Глянула, и дыхание в груди застряло: нежная зимняя лунная ночь, искры инея на сугробах и влажный ветер на деревьях. От засыпанной снегом коряги отделилась странная фигура, и все тотчас поняли - Леший.

Конец зиме, пропели петухи,  
Весна-Красна спускается на землю.

Наконец-то зрители перевели дух и улыбнулись, приветствуя и принимая сказку. Весна обрадовала красотой и нарядностью. Это была непривычная красота, красота давно минувшего времени, но ее приняли и полюбили.

Залу охватило нетерпение: каким-де великолепием сразит наповал Мороз? А он явился в просторной длинной холщовой рубахе с серебряною искоркою кое-

где. В рукавицах, без шапки. Белые космы дыбом стояли над высоким лбом, белая борода во все стороны.

- Весна-Красна, здорова ли вернулась? - раскатывая кругленькое вятское «о», спросил певуче хозяин зимы.

- И ты здоров ли, Дед Мороз?

- Спасибо! - улыбнулся простецки, но продолжал, крепчая в слове:

Живется мне не худо. Берендеи  
О нынешней зиме не позабудут,  
Веселая была; плясало солнце  
От холоду на утренней заре,  
А к вечеру вставал с ушами месяц.

Морозу - Васнецову аплодировали с восторгом. Хорош был дедушка! Хорош! Всеволод Саввич Мамонтов вспоминал на старости лет: «„Любо мне, любо, любо“, - слышится мне его голос».

А ведь этой реплики у Островского нет. Стало быть, и к месту была, и сказана с таким чувством, что запала в юную душу на всю жизнь.

И уходил Мороз - Васнецов замечательно, не угрожая. В голосе его звенело лукавство и молодечество, когда произносил он свои последние слова:

Прощай,  
Снегурочка, дочурка! Не успеют  
С полей убрать снопов, а я вернусь.  
Увидимся.

В этом «увидимся» звучала отцовская тревога, надежда и предупреждение всем, кто мог Снегурочку обидеть.

Радостные слезы сжимали сердце Александры Владимировны: как же он талантлив, милый ее верзила! Во всем талантлив! В самой жизни талантлив и даже тут, на сцене.

Рецензий на домашние спектакли не пишут, мало ли кто и как веселится? Рецензий на «Снегурочку» у Мамонтовых тоже не было, но остались свидетельства. И какие! Репин еще 20 декабря 1881 года, увидав не спектакль – одни только рисунки для костюмов, пришел в восторг, а так как его кипучая душа желала все прекрасное, доброе, нужное немедленно внедрить в повседневную жизнь, то он тотчас и написал Стасову: «Не могу не поделиться с Вами одной новостью: здесь у С. И. Мамонтова затеяли разыграть „Снегурочку“ Островского. Васнецов сделал для костюмов рисунки; он сделал такие великолепные типы, просто восторг!!! Мне, казалось бы, этими рисунками надобно воспользоваться для оперы Римского-Корсакова. Я уверен, что никто у Вас не сделает ничего подобного».

Стасов тоже придет в восторг, но... семнадцать лет спустя, когда мамонтовская Частная опера гастролировала в Петербурге:

«Никогда еще ничья фантазия не заходила так далеко и так глубоко в воссоздании архитектурных форм и орнаментики древней Руси, сказочной, легендарной, былинной».

В конце каждого слова чудится восклицательный знак, не правда ли? Ну а далее более!

«Какая радость, какое счастье, какое чудное знакомство с капитальнейшими произведениями фантазии художника, в высочайшей степени оригинального и самостоятельного. Какая изумительная галерея древнего русского народа, во всем его чудесном и красивом облике, эта галерея старого русского простонародия и его бояр, древних русских девиц и замужних баб, в их картинных старинных

разноцветных одеждах из чудных узорчатых материй, с ожерельями и всяческими дорогими уборами на шеях, на лбах, древнего берендеевского царя, и его шутов, и всего его причта...» И так далее, со множеством «изумительно», «прелестно», «поэтично», с завершающим обещанием чуть ли не бессмертия: «Эти декорации, и костюмы, и фигуры навеки останутся драгоценными образцами русского творчества нашего времени».

Но как эти стасовские слова были бы нужны Васнецову в начале 1882 года. Как бы они окрылили тридцатитрехлетнего художника. Потому что всего признания было: у Мамонтовых – безоговорочно, у Третьякова – с разбором.

Сохранилось свидетельство, как Васнецов воспринял хвалебную статью Стасова. Перечитал вслух то место из статьи, где критик пустился в объяснение успеха художника: «Надо было просмотреть много сотен и тысяч миниатюр из древних русских рукописей, фресок внутри зданий – уж и то был труд громадный», – улыбнулся и головою покачал.

– Перехвалил меня Владимир Васильевич. Никаких сотен и тысяч я не смотрел. Чутье подсказывало. Ведь я русский человек. И в Вятке кое-что видел, и Москва-матушка многому научила!

Так или иначе, но домашний спектакль превратился в художественное событие 1882 года. Для Саввы Ивановича Мамонтова успех этот не был неожиданностью, хотя и он, великий администратор, конечно, не мог предположить, что его «Снегурочка» станет не только гвоздем зимнего сезона в Москве, но войдет в историю русского театра. Успех спектакля оказал поддержку и живописи.

Для Москвы Васнецов был открыт не столько передвижными выставками, сколько «Снегурочкой». Открытие это, конечно, салонное. Но салон Мамонтовых

ничего общего с салонностью не имел. Здесь искусство не потребляли, а производили. Живопись не для интерьера, а одухотворенности жизни, музыка не за ради моды, а ради самой же музыки и для полноты человеческого существования.

И никогда ничего чересчур всерьез. Вернее, всерьез, но для дела. А дело, если это дело, не терпит проволочек. Церковь нужна? Вот вам церковь. За три месяца. Критика твердит, что русский художник обезьянничает с Европы, что своего искусства не было и не будет. Неправда, есть русское, своеобразное, неповторимое, гениальное! Ах, вам нужны вещественные доказательства гения? Вот вам «Запорожцы» Репина, вот вам Васнецов, Поленов. Необходимо развитие? Будет и развитие – Серов, Коровин, Врубель. Нет русской оперной школы? На русскую оперу не ходят и не будут ходить. Вот вам «Снегурочка», «Хованщина», «Борис Годунов» и Шляпин.

На ту первую «Снегурочку» для домашнего спектакля Васнецов потратил не более трех-четырех педель, еще и роль Мороза разучивая, еще и картины свои пописывая... А вышел не только шедевр театрального искусства, но взяло, да и сказалось вообще новое слово в искусстве русского театрального костюма, в искусстве декорации. Произошло переосмысление роли живописи на театральных подмостках. Декорация из второстепенно-сопутствующего стала за один вечер главным действующим лицом. Декорация уже не оттеняла спектакль и фигуру актера, но диктовала театру свою художественную волю. Нельзя было не соответствовать декорациям. Декорация определяла стиль спектакля, стиль актерской игры. Нельзя быть бедуином в заполярной тундре, хотя и там и там – голо.

Так что Станиславский начинается, может быть, не со Станиславского и даже не с Мамонтова, но с Васнецова, который, в свою очередь, немислим без Мамонтова.

Васнецов в театральном деле был, конечно, дилетант, но удалось ему сказать своеобычное слово в театральном искусстве.

Живописец той эпохи – это ведь прежде всего режиссер. Да какой еще режиссер! Помните, сколько времени потратил Суриков на поиски исполнителя роли боярыни Морозовой, сколько Репин искал, не находя, пригодного актера для Ивана Грозного, и сам Васнецов – для своего Ильи Муромца.

Далее картина решалась композиционно и в цвете, уравнивалась расстановкой фигур и цветом. Природа тоже получала свою роль, иногда весьма значительную, как в «Последнем дне Помпеи», в «Явлении Христа народу», в «Аленушке». Но это мало, живописец владел еще одной тайной тайн: он умел передать настроение. Первые зрители васнецовской «Снегурочки», может быть, и не поняли вполне, что с ними произошло, когда открылся занавес «Пролога». Не зимний ночной пейзаж поразил их в самое сердце, но именно настроение, потому что от заснеженной поляны, от леса, от веточек деревьев повеяло не холодом зимы и не каким-то определенным и ясным чувством. Нет, тут было только предчувствие! Предчувствие весны.

«Я не нахожу слов, чтобы передать, что мы все, видевшие „Снегурочку“, тогда переживали, – вспоминал брат Станиславского Владимир Сергеевич Алексеев. – Чудесные, полные поэзии слова Островского не только зажили новой для нас жизнью, но все герои „Снегурочки“ представились нам только такими, какими их показал Васнецов. Это был переворот, революция в театральном деле, замечательное открытие нашей старой, далекой жизни».

Это было не ослепление новизною. И. Э. Грабарь много лет спустя писал: «Рисунки к „Снегурочке“, находящиеся в Третьяковской галерее, в смысле проникновенности и чутья русского духа, не превзойдены до сих пор, несмотря на то, что целых полстолетия отделяет их от наших дней, изоощренных последующими театральными постановками К. Коровина, А. Я. Головина, И. И. Билибина и др.».

Илья Муромец тридцать три года сиднем сидел. Васнецов же был великим непоседою, но его тридцатитрехлетие тоже вполне замечательное: «Три богатыря», храм в Абрамцеве, рисунки и декорации к «Снегурочке».

Расставаясь с 1881 годом, стоит помянуть еще об одном летнем эпизоде абрамцевской жизни.

Как-то за обедом Савва Иванович прочитал лермонтовское стихотворение «Желание».

– Вот вам, художники, прекрасная тема для живописи.

Поленов и Васнецов друг перед дружкой сочинили эскизы, но Поленов тотчас и охладел к замыслу, а Васнецов не только написал картину, но и экспонировал ее на Передвижной.

«Я прихожу на выставку, – вспоминал Васнецов. – „Ваша картина продана“. Осмотрел картины, спросил – А кто купил? – Поленов. – Ну, это высшая похвала для художника, когда художник же покупает произведение своего собрата».

Картина Васнецова «Зачем я не птица, не ворон степной», решенная совершенно необычайно для Васнецова, была приобретена Поленовым за 600 рублей.

Весна 1882 года началась в Абрамцеве большими хлопотами. Мамонтов для «Трех богатырей» приказал переоборудовать сенной сарай, примыкавший к Яшкиному дому. Мастерская получилась высокая, просторная, светлая. Работай, художник, старайся!



Много дел было в храме. Устраивали алтарь, приготовленный за зиму в Москве специально нанятыми резчиками по дереву. Вернувшийся из Палестины Поленов для царских врат написал икону Благовещенья и, освоив новое для себя дело, майоликовую икону Нерукотворного Спаса для входной двери. Писал и малые иконы: «Тайную вечерю», «Царицу Александру», «Князя Всеволода». Неврев создал Николая-чудотворца, Васнецов – Сергия Радонежского.

Помня ярославские храмы, хотели под куполом сделать изразцовый пояс, но цветных изразцов купить было негде. Занялись самодеятельностью: выписали белые изразцы, раскрасили керамическими красками, обожгли в специально построенной печи. Большинство изразцов пошло в брак, но выбрали то, что было получше, и украсили верхний край купольного барабана.

Кровлю закончили, пришла пора под ноги посмотреть. Мамонтов хотел выстлать пол чугунными узорчатыми плитами, но тоже подходящих не нашли. Тогда, махнув рукой, Савва Иванович приказал пол забетонировать.

Вот тут-то Васнецов и восстал.

– Да как же так?! Мы камни, красоты ради, лето напролет строгаем, и вдруг взять и погубить все дело.

– Виктор! – поднял руки Мамонтов. – Рабочие к твоим услугам – твори, но помни: до освящения остались уже даже не недели, а считанные дни.

Рисунок мозаичного пола – невиданный сказочный цветок – был готов в тот же день, а на следующий его уже выкладывали. Автор то и дело оставлял свои картины и прибегал поглядеть, как идет работа, сам принимался подбирать камни, заботясь о верности цветовых тонов.

В самые последние дни перед освящением вспомнили о клиросах. Неврев выкрасил их в сине-

зеленый цвет, и вышло скучно, казарменно.

- Несите мне цветы! - приказал абрамцевской ребятне Васнецов.

Букеты были тотчас доставлены, и чудо совершилось на глазах. Вооружась палитрой и кистью, Виктор Михайлович нарисовал на клиросах волшебные цветы, похожие на те, что расцветут в его сказочном лесу, через который на волке мчится Иван Царевич с царевною.

Обратимся еще раз к прекрасным воспоминаниям Всеволода Саввича Мамонтова. Они касаются судьбы Василия Дмитриевича Поленова и Натальи Васильевны Якунчиковой. Четырехлетним мукам Наташи пришел конец. Во время хлопот по устройству внутреннего убранства собора Василий Дмитриевич сделал предложение и получил согласие.

«Свадьба их была первой в только что освященной новой абрамцевской церкви, - писал Всеволод Саввич. - И сейчас, как живая, стоит у меня перед глазами любимая стройная фигура Василия Дмитриевича во время венчания с венцом на голове. Он не захотел иметь шаферов, которые, по обычаю того времени, держали во время венчания над головами венчающихся венцы, а надел себе на голову венец скромного вида, исполненный по древнему образцу специально для абрамцевской церкви.

После женитьбы „молодые“ Поленовы провели лето в Абрамцеве в только что отстроенном доме, с той поры так и носящем название поленовского».

Все это было в начале летнего сезона, а в августе праздновали еще одну свадьбу. Племянница Мамонтова Мария Федоровна вышла замуж за Владимира Васильевича Якунчикова. По случаю торжества был устроен день театра и сыграно сразу три вещи: «Камозэнс» Жуковского, третий акт оперы Гуно «Фауст» и водевиль Саввы Ивановича «Веди и Мыслете» -

инициалы новобрачных. Главная интрига водевиля заключалась в том, что действующими лицами были Репин, Васнецов, Поленов и Неврев, роли которых исполняли: Репин, Васнецов, Поленов и Неврев.

Писал Виктор Михайлович в то лето «Трех богатырей» и начал «Ивана Царевича на Сером Волке». Вот где ему сгодились абрамцевские дубы, вот где сказка пришла на полотно полной хозяйкой. Как знать, сколько еще сюжетов из русского фольклора роилось в голове Виктора Михайловича, вполне осознавшего свою роль в русском искусстве, но жизнь про нас знает больше, чем мы знаем про себя.

В те годы в самом центре Москвы, на Красной площади, было закончено строительство здания, специально сооруженного под Исторический музей. Устройством музея занимались Иван Егорович Забелин и граф Алексей Сергеевич Уваров, председатель археологического общества. Он-то и обратился однажды к Адриану Викторовичу Прахову:

- Вы хорошо знаете таланты наших художников, укажите мне такого, которого я мог бы пригласить написать «Каменный век» для фриза нашего музея.

- Васнецов, - не раздумывая, ответил Прахов.

- Как, это того самого, которого выгнали из Академии художеств?

- Нет, не того самого, которого выгнали из Академии художеств, а того, который сам ушел из Академии, не выдержав ее рутин.

Память у графа была слабовата, и через некоторое время он чуть ли не слово в слово обратился к Прахову с тем же вопросом.

- Адриан Викторович, вы хорошо знаете таланты наших художников, укажите мне того и т. д. и с теми же восклицаниями: «Как, того самого, которого выгнали из Академии художеств?»

В третий раз, по счастью для Васнецова, разговор между профессором Праховым и графом Уваровым произошел на рауте в Зимнем дворце.

- Адриан Викторович, - в присутствии весьма сановитых слушателей, с игривостью задал свой вопрос Уваров, - вы хорошо знаете таланты русских художников, укажите мне такого, которого я мог бы пригласить написать «Каменный век».

- Васнецов, - был ответ.

- Как, это того самого, которого выгнали из Академии художеств?

- Ваше сиятельство, - отчеканил Прахов, - я уже два раза имел честь ответить вам на тот же самый вопрос и рекомендовать художника Виктора Васнецова, и только Васнецова!

Граф смутился, пожал профессору руку и исчез в сверкающей звездами толпе придворных. На этот раз он не позабыл разговора и, самое удивительное, внял рекомендациям Адриана Викторовича.

В марте 1883 года Васнецов, который в ту зиму снимал квартиру на Девичьем поле, был приглашен в Леонтьевский переулок, где жил граф Уваров.

Алексей Сергеевич принял художника в кабинете. Пыжился ужасно, скорее всего от смущения - предстояло говорить с художником о деле, а художники, по слухам, народ опасный, ведут себя непредсказуемо, титулов и званий не чтут.

- Я зачитаю вам, милостивый государь, - сказал граф, предложив Васнецову кресло, - я зачитаю вам выдержку из устава нашего Исторического музея. Так сказать, чтобы ввести вас в курс дела и для осознания важности оного.

Граф зачитал приготовленную выдержку, взглядывая на слушателя не без подозрительности, но художник, благообразный и серьезный, вел себя тихо и вроде тоже робел.

- «В музее будут собираться все памятники знаменательных событий истории Русского государства, - читал Уваров, то и дело вскидывая глаза на Васнецова. - Эти памятники, расположенные в хронологической последовательности, должны представлять полную картину каждой эпохи с памятниками религии, законодательства, науки и литературы, с предметами искусства, ремесла, промыслов и вообще со всеми памятниками бытовой стороны русской жизни». Ну, вот, пожалуй, довольно. - Граф отложил листок. - Вам решено предложить расписать фриз в круглой входной зале. Это преддверие к музею, первая его страница. Она должна, во-первых, увлечь зрителя, а во-вторых, соответствовать исторической правде.

Васнецов слушал все так же внимательно и серьезно.

- М-да, - сказал граф. - Историческая правда. Тема, назначенная для фриза, - «Каменный век». Вам надлежит изобразить жизнь доисторическую. Запишите себе предлагаемые темы: выделка шкур, выделка оружия кремневых, выделка горшков, добывание огня, ловля рыбы, охота на медведя, пиршество...

- Стало быть, сцены жизни? Ваше сиятельство, не кажется ли вам, что охота на медведя - это так современно? Это XIX век. Может быть, лучше написать охоту на мамонта?

- На мамонта, на медведя... Не знаю. Медведи и теперь водятся, а где вы мамонта возьмете? Впрочем, есть скелеты, бивни и даже клочья шерсти. Рад, что тема вас заинтересовала. Прежде чем начинать работу, советую проконсультироваться у археологов Анучина и Сизова. Они специалисты доисторической эпохи.

Граф встал. Встал и Васнецов, раскланялись. Вышел Виктор Михайлович из дому с осадком в душе. «Медвежья охота». Экая новость.

- Откажусь!

Окликнул извозчика, сел в санки.

- Куда, барин?

- На Смоленский бульвар! - и спохватился. - Фу ты! Извини, милый человек. В Шапошников переулок мне. В Шапошников.

На Смоленском бульваре жили прошлую зиму, теперь был опять переулок. Извозчик берег лошадку, а седок ушел в себя и не торопил.

Вдруг так и встало картиною: острый сверк глаз! Именно сверк!

Глаза горят не по-человечьи, по-звериному. Это от голода и охотничьей удачи. В огромной яме - мамонт. Гора мяса! Угодил в западню. Нет! Человек - не зверь. Человек - мал, гол, ни когтей у него, ни клыков, но он силен умом. Мамонт размахивает страшным хоботом, один из людей повержен, но остальные окружили яму. У всех камни, дубины, копья, все бьют, бьют... Часы исполинского зверя сочтены.

И вот - пир. Огромный костер, чудовищные кости, опьянение едой, пожиранием сладостного жареного мяса.

Мамонт, охотники, пир. Композиция может получиться преудивительная.

Утром Виктор Михайлович был в музее, ознакомился с Анучиным и Сизовым. У него было сто вопросов: как одевались, какие украшения носили женщины, а может, и мужчины. Дети. Какие были дети? Как держались? Стайками или были при матерях? Быт. Каков был быт? В чем заключалась работа женщин? Роль стариков. Оружие. Какая была растительность? Какой должен быть пейзаж - лес, горы, вулканы, льды? Прирученные животные. Как быть с лошадьми, собаками, кошками?.. Способ ловли рыбы. Возраст! Каков был средний возраст племени? Как происходила передача опыта, попросту говоря - учеба?.. Занимался ли кто-либо с

детьми специально? Жрецы. Какие были жрецы в каменном веке?

Археологи разглядывали наброски, которые разложил перед ними художник, улыбались. Сизов только руками развел:

- Виктор Михайлович, вы больше нашего знаете! Мы по деталькам пытаемся восстановить картину и, что греха таить, видим ее очень смутно.

Анучин поддакнул:

- Нарисуете вы свой «Каменный век», и мы, археологи, по нему и будем судить о доисторическом времени.

Однако показывали древние иглы, бусы, скребки, ножи, наконечники каменных стрел и копий.

Виктор Михайлович все спрашивал, спрашивал и слушал. А потом и в споры пустился, и уже его слушали. Не свысока, с профессиональным особым интересом. Слушали и подправляли свои теории. Догадка художника стоит многого. Если и есть на свете ясновидцы, так это художники. Ведь в том и талант их – видеть. В том их труд – собрать по крохам знание, собрать в фокус волю, интеллект, фантазию – и увидеть давно забытые времена или само будущее.

- Самое трудное – показать быт, – говорил Васнецов. – Чтобы это было интересно, нужно множество правдивых деталей. Одна маленькая неправда перечеркнет весь труд. Ее-то, маленькую неправду, зритель увидит прежде всего и отвернется от картины.

Пока набирался в музее у мужей ученых ума-разума, вдруг грянул заказ императорского двора: нарисовать меню для коронационных праздников в Москве.

Александр III целых два года не решался протянуть руку за шапкой Мономаха – пришлось бы показаться народу, а стало быть, и революционерам, уничтожившим Александра Второго. Более двух лет

денно и ночью рыскали по стране жандармы и тайные агенты. Наконец было объявлено – коронация состоится в Москве во второй половине мая. Васнецову пришлось нарисовать несколько меню: обед 20 мая, обед 24 мая, обед 27 мая... Заглавное меню представляло собою большой лист с надписью: «Священное венчание на царствие Александра III и Марии Федоровны». Нарисованы знамена, рынды, бояре с символами власти, патриарх. Далее следовало перечисление блюд: «Борщок и похлебка. Пирожки. Стерляди паровые. Телятина. Заливное. Жаркое: цыплята и дичь. Спаржа. Гурьевская каша. Мороженое». Следовала картина несения царских регалий. Гуслиар и текст его здравицы: «Слава Богу на небе, слава! Государю нашему на сей земле, слава! Всему народу русскому, слава! Его верным слугам, слава! Именитым гостям его, слава! Чтобы правда была на Руси краше солнца светлая, слава! А эту песню мы хлебу поем».

Меню обеда 27 мая было нарисовано попроще: воин на коне, с перначом. Боярин со свитком. Щиты, шлемы, герб, знамя.

Пришлось Васнецову потрянуть стариной – уже и забывать начал старое верное ремесло рисовальщика.

К июню древняя столица отликовалась, и Васнецов занялся наконец «Каменным веком».

Сколько людей перерисовал он в то лето. И больше всего юного Серова.

Мир со времен каменного века переменился, а человек не очень. Разве что глаза у него стали иные: лгать научились.

Это тоже подвигало художника в творчестве. Он рисовал самых правдивых людей на земле. Если они убивали, так потому, что хотели есть, ликовали – еды было вволю. Задумывались – на благо племени, ибо добытый от трения дерева о дерево огонь согреет всех, сильных, малых, старых.



Абрамцево потому и Абрамцево, что здесь самый огромный труд не был трудом каторжным. Отойди от полотна, и ты – пират, берущий на abordаж лодку «противника», ты – не гений, и тебе не тридцать или пятьдесят, но те же тринадцать, что твоим матросам.

А вечером можно разыгрывать спектакль, послушать музыку или беседовать – и видеть людей, удивительных для всего мира и для самого XIX века.

Наталья Васильевна, жена Поленова, рассказывала своему корреспонденту в письме, датированном 12 сентября 1883 года: «Пребывание в Абрамцево было очень удачное этот раз; я от души радовалась за Василия; погода стояла чудная, и он много ходил, ездил на лодке, охотился, одним словом, физически действовал всласть... Каких чудес наработал Аполлинарий Васнецов. Ну просто завидно до чертиков. Какие краски! Откуда он берет такую силу? Сделал около девяноста этюдов...»

А у старшего брата Аполлинария хватало силы на аршинные полотна «Каменного века», на «Избушку на курьих ножках», на чудесные портреты Антокольского и Татьяны Анатольевны Мамонтовой, с которой писал царевну на Сером Волке. И ведь «Богатыри» тоже не были оставлены.

Откуда силы брались?.. Это свойство жизни: талант, соприкасаясь с талантом, впитывает в себя все превосходные качества оного, ибо это и есть его почва. В Абрамцево было куда корешки пустить...

Вот еще одно письмо Натальи Васильевны: «Василий принял сегодня же за царскую акварель. (Заказная работа Александра III из времени Балканской войны. – В. Б.) Он теперь так настроен, как я его никогда еще не знала. Антокольский много с ним говорил, так поднял его дух, дал ему больше уверенности, отрешил его от всех мелочей и дрызг... Редкий человек Антокольский. Он тут так на всех чудно

подействовал, он сам так высоко настроен, что передал частичку этого настроения и нам всем, и все как-то соединились одним хорошим чувством».

Чувство, о котором пишет Поленова, есть то, что зовется подлинной творческой атмосферой.

«Каменный век» Васнецова - это начало его подвижнического служения обществу, уже не одному таланту своему, но обществу. Васнецов и здесь для русских художников был первопроходцем. Он умел социальный заказ слить с заказом своего творческого «я».

Чем больше Виктор Михайлович уходил в работу, тем реже он показывался на люди днем. Зато и Яншин дом стал для обитателей Абрамцева пугалом. Кто Васнецову ни попадется на глаза - цап! - и в натурщики. Никому пощады не было. Предстояло ведь воссоздать из небытия целое племя.

Какую же сверхзадачу ставил перед собой художник? Без сверхзадачи никакой заказ, от кого бы он ни исходил, творческим «я» не станет, не станет и творчества, будет лишь исполнение долга, ремесленная совесть и техника.

Обратимся к Лобанову, записавшему одно важное признание Виктора Михайловича Васнецова: «По существу я всегда думал только об одном и писал только одно: Русь свою матушку, жителей ее, предков моих милых! Для меня совершенно одинаковы мои предки, независимо от того, сидят ли они на копиях в богатырской заставе; едут ли по полю, раздумывая, куда направить путь; несутся ли по непроходимому лесу на волке или бездыханными покоятся в густой траве, положив жизнь за други свои. Изображая людей каменного века, я провидел в них предков наших древних вятичей. Писал я их вовсе не по книгам, не по материалам раскопок, а по внутренней догадке, по своему чутью. Может быть, и присочинил что, добавил и

даже искажил, но все это шло от моего понимания и чувства прошлого».

Итак, «Каменный век» – это не вообще прошлое и не вообще люди. Это родная земля, это люди, с которыми художник, как бы они далеко во времени от него ни отстояли, одной крови.

Мамонтов, глядя на мамонта, изображал обиду:

– Виктор, за какую мою провинность ты ухнул моего предка в такую ямищу? Ни туда – ни сюда. Не-хо-ро-шо!

– Хорошо! Хорошо! – возражал Васнецов. – Ты не из тех Мамонтов, которые в ловушки попадают, ты из тех, кто западни перескакивает да перепрыгивает и трубит, трубит славу свету, разгоняя тьму!

– Экий штиль у тебя высокий!

– А ты не дразни.

– Да я не дразню. Пожалуй, еще и спасибо скажу, глядя на твоего мамонта. Моему и впрямь иногда поосторожничать не мешает.

«Каменный век» нежданно-негаданно стал для Васнецова школой будущих его работ. Стечением обстоятельств это не назовешь, потому что именно «Каменный век» навел Прахова на его знаменитое предложение. Васнецов выработывал особый живописный язык не потому, что ему хотелось щегольнуть еще одною гранью своего великого дарования. Об этом даровании художник до «Каменного века» и не подозревал.

Новый живописный язык явился не сам собою, его необходимость продиктована назначением произведения. Масляные краски на холстах должны были сыграть роль фресок. Стало быть, прежде всего нужно было достигнуть матовости цвета, мягкости, отзывчивости на светотень.

Предстояло научиться передавать объемность и выпуклость изображения на вогнутой поверхности. И,

главное, ни на минуту нельзя было забывать о том, что изображение будет смотреться на расстоянии и снизу.

Кончился 1883 год, а работе конца не было. Ведь холст имел в длину девятнадцать метров сорок сантиметров. Все эти метры отдавались не морю или долу, но многофигурным сцелам. Сестра Поленова художница Елена Дмитриевна писала в апреле 1884 года Наталье Васильевне в Рим: «Была у Виктора Михайловича и там встретила Репина, который только что приехал сегодня из Петербурга. Викт. Мих. страшно много работает, очень устает, сильно, бедный, похудел. Алекс. Влад. говорила мне, что он так утомляется и вместе с тем возбуждается работой, что не может спать. Нехорошо...»

О том же посещении она написала и Елизавете Григорьевне: «Вы как-то спрашивали про Виктора Мих. Вообразите, вчера в первый раз с осени добралась до них, вот далеко-то они заехали. Он бодр и весел, но очень устает на работе. Фрески его хороши, но мне кажется, их судьба та же, что почти всех его произведений: задумано удивительно в угле – чудесно (одна – ужин, еще стоит не тронутая краской). Та, которая только подмалевана, – охота на мамонта – тоже поразительно сильно действует. Но те, которые больше сделаны, значительно слабее. С поразительной силой он начинает, а потом какая-то вялость является. Я думаю, эта черта характера и вряд ли тут что-либо может помочь. Его торопят кончить к концу апреля, к приезду царской фамилии, – вряд ли успеет...»

Васнецов не только к концу апреля не успел закончить работу, ему не хватило для этого всего 1884 года.

Весь фриз занимал по длине двадцать пять метров. Шестнадцать метров и три метра плюс два окна и внизу две несимметричные двери.

Фриз смотрится слева направо. Пещера, женщины, юная красавица, мать, кормящая грудью младенца. А вот наконец и первый мужчина, он стреляет из лука в птицу. Все мужское общество занято трудом, кто огонь добывает, кто из кости делает оружие, иные долбят лодку. Посреди мужчин – вождь. Огромный, с копьем. На его могучих плечах покой и благополучие племени. Далее на картине кусочек природы и всплеск радости. Тоненькая девочка в шкурах, с пойманною большою рыбой, так и прыгнула от радости в воздух, к птицам, к небу, в счастливом танце торжествующего добытчика. Вот она – первая прима доисторического балета, еще без аплодисментов, даже без зрителей. После этой детской радости – охота мужчин. Бой насмерть. Жестокость на жестокость, смерть. И – пиршество. Венец человеческих усилий, неременное условие продолжения той мирной тихой жизни, когда у матерей есть молоко в сосцах, а у юных женщин – красота: восторженный призыв к продолжению человеческого рода. Виктор Михайлович одолевал первого своего мамонта, а летняя жизнь Абрамцева между тем была прежней. Был и театр, который требовал на свой алтарь приношений от каждого.

В июле готовили постановку пьесы «Черный тюрбан». За оформление спектакля взялись молодые: Илья Остроухов и Валентин Серов. Оба и сыграли в спектакле, изумив и восхитив доброжелательных зрителей. Серов – обольстительную танцовщицу Моллу, а длинный, как жердь, Остроухов роль без слов, но какую! После реплики Селима: «Скорее плаху приготовь, и ханская прольется кровь» – являлась худощавая фигура палача в красном и замирала посреди сцены, зал сначала долго приходил в себя, а придя, помирал со смеху.

Васнецов в стороне от общего дела стоять не мог. Он в конце концов заразился общей суетой, увлекся,

написал декорацию волшебной залы и чудесную афишу.

Было летом у Васнецова еще одно дело, отвлекшее от дикарского пиршества и дикарской охоты.

Видимо, по просьбе Елизаветы Григорьевны он написал небольшую икону Богоматери с младенцем.

Прежде чем решиться сочинить свой образ Богоматери, ездил к Забелину, в Исторический музей, долго стоял перед византийскою иконою XII века, известной как «Умиление» и как «Богоматерь Владимирская». Глубокий вишнево-красный цвет омофора с золотою каймой, золотые одежды божественного младенца, прекрасное, но отрешенное от мира лицо Марии. Отрешенность Васнецова не устраивала. Он подолгу всматривался в свои домашние иконы. Современное письмо было жестким, лишенным чувства. И тогда он вспомнил свой петербургский рисунок. Рисунок давно ушел в коллекцию Цветкова, по теперь он ожил перед глазами и был перенесен на доску в считанные часы. Васнецов рисовал свою Марию, русскую, заступницу и надежду, чаще всего последнюю надежду, но он никак не мог забыть Марию Рафаэля. Его сердила великая подсказка, он не желал стремительности, которая была у Рафаэля, юности рафаэлевской мадонны тоже не желал. Русский человек на Сикстинскую мадонну, как она ни прекрасна, ни непорочна, как ни свята, молиться не сможет. В мадонне Рафаэля слишком много от живой жизни. И все-таки Васнецов помнил Мадонну, рисуя Богородицу.

Работа принесла художнику радость: его не похвалы радовали, их было множество, его радовал преодоленный страх, страх оскорбить святыни неумелостью или даже просто неизбранностью. Удача с иконою Богоматери успокоила его, дала новые силы для работы над «Каменным веком», а работы этой после множества трудов никак не убывало.

Наступила осень. В летней мастерской при Яшкином доме стало холодно, краски на холстах не желали просыхать. Выручила Елизавета Григорьевна. Временно под мастерскую была отдана столовая большого дома. Вместе с Аполлинарием, прикрепив куски картины к жердям, перетащили их в усадьбу, развесили в столовой. Печи и камин топили не гася, и через несколько дней краски наконец подсохли. Тогда холсты свернули и отправили в Москву. Предстояло водрузить картину на стену. Из боязни, что, отсыревая, каменная кладка попортит картину, Виктор Михайлович оббил фриз цинковым железом. На эти цинковые листы и наклеивали холст, а потом уже художник закрашивал швы и, сообразуясь со светом помещения, где усиливал цвет, где ослаблял.

И. Грабарь, написавший работу о «Каменном веке», рассказывает дальнейшую его историю. Холст со временем потемнел от копоти и пыли, начал отклеиваться, пучился, появились трещины, краски осыпались.

В 1936 году под наблюдением П. Д. Корина и А. А. Рыбникова произвели первую реставрацию картины. Реставрация была крайне осторожная и носила профилактический характер: сухая протирка от пыли, заклейка папиросной бумагой осыпей, кое-где тронули холст пастелью. К сожалению, места отставания подклеить не решились, а стало быть, разрушения не остановили.

На защиту картины поднялся Михаил Васильевич Нестеров. Вопрос о серьезной реставрации был наконец решен, но тут началась война. Отреставрировали «Каменный век» только в 1954 году. Реставрацию исполнили А. Д. Козин и К. А. Федоров.

Но это все самостоятельная жизнь картины, а было еще и тревожное начало.



*В. М. Васнецов. Царь Иван Васильевич Грозный. 1897.*



*В. М. Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876.*





*В. М. Васнецов. Преферанс. 1879.*



*В. М. Васнецов. Три царевны подземного царства. 1881.*



*В. М. Васнецов. В costume скomorоха. 1882.*



*В. М. Васнецов. Портрет В. С. Мамонтовой. 1896.*



*В. М. Васнецов. Алenuшка. 1881.*



*В. М. Васнецов. Богатыри. 1898.*





*В. М. Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами. 1880.*



*В. М. Васнецов. Один в поле воин. 1914.*



*В. М. Васнецов. Сказка о спящей царевне. 1900-1926.*



*В. М. Васнецов. Декоративный орнамент для Владимирского собора в Киеве.*



*В. М. Васнецов. Нестор-летописец.*





*В. М. Васнецов. Царевна Несмеяна. 1914-1924.*



*В. М. Васнецов. Сивка-Бурка. 1919-1926.*



*В.М. Васнецов. Палаты царя Берендея. Эскиз декорации к сказке А.Н. Островского «Снегурочка». 1885.*



*Интерьер дома В. М. Васнецова.*

На открытие музея ждали царя. Граф Уваров и члены комиссии каждый день являлись посмотреть, как идут дела художников. И – молчание! Ни одобрения, ни осуждения. Что думал о работе Васнецова граф-археолог, знать никому уже не дано: умер, не дождавшись торжеств.

В день открытия музея художникам Васнецову и Семирадскому, который написал «Похороны славянского вождя», приказали быть при картинах, во фраках. Хлынула толпа генералов, и Васнецову при своей картине места не нашлось.

Александр. III смотрел «Каменный век» с удовольствием и очень внимательно.

– А кто автор этого замечательного произведения? – спросил он наконец.

– Васнецов.

– А почему его нет в этой зале?

И тотчас позлащенные груди нашли и выдвинули художника пред государевы очи.

– Помните, как я был у вас в мастерской в Париже? Помните, как мне понравились ваши «Акробаты»? И нынче рад вашему успеху. Очень рад! – пожал руку, улыбнулся, прошел в музей, а к Васнецову встала очередь: поздравляли, пожимали, находили приятные и даже восторженные слова.

Одобрение царя – хорошо для чиновника, у чиновника карьера. У живописцев тоже есть своя



карьера, зависящая от высоких мнений и все-таки ничем не защищенная от правды. Правда и на этот раз оказалась на стороне Васнецова. Современники очень высоко оценили «Каменный век». Мы читаем в «Истории искусства» Гнедича: «Первым грандиозным трудом Васнецова были фрески, написанные им для Исторического музея в Москве. Их можно смело признать произведениями всемирными, единственными в своем роде по превосходной композиции и глубокому проникновению духом доисторической эпохи».

Среди первых, кто поздравил Васнецова с успехом, был Василий Дмитриевич Поленов: «Как я ставлю высоко в отношении радостного искусства твой „Каменный век“, я и сказать не умею. На днях тут был Павел Петрович Чистяков, он в восторге от этого произведения: „Васнецов дошел в этой картине до ясновидения, это первая русская картина, с нее должно начинаться русское искусство“. Это верно! В этой картине выражено все будущее развитие человечества, для чего стоит жить!»

Шел 1885 год. У Репина на передвижных выставках были уже «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», а теперь потрясала реализмом злодейства «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.», картина, получившая в народе название более краткое: «Иван Грозный убивает сына».

Васнецов в эти годы на выставках не блистал, перед ним открылся вдруг совершенно иной путь к зрителю. Стены общественных зданий – это не частные коллекции, куда вход только родственникам да приятелям. Впрочем, до общенародного признания было далеко. Неграмотный народ по музеям не ходит, не знает, что это такое – музей, одних его торжественных дверей перепугается.

Простой народ с искусством по-своему встречался только в церкви, ужасаясь «Страшному суду», умиляясь

иконам, но не красоты ради, а степени святости.

Когда перед тобою вся жизнь художника, удивляешься мудрой ее последовательности, словно кто-то и впрямь вел его со ступени на ступень, все выше, выше и под самый купол Владимирского собора.

Адриан Прахов явился в Москву за художниками весной 1885 года. Прежде всего он поехал в Абрамцево.

Васнецов в тот год жил в поленовском доме. Свалив с себя прекрасную обузу «Каменного века», он ходил по Абрамцеву новорожденным. Было недоуменно легко, Виктор Михайлович, посмеиваясь над собою, то и дело повторял, читая на «о» и нараспев:

Оковы тяжкие подут,  
Темницы рухнут, и свобода  
Вас примет радостно у входа...

Можно было заниматься чем угодно, и он заговорщицки подмигивал птицам, порхавшим с ветки на ветку, я тем большим, что, поднимаясь суматошно с озерной глади, с посвистом рассекали крыльями воздух и уносились неведомо куда... а на самом деле на реку за лесом или на болотце в заливные луга.

Ничуть не завираясь, он говорил за обедом Елизавете Григорьевне:

- Теперь я в две недели могу кончить «Трех богатырей». Илья у меня давно уже найден.

- Вот уж была находочка! - всплеснула руками Александра Владимировна. - Вспомнить страшно.

- Да что же страшного?

- Ну, а как не страшно, когда разбойник в доме?

- Какой же разбойник? Просто большой человек. Измельчал народишко, как кто в груди пошире да ростом поудалей, так и разбойник. - Глаза Виктора Михайловича смеялись.

- Где ж вы нашли своего богатыря? - спросила Елизавета Григорьевна.

- У Крымского моста. Проходил мимо биржи ломовых извозчиков, смотрю, облокотившись па полок, стоит дядя такой величины, что лошади из-за него не видать. Вылитый Илья. Грудь как стена, и на лице спокойствие. Я к нему! Лепечу от радости несуразицу, а он покраснел и отмахивается от меня, как от мухи. Тут я тоже в себя пришел, толково все объяснил, а кругом уж извозчики стоят, слушают. Я на колени готов был стать, так он отнекивался. Извозчики и помогли, всем товариществом его уговорили. Пошел со мной писаться. Так что мой Илья - ломовик Иван Петров.

- Воистину большая картина, - сказала Елизавета Григорьевна.

- Наш Виктор Михайлович русак и богатырь, - улыбнулся Савва Иванович. - Я вот все погляжу, погляжу на его витязя у трех дорог... Не богатырь это безымянный, а наш Виктор Михайлович попризадумался, в какую сторону коня пустить.

- По его характеру одна у него дорога, - сказала Елизавета Григорьевна. - Прямо и только прямо!

- Вот бы знать еще, что в искусстве - прямо! - без улыбки сказал Васнецов. - Было бы сто рук - сто картин писал сразу. А тут надо самому себе черед устанавливать. Напиши «Трех богатырей», а потом выставь «Ивана-царевича на Волке», Стасов тут как тут, скажет - ах, как низко пал Васнецов. И многие ему поддакнут.

Обед подходил к концу. На десерт подали в березовых туесах - производства абрамцевской мастерской - клюкву и бруснику. Поднос, держа над головой, внес... Адриан Викторович.

- Русскими ягодками забавляетесь?

Все повскакали с мест, приветствуя гостя. Накормили его, напоили. Повели показывать церковь.

Адриан Викторович после открытия киевских фресок в Софийском соборе, в Кирилловской церкви, в Михайловском монастыре, в церквях Волыни и Чернигова стал первым авторитетом в церковной живописи.

Прахов надолго задержался у васнецовской иконы Богоматери. Сказать ничего не сказал, но посмотрел на Виктора Михайловича каким-то непривычным поглядом, словно рост его вымеривал, да так, чтоб и на полвершка не ошибиться.

Вернулись в комнаты все возбужденные, довольные: Прахов увиденным, Мамонтовы и Васнецовы очень высокой оценкой ученого и внешнему виду храма и его иконам. Здесь за чашечкой желтого китайского чая Адриан Викторович протер лишний раз круглые золотые очки и сказал:

– Виктор Михайлович, а ведь я, собственно, за вами приехал.

История постройки киевского Владимирского собора началась с упрямства митрополита Филарета. В 1852 году над днепровской кручей был воздвигнут монумент святому князю Владимиру. Император Николай Первый обратился к Киевскому митрополиту с предложением освятить памятник, на что Филарет ответил не без дерзости:

– Князь Владимир Святой свергал идола, а не воздвигал их. Святить идола не стану! Пусть лучше его императорское величество разрешит подписку на храм.

Николай прогневаться на упрямого архиерея не пожелал. Памятник Владимиру освятил обер-священник армии и флота, подписка тоже была объявлена.

Место для собора выбрали в центре Киева на Бибиковском бульваре. Проект был готов в 1859 году. Высота до креста – 23 сажени, и в длину 23 сажени, в ширину – 13. При возведении купола стены дали трещины. Стройку приостановили. Десять лет, с 1866-го

по 1876 год, храм стоял на выдержке. Не развалился, трещины не увеличились. Было решено укрепить стены контрфорсами. И вот наконец храм был готов. Киевское духовное начальство решило отдать его какой-либо артели, чтоб расписали наскоро и без премудростей. Но тут объявился в Киеве Прахов, его открытия древних фресок сыграли на самолюбии церковных иерархов, не хотелось им ударить лицом в грязь перед древним величием. Был избран комитет по надзору за отделкой собора, а руководить всей предстоящей работой предложили самому Адриану Викторовичу.

- Нет, - твердо сказал Васнецов. - Нет.

- Да почему же нет? Кому и какой прок от этого нет?

- Может быть, всему русскому искусству. Я пусть не хватаю звезд с неба и до Репина мне далеко и кого там еще? - а только никто не знает, что я завтра напишу. Сам я этого тоже не знаю.

- В том-то и дело! - воскликнул Прахов. - А здесь ты соприкоснешься с высшим из искусств, ибо оно так и называется - духовное. В один ряд с Рафаэлем станешь, с Микеланджело, со всем сонмом гениев и подмастерьев храмового искусства.

- До Рафаэля как до звезды! А сонмом - увольте. Чтобы быть сонмом - творчества не нужно.

- Да не цепляйтесь же вы за слово! Ну, при чем тут сонм? При чем тут Рафаэль?

- Сами же сказали.

- Сказал, не подумав. Мы же своим пренебрежением низвели церковное искусство до такого уровня, что ниже уж больше некуда. А речь идет о национальном самосознании, и никак не меньше. Кто же должен поднять это искусство, как не вы, лучшие из русских художников? Русские по крови, по духу. Я ведь не к Ге пошел, не к Семирадскому, а к вам, Виктор Михайлович. К вам, первому.

- Спасибо. Все ваши объяснения очень и очень серьезны. Вряд ли я, грешный, достоин столь высокой миссии, какую вы мне предназначали. - Васнецов разволновался, побледнел. - Адриан Викторович, я свое небо знаю и на седьмое не лезу. С седьмого падать высоко. Я - сказочник. Мое дело - богатыри, царевичи, серые волки... И, признаюсь честно, не из скромности сказочками занимаюсь, из гордыни. Здесь я свое слово и сказал уже и еще скажу, а религиозная живопись - тут опять же вы правы, - Рафаэль, Микеланджело, Мурильо, куда нам до этих-то вершин! Ведь это все - гиганты!

Разговор происходил в поленовском доме. Уже было поздно, Александра Владимировна укладывала детишек.

- Жаль, - сказал Прахов. - Очень жаль, что отказываетесь. Это ваше дело - соборы расписывать. Самое ваше дело, а вы, не изведав его, отрекаетесь. От самого себя отрекаетесь.

Васнецов развел руками.

- Может, вы и правы. Но я все-таки сначала «Трех богатырей» допишу. А насчет моего? Я, Адриан Викторович, вот уж лет как двадцать мог бы в церквях служить, да Бог не попустил. Вот и вы не решайте за Бога мою судьбу.

- Не сердитесь. - Адриан Викторович пожал Васнецову руку. - Уж очень я рассчитывал на вас. Нет, так нет. Поеду к Сурикову. С утра и поеду.

Обнялись, поцеловались. Виктор Михайлович вышел проводить Прахова па крыльцо, но чай пить в Большой дом не пошел. Гость разбередил-таки душу и сердце разогнал: забилось, заволновалось. Пошли картины чередой...

«Как просто у этих работодателей: возьми и распиши собор. Взяться просто, а вот расписать...

двадцать три сажени вверх да в длину те же двадцать три... Десяти лет не хватит. Да ведь и не хватит».

Но па том мысли ничуть не успокоились. Чтобы пресечь в себе опасное это беспокойство, поспешил лечь спать. А сна ни в одном глазу. Александра Владимировна лежала рядом тоже без сна, но безмолвно, не повернулась ни разу. Она давно уже усвоила трудную науку – быть женой художника. А Виктора Михайловича сейчас раздражало ее невмешательство. «Небось думает, что творю! Молчит, как рыба». Хотелось сказать злое и совершенно несправедливое. И вдруг маму вспомнил. Как она приходила в детскую на пасху, христосоваться. Она приходила со службы, с улицы. Она пахла весенним ветром, травюю, желтыми счастливыми одуванчиками.

«Вот уж кто была святая», – подумалось Виктору Михайловичу, и душа сладко и горько затосковала о былом, о навек утерянном.

«А ведь я могу вернуть это, – сказал он нежданно себе. – Искусством могу вернуть. И себе, и другим».

Поднялся. Оделся. Натянул сапоги, вышел на улицу.

Было тепло, но весенний гуд стоял в высоких вершинах высоких абрамцевских лесов.

– Осенью – гул пустоты, а весною – гуд, – объяснил себе Васнецов, сходя с крыльца на нежную, жадно дышащую землю. – Все поры открылись. За зиму настрадалась под спудом, а теперь вот и не может никак надышаться.

Он уловил вдруг запах... одуванчиков. Слезы так и покатались по щекам, в бороду.

Это было счастье – дышать вместе с землею, чуют в себе могучие гуды, желать несказанного, любить всех и всё, всякую травинку и козявку.

Ему сделалось неловко стоять на земле, мешая прорасти травам, а значит, и самой жизни. Ушел на крыльцо.

Двадцать три сажени вверх! Это ведь все равно, что создать свое небо. Свою надежду на доброе, свою веру в правду, свое отрешение от мирового зла... Почему-то встала в памяти скандальная историйка, затеянная против Репина паршивенькой петербургской газетой, саму себя представлявшей как «Минута». Репортер, подписавшийся «Шуруп», взял да и сочинил, что «Иван Грозный» вовсе не репинская картина. Некий студент, не умеющий рисовать, набросал сцену убийства, а Репин перевел эту сцену-мысль на полотно. Репину пришлось подать на газету в суд. Газета покаялась: Шуруп – молод, поверил сплетне репортера г. Р., а при разборе дела оказалось, что за г. Р. стоят крупные величины академического ареопага, враждебные передвижникам и Репину.

За великую картину художника вволю выкатали в грязи, посыпали перьями и выставили на обозрение.

Васнецов даже плюнул в сердцах.

Сердитый, прошел в дом, зашагал по своей привычке по комнате, грохоча сапогами. Опомился. Стянул сапоги, нашел домашние туфли, и снова в путь – от стены к стене. В погоню за мыслями. Половицы скрипели, и он пошел медленнее, ступая мимо певучих.

Да что же это в самом деле? Мурильо испугался. Вспомнил его «Марию в детстве». Хорошее детское лицо, молитва с губ простенькая, но доходящая до самых великих высот своей искренностью.

Изумительное лицо «Мадонны с прялкой», вот уж где все материнские страдания и все материнское мужество. Моралес. Его за великого не почитают. А ведь чудо создал. Еще одно чудо.

Богоматерь одна, но каждый христианский народ изображает ее так, что она – родная именно этому народу! Может быть, только мы, русские, не посмели иметь свою Богоматерь, согласившись па византийскую.

Каков он, в чем он – русский идеал?



Идеал! Зачем он, идеал, бабке Лукерье? Ей - на слезы ее - утешительница нужна, заступница.

А младенец? В «Мадонне с прялкой» младенец - дитя неразумное, малое. У Леонардо да Винчи тоже малое, но смотрит очень уж взросло. У матери ласка и счастье, а у младенца жестоко предначертанный неотвратимый путь.

А как это по-русски будет? Что надо-то нам?

Виктор Михайлович сел, взял карандаш, бумагу. Вспомнилась весна 81-го. Миша-сынок еще в колыбельке баюкался, Саша вынесла его впервые на волю. Небо голубое, с облачками-одуванчиками. А тут еще птицы порхнули. Всплеснул Миша ручонками, как это только дети умеют, весь вывернулся, потянулся к птицам, к облакам. Вот уж было воистину счастливое мгновенье. Вот что людям нужно!

«Какой же я глупец! - ахнул Васнецов. - Отказал Прахову, авторитетов перепугался! Своего не сыщу? А свое - в твоей жизни. Черпай и не вычерпаешь».

Лег и заснул, как праведник.

А вот Александра Владимировна все не спала.

Проспал! Прахов уехал первым поездом. Васнецов кинулся на станцию дать телеграмму. Но куда? Послал в Киев, на домашний адрес: «Если Суриков откажется, оставьте работу за мной».

Адриан Викторович в эти часы уже стучался в дом Василия Ивановича.

Открыла хорошенькая горничная, и тут состоялся разговор, который с удовольствием цитируют все биографы Васнецова:

«- Барин дома?

- Никак нет, они на дачу уехали.

- А где их дача? Дайте адрес, я сейчас к ним поеду.

- Да? - И девушка превесело рассмеялась. - К ним па извозчике на дачу не больно-то доедете! Они всегда ездят на дачу к себе в Красноярск!»

Прахов дал Сурикову телеграмму и поспешил в Киев. Вечером того же дня Елизавета Григорьевна встревожилась.

- Куда подевались Васнецовы? За целый день из их дома никто, кажется, на улицу не вышел. Может, дети больны?

И тут в передней зашаркали ноги и ножки.

- Вот они, наши пропащие!

Васнецов был улыбчив и причесан, как именинник.

- Погляди-ка, Елизавета Григорьевна! Савва Иванович до такого искусства не охоч...

- Что за дискриминация! - воскликнул Мамонтов, забирая большие листы бумаги.

- Это вот Богородица... А это господь Бог, для купола... Вернее, наброски, одна только мысль.

Бог был изображен не старцем, не грозным судьей. Это был Иисус Христос. Красивое спокойное лицо. Он, богочеловек, свою кровь и жизнь отдал за человечество, исполнил высшую волю до конца. Искупил первородный грех, теперь, люди, за вами - и слово и дело. Коли вы - люди, живите по-людски.

- Принимаю, - сказал Савва Иванович. Елизавета Григорьевна рассматривала Богоматерь.

- Виктор Михайлович, я тебя поцелую. И поцеловала.

Прошло два тревожных дня без вестей. И - телеграмма от Прахова: «Приезжай». Одно слово.

- Виктор, а опера?! - воскликнул Савва Иванович. - Как же со «Снегурочкой»-то быть? Ты - половина успеха.

- Опера за мной, - легко согласился Васнецов. - А в Киев надо съездить. Посмотрю собор, получу заказ и вернусь.

- Не оставь меня, отец родной! - с серьезной озабоченностью попросил Мамонтов. - Без тебя на корню загубим русскую оперу. Опера должна

действовать на все шесть чувств. Радость глазам – дело совсем не второстепенное, как думают иные. Да ведь от Мариинского театра «Снегурочку» просто спасти нужно.

С этим Васнецов был согласен. Клодт, исполнивший декорации и костюмы, почему-то превратил место действия в Скифию, а самих действующих лиц – в скифов.

– «Снегурочку» я сделаю непременно, – сказал Виктор Михайлович. – «Снегурочка» – это наш праздник. Это наше милое Абрамцево.

И ясно подумал о том, что Абрамцево для него кончилось.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### КИЕВ

Он вошел к Праховым с веселым Пушкиным на устах:

*- То ль дело Киев! Что за край!*

*Валяются сами в рот галушки.*

*Вином - хоть пару поддавай...*

- А молодицы, молодушки! - подхватила Эмилия Львовна, закатывая глаза. - Ей-ей, не жаль отдать души за взгляд красотки чернобривой.

И так поглядела на Прахова, что тот торопливо принялся протирать очки: видно, опять провинился великий ценитель прекрасного.

- Рад! Рад! - говорил он, обнимая и целуя Васнецова. - Если смертельно не устал, то можем тотчас в собор пойти.

- Ах, как заторопился! Может, все-таки хоть чаем угостим человека. Как-никак с дороги.

- Эмилия Львовна, я, правду сказать, в нетерпении. Хотелось бы поглядеть.

- Наглядишься, еще и опротивит сто раз. Впрочем, ступайте! Я похлопочу об обеде. Чтоб уж потом не мыкались.

- От большой сцены меня спас, - признался Прахов, выходя из дому. - Теперь пронесет. А собор тебе, Виктор Михайлович, достался превосходнейший!

Васнецов молчал, ждал встречи. Ах, вот он! Небольшой. И такой серый. Новый, совсем новый, а уже заурядный. Сердце дрогнуло болезненным неприятием, совершаемой ошибкой.

Собор был открыт: артель подсобников грунтовала стены. Свет резко белый, чистый.

- Свинцовые белила? - спросил Васнецов.

- В два слоя. Инженерная то ли мысль, то ли придурь. Я им говорю: белила у вас будут держаться, а масляная краска потрескается. Но они уперлись: свинцовые белила - самый прочный краситель... Да ты на храм-то погляди.

- Вижу, Адриан, - кивнул Васнецов. - Вижу. Здесь целый мир поместится.

Собор внутри был огромным.

- Весь центральный неф твой, - Прахов повел руками над головою. - И запрестольная апсида твоя, купол, потолки, столпы. Образа главного иконостаса и обоих пределов: жертвенника, диаконника. Виктор, где ты такой холст достанешь? Где у тебя столько зрителей будет? И каких благодарных! Тебя увидит наконец народ, тот самый народ, о котором столько речений, да мало попечений... Я надеюсь, ты не обольщаешься успехом на выставках. На выставки у нас ходят не столько смотреть, сколько осуждать. Друг перед дружкой умничают.

- Так ведь главные умники ваш брат - искусствоведы.

- То-то и оно - наш брат, ваш брат. А здесь будут Ивановы, Марьи, Лукерьи... Ты погляди, что тебе предлагают: это же вечные стены. Вечную народную благодарность, само бессмертье предлагают тебе, Виктор Михайлович.

- Адриан, ты зарапортовался. Художнику нельзя заказывать бессмертье. Возьмется он за бессмертье, а выйдет у него - кукиш. Обязательно - кукиш! Художники, Адриан, народ туповатый. Тут надо проще: вот тебе стенка - и малюй.

- Виктор! Вот тебе все эти стены! Тут уже сама громада труда - подвиг. Думаю, этого отрицать невозможно. По-двиг!

- Не уговаривай, - улыбнулся Васнецов. - Сколько времени на эскизы?

- К осени должны быть. Но! - Прахов взял Васнецова под руку. - Ты непременно съездишь в Европу. Тебе полезно будет посмотреть лучшие византийские храмы. А начать подготовку можно уже сегодня, в Софии.

И они тотчас отправились в Софийский собор. Золотое небо. Лицо Богоматери, отстраненное, схематичное.

- Можно ли этот образ любить? - спросил Васнецов себя и Прахова.

- Византия, - ответил Адриан. - В Византии базилевс как бог, а бог подобен базилевсу.

- Но Богоматерь - это любовь! Я хочу, чтоб мою Богоматерь любили. Ведь она заступница.

- Италия многому тебя и научит, и многое подскажет.

Стоял, как громом пораженный, - тишина. Откуда в тесной Европе - невероятная, нереальная тишина? Надавливал на каблуки, ступал по тесным камням Сан-Марко. Ему казалось, что земля покачивается: Ве-не-ци-я. Это про нее сказочка: город, раз в сто лет являющийся из морских пучин. Вошел в храм Святого Марка.

Темное древнее золото струило со сводов берущий за сердце, ни словом, ни красками не передаваемый свет, свет-шепот, задушевный, но воистину величественный, то был последний свет Византии, свет, переживший империю почти на полтысячи лет.

Васнецов догадался, ласковость золотого мерцания - от малоприметных окошек. Они, словно старички, смотрели на пришельца, переговариваясь о нем между собой.

Мы ведь и волнения свои планируем заранее, подхлестываем себя. И вдруг оказалось, что те эмоции, которые он заготовил еще в Москве, - неправда.

Ожидал громад, подавленности, а очутился в милом, заснувшем королевстве.

По мостику Вздохов прошел во Дворец Дожей. Сказка об уснувшем королевстве продолжалась. Роскошь внутренних покоев ветшала, но Тинторетто оставался Тинторетто. А вот с набережной дворец привел в восторг. Это было творение истинно детского ума, причудливое, но ничем не покоробившее вкуса. Причудливое, оказывается, тоже бывает совершенством.

Четыре дня пробыл Васнецов в Венеции. Уезжал ночью.

Гондола пыряла под освещенными и под темными мостами. Навстречу двигались нарядные, а то и великолепные гондолы. Не хватало серенады, но и она явилась. Чудный серебряный, светящийся голос разлился, как лунный свет, над черной водой, над зубцами башенок, над нереальным, тысячу лет нереальным, но живым городом.

Потом была Равенна, дремотная от древности и скуки. Живыми и даже грозными здесь были только древнейшие христианские мозаики.

Из Равенны во Флоренцию, стало быть, к Микеланджело. Вот он, Давид, одолевший Голиафа. Кажется, пусти кровь по его венам – оживет. Да только в мраморе он куда нужнее людям, чем во плоти. Неоконченные торсы. Гробница Медичей.

Могучее сказание атланта искусства.

На Флоренцию ушло три дня. Побродил по церквам. Осмотрел галерею. Посетил монастырь, где жил Фра Беато Анжелико. И – в Рим.

Здесь неприятно поразила архитектурная неразбериха. Город уступал и Венеции, и Флоренции цельностью. Это была свалка эпох. Всемирно известные чудеса ютились по закоулкам. Там одни развалины,

здесь другие, а посредине чудовище – Колизей. Кошатник. Но живопись – пир на весь мир.

Вот письмо Васнецова, написанное им Елене Праховой через семь лет после поездки в Италию. Письмо стоит того, чтобы процитировать его как можно полно.

«Мы с Вами сходимся, что Вам нравится в Италии более, то и мне нравится более всего. Венеция, прекрасная, заснувшая, старый Святой Марк меня глубоко трогали. А Дворец Дожей, а старые дворцы на каналах, а площадь св. Марка и эта тишина без извозчичьего шума и гама, а море с средневековыми гондолами, а Тициан, а Веронезе!.. И все это прошло и миновало и стало художественной сказкой. А меркантильные жадные людишки забудут эти сказки и все разворуют и распродадут по старьевщикам. Видели ли Микеланджело во Флоренции? Видели ли в Ватикане станцы Рафаэля? Капеллу Сикстинскую – потолки, „Страшный суд“ Микеланджело? Л что такое „Страшный суд“ Микеланджело? А вот что: старая, потрескавшаяся стена, заплесневелая синими и красноватыми пятнами. Смотрите на эти пятна, они начинают оживать... Какие массы людей мнутятся в ужасе, отчаянии и страхе! Все голы, как мать родила, перед вечной мировой правдой. Даже апостолы, даже мученики и те в смятении, они не знают, они страшатся его суда! Его, как лица, нет в картине, но есть принцип, есть один жест всей фигуры, страшный жест отвержения. Видите фигуру на облаке, схватившую себя в отчаянье за голову? Он уже на пути в ад кромешный. Он всю жизнь обманывал бога, он думал, что все сойдет, но, увы, все стало ясно, и совесть жжет, как огонь! Сколько разнообразия и в то же время единства во всей композиции – можно, пожалуй, сказать, что все чересчур массивно и громоздко, но эта массивность – признак страшной силы. Мороз подирает,



когда войдешь во всю глубину мысли картины. Эта заплесневевшая стена – величайшая поэма форм, величайшая симфония на тему о вечной правде божией – вот что такое „Страшный суд“ Микеланджело. Описывать его, впрочем, нельзя, его нужно смотреть, смотреть и непременно понять. Всмотритесь также и в Рафаэля – не верьте нашим милым ругателям „глухашам“ (прозвище братьев Сведомских, Александра и Павла. – В. Б.). Благородная гармония, красота, сила в композициях, красота в формах, позах, лицах и красках. От картин Рафаэля веет возвышенной гармонией, сравнить которую можно с настроением от музыки. Мне всегда хочется сравнить его с Моцартом, а Микеланджело – с Бетховеном. Вам понравились также старые мозаики – это меня очень радует. Храм Петра велик, но холоден и официален. Есть, впрочем, в нем одна вещь – это богоматерь с умершим Христом на руках („Pieta“) Микеланджело».

За семь лет впечатления от встречи с атлантами Возрождения нисколько не сгладились, не подзабылись, скорее, наоборот, приобрели отчетливость, высветлив в сокровищнице самое драгоценное. Так умеют смотреть и помнить увиденное – художники.

Вернувшись в Абрамцево, Виктор Михайлович написал Прахову нетерпеливое письмо. Предстоящая работа уже занялась в нем, как огонь в костре. Жаловался на усталость – впечатления действительно утомляют – и требовал работы. Работа художника высвобождает его из-под груза художественных задумок. Задумка – нечто неосязаемое, но кто изведает, знает, сколько они весят, задумки, какое это обречение – носить в себе громады замыслов. Разом-то не выплеснешь. Освобождение из сладостного плена идет годами, десятилетиями. Замысел – молния, сотворение – сизифов труд. Творец не ведает конца работе. Его работа обрывается только на краю могилы.

«Дорогой Адриан Викторович, я с 28 мая живу в Абрамцеве, – писал Васнецов в Киев. – Пропутешествовал я ровно месяц. Видел Венецию, Равенну, Флоренцию, Рим и Неаполь. В Палермо мне не удалось съездить – я страшно устал... Ради бога, Адриан Викторович, закажите, хоть на мой счет, чертежи с точными размерами всех деталей алтаря и купола и пришлите в Абрамцево. Кроме того, Адриан Викторович, поторопитесь выслать мне хоть краткую программу пророков и святителей, хоть перечень лиц – это необходимо мне для композиции. Без основных композиций я в Киев не явлюсь. Теперь, Адриан Викторович, к Вам самая усиленная просьба моя: не тащите меня в Киев до августа или до половины хоть июля».

Пока дело до большой работы не дошло, Виктор Михайлович сочинял, дополняя и прихорашивая, свои прежние рисунки костюмов и эскизы к декорациям «Снегурочки».

– К чему стремимся? – приговаривал сам себе. – Больше праздника! Больше праздника!

Частная опера Мамонтова родилась на энтузиазме и, пережив полосу отрицания и недоверия: «купеческая затея, Савва с жиру бесится», – выстояла и пустила зеленые побеги жизни.

В 1882 году была отменена государственная монополия на зрелища. Домашние спектакли и громкий успех этих спектаклей дали Мамонтову надежду проявить себя в любимом деле: в режиссуре Савва Иванович начал с девиза: «Жизнь коротка, искусство вечно». Этот девиз был помещен на афишах, программах, на занавесе и даже на канцелярских бланках.

В оркестр пригласили сорок человек, в хор – пятьдесят. Подготовка спектаклей началась в конце

1884 года. Решено было поставить «Русалку», «Фауста», «Виндзорских проказниц».

В. П. Россихина в книге «Оперный театр С. Мамонтова» сообщает: «Работать приходилось в разных помещениях: режиссерские занятия проводились на полутемной сцене театра Корша; для работы с концертмейстерами сияли дом на Никитском бульваре; репетиции с оркестром... устраивались в помещении Манежа на Пречистенке.

Бесконечные репетиции, по словам Салиной (солистка частной оперы. – В. Б.), представлялись всем какой-то чудесной увлекательной забавой, радостной игрой в товарищеском кружке, хотя они проходили утром, днем, а то и в ночные часы. Всех воодушевляла энергия Мамонтова. Когда певцы уставали, в репетиционное помещение вкатывались столы с огромным самоваром и пирогами. Либо по знаку Саввы Ивановича концертмейстер начинал играть польку, Мамонтов подхватывал первую попавшуюся даму, за ним устремлялись все остальные, и усталости как не бывало».

9 января 1885 года был дан первый спектакль Частной оперы. Даргомыжский, «Русалка». Наташу пела Салина, князя – Ершов, Бедлевич – Мельника. Эскизы исполнил Васнецов, правда, к самим декорациям он уже не касался. Это дело передали молодым. Подводное царство, например, написал Левитан. Большинство костюмов создала Елена Дмитриевна Поленова. Мельника Васнецов не отдал, но в самый последний миг его чуть было не подправили. Бедлевичу хотелось выглядеть «прилично». Он упросил костюмера заменить лохмотья и парик. Мамонтов увидел артиста перед самым выходом.

– Половой! – ахнул Савва Иванович. – Трактирный половой!

Прибежал Васнецов. На Бедлевиче - Мельнике костюм тотчас изорвали в клочья, парик выбросили, шевелюру привели в ужасающий беспорядок и посыпали мукою. Наводя последний лоск на костюм, актера повалили, проволокли по полу коридора и вытолкнули на сцену пред очи князя.

Один вид Мельника вызвал овацию, восхититься, видимо, было отчего.

Сохранились воспоминания самого Виктора Михайловича об этом спектакле. «Досталось тогда милой Надежде Васильевне Салиной (в некоторых монографиях пишут ошибочно „Савиной“. - В. Б.), - говорил Васнецов биографу. - Волосы ее собственные, прекрасные тоже надо было не пожалеть, растрепать по-нашему, и каждая складка на платье Русалки должна лежать так, как нам нужно, водяные цветы, травы должны опять ложиться и сидеть по нашему капризу, купавки в волосах должны быть вот тут и не в ином месте... Русалок тоже пришлось разместить и рассаживать по сцене самим. И, вправду сказать, Подводное царство вышло не худо. Русалка своим дивным пением произвела восторг. Слава Русалке! Слава Савве Ивановичу! Да, пожалуй, спасибо и нам, работникам!»

«Русалку» приняли, а «Фауст» не понравился. И, видимо, прежде всего правдой характеров. Маргарита у Мамонтова была тоненьким подростком. Где ей до пышногрудых Маргарит Большого театра, в декольте и драгоценностях? Мефистофель оказался отнюдь не чертом, а франтом с Тверского бульвара.

Публика спектакль осмеяла, а на «Виндзорских проказниц» вообще не пошла, ни одного билета не продали.

И вот к осеннему сезону приготавливалась «Снегурочка». Представление состоялось 8 октября 1885 года.

Неврев писал Васнецову в Киев: «22 октября 14 человек передвижников были угощаемы добрым С. И. Мамонтовым представлением „Снегурочки“. Все были в восторге от постановки пьесы благодаря твоим рисункам».

Виктор Михайлович Васнецов спектаклей «Снегурочки» не видел, в те дни он уже стоял на лесах Владимирского собора.

23 июня (!) Васнецов писал Прахову: «Алтарь почти весь уже скомпонован, и задержка только за Вашей программой. Купол у меня уже готов, кроме рая... Я теперь горячо работаю, и нужно, чтобы жар не остывал... В Киеве не мог бы спокойно заняться композициями, а в Абрамцеве я совершенно спокойно займусь, ничто не мешает моему настроению».

А вот письмо от 14 июля: «Согласен выписать краски из Германии от фирмы „Мевес“... Работаю, слава богу, усердно. В Киев привезу основы всех композиций...»

Седок удобно расположился в пролетке и, улыбаясь, разглядывал очень высокие облака, похожие на овечью отару. Багаж – несколько преогромных папок и саквояж. Извозчик, скашивая глаза на седока, терпеливо ждал приказа. Но седок совершенно никуда не торопился.

– Тебе хорошо – стоять, – пожаловался извозчик лошади. – А нам за постой платы нет, нам за езду платят.

Седок назидательную беседу услышал и нисколько не обиделся.

– Тепло! – сказал он с удовольствием. – Люблю теплую осень.

– Трогать, что ли?

– Трогай.

– А далеко ли?

- Вот этого я как раз тебе и не могу сказать, - засмеялся седок. - Владимирский собор знаешь? Новый, только что построенный?

- Хе! Новый! Я дитем был, когда его начали ставить. Строители-то нынче - одно жулье!

- Всякие бывают. Честные тоже. Вези меня, братец, в такое место, где квартиры сдают. Чтоб и от центра было недалеко, и от собора тоже.

- Можно на Большую Владимирскую, возля Золотых Ворот. Там меблированные комнаты госпожи Ильинской.

- Вот и слава богу! Вези к Ильинской. Как там у нее насчет клопов?

- Не живал, потому как рылом не вышел. У Ильинской чисто. Господам комнаты сдает.

- Ну что ж, - сказал седок. - Стало быть, Киев.

- Киев, Киев, - закивал головою извозчик. Васнецов комнату снял светлую и просторную. Поменял сорочку, причесал перед зеркалом бороду, достал из саквояжа новехонький синий парусиновый халат, взял длинный мунштабель, пачку кистей, палитру. И с корабля - на работу.

С Праховым сошлись у дверей собора.

- Виктор?!

- Адриан!

- Когда ты приехал?

- Только что.

- И сразу быка за рога?

- Что же откладывать? Сегодня начну, завтра меньше останется. Убудет.

- Убудет?! - захохотал Прахов. На голоса вышли двое в блузах.

- Знакомьтесь, - представил Прахов. - Господин Васнецов Виктор Михайлович, а это - господа Сведомские. Александр Александрович, Павел Александрович.

Руки жали дружески, а поглядывали внимательно.

У каждого своя стена, но работа бок о бок.

Братья Сведомские были погодками, старший, Александр, Васнецову был ровесником.

Разговор затеялся чересчур громкий, чересчур беззаботный. Все понимали, что это маленькая бравада, скрывающая страх, страх перед многотрудной работой.

Зашли в собор, постояли, глядя на громаду белого центрального корабля, потихоньку разошлись, деликатно оставив Васнецова наедине с мыслями. А тот и не думал впадать в высшую задумчивость.

- Начну-ка я с малого потолка, разомнусь на травках! - окликнул он Прахова.

- Ну, что ж! - согласился Адриан Викторович. - С травок, так с травок.

Малый потолок был узкой полосой в алтаре, отделяющей или скорее соединяющей четырехугольник главного корабля с полукруглой абсидой.

Рука не дрогнула, когда первая изумрудная полоса легла на белую стену. Но тотчас дух перехватило, застонали жилки на висках. Сунул кисть в мунштабель, перекрестился. Так перед пахотой крестьяне осеняют себя крестным знаменем. Пошел кистью махать, куда спина не заломила. А спина заломила уже минут через двадцать. Сошел с лесов. Поглядел на работу: пятнышко, как от воробья. Стоял, озираясь.

«Господи, да возможно ли такую махину разрисовать? Ничего, брат, ничего. Конечно, это не холсты пачкать, не досточки резать! - почему-то было очень весело. Какое же легкомысленное существо - человек. Сказали - распиши храм, тотчас и глаза вытарачил: чего не расписать - распишу».

- Вот и распиши! Распиши!

Забежал на леса. Ухватился за кисти, как утопающий за соломину.

Ему казалось, что со стороны он похож на пианиста, играющего бравурную музыку – кисти у него так и летали в руках: зеленая земля, умбра, охра, зелень, перманент.

«Нет, – сказал он себе уже через полчаса, – нет».

Это значило – не пианист он и рисование – не игра на рояле... Работа пошла спокойная, медлительная, и оттого быстрая. Быстрая, потому что было видно – дело делается. Вспомнилась кисть-метла, которой декорации мазал.

Ничего-то нет случайного! Вся прежняя жизнь вдруг показалась ему сознательной старательной подготовкой к сегодняшнему дню. Даже странники, рассказавшие о райских птицах Алконост и Сирин. Ведь вот он, рай, начинается под его кистью.

Поглядел на сияющую белизной абсиду. Здесь будет Богородица с младенцем. На золотом небе. А по краю, с обеих сторон, размахнут крылья предвестники Богородицыного благословения – серафимы.

Сердце замерло от красоты, которая уже существовала в мире! Правда, пока что только в сердце его.

– Виктор Михайлович!

Он посмотрел вниз: Сведомские.

– Пора на обед! Эмилия Львовна опоздания не терпит.

Пробка хлопнула о потолок и упала на тарелку Васнецова.

– Это знак! – ахнула Эмилия Львовна.

– Пробка знает именинника! – засмеялся Адриан Викторович. – С почином тебя, Виктор Михайлович!

Выпили бокалы стоя, серьезно. Обед был праздничный, люди все милые. Улыбки не сходили с лица.

– Васнецов, – спросила Эмилия Львовна, – а ты знаешь, благодаря чему ты здесь?



- Благодарю кому - знаю.

- Не кому, а чему?

Виктор Михайлович развел руками.

- Благодарю чуду, миленький Васнецов.

- Чуду?!

- Верно! Верно! - сиял очками Прахов. - У нас, брат, даже документ на чудо имеется.

- Эта история - держите меня! - воскликнула Эмилия Львовна. - Адриан прилетел из Питера на крыльях - государь одобрил проект: расписать собор в русском духе. По сему высокому случаю было шампанское.

Завтрак был среди своих, а во главе стола восседал милейший «вечно второй».

- Это Баумгартен, - подсказал Прахов. - Наш вице-губернатор. Поедешь делать визиты, познакомишься. Впрочем, я сам тебя с ним познакомлю.

- Итак, шампанского было очень много, - продолжала Эмилия Львовна, - и в конце концов они остались вдвоем: Александр Павлович и Адриан. Тут нашего профессора и осенило немедленно ехать в собор.

- Знаешь, Васнецов! - глаза у Прахова заблестели. - Я действительно увидел в абсиде линию. Намек на образ.

- Адриан кричит Баумгартену: видишь? А тот солдафон: «Нет!» - говорит. - «Так гляди!» И, видно, Адриан в такое пришел вдохновение, что и бедный Александр Павлович прозрел.

- Но я действительно! - сияя глазами, говорил Прахов. - Я - действительно!

- И вот, чтоб никто не усомнился, Адриан зарисовал «видение». А так как Александр Павлович был уже назначен председателем комитета по завершению собора, то тут же был составлен протокол, который

профессор и вице-губернатор скрепили своими высокими подписями.

- Но мы самого главного не сказали! - воскликнула Эмилия Львовна. - Богоматерь, привидевшаяся Адриану, была копией с абрамцевской иконы.

- А я чуть было своею волей не отказался от Владимирского собора, - покачал головой Васнецов. - Слава богу, в ту же ночь и опомнился. На станцию телеграмму давать прибежал мокрый как мышь.

- Никуда бы ты от нас не делся, - сказал Прахов.

Из столовой прошли в кабинет. Здесь стояла огромная тахта и еще был диван. Павел Александрович снял ботинки и улегся.

- Присоединяйтесь! - предложил Васнецову. - Мы каждый день так.

- Прикорнуть после обеда - это хорошо, - сознался Виктор Михайлович.

Он лег на диван, вытянулся, чувствуя в теле воловью усталость.

- Будто камни таскал.

- На лесах нужна привычка, - откликнулся Александр Александрович.

И больше Виктор Михайлович ничего не слышал. Проснулся - тихо. Однако светло. Приподнял голову: на тахте Павел Александрович. Улыбнулся Васнецову.

- Мы, видимо, одновременно проснулись.

- А где ваш брат?

- В соборе.

Виктор Михайлович снова опустил голову на подушку.

- Совершенно разбитый.

- Ничего, втянетесь.

- Я заметил, у вас очень хороший рисунок. Где вы учились?

- В Дюссельдорфе, у Гебгарта, у Мункачи. Ну и в Риме, конечно. Я сказал - Рим, а вы, наверное, тотчас

представили себе Рафаэля.

- Я представил себе Микеланджело, Сикстинскую капеллу, а потом действительно стансы.

- Увольте! Увольте! Мы с Бароном прожили в Риме десять лет и, может, это и кощунственно, но прониклись к Рафаэлю прямым отвращением. Чувства те же самые, когда патоки переешь.

- Не понимаю! - Васнецов даже сел на диване. - Когда этакое слышишь от Стасова - жертвенник идеи. Но вы-то - художник!

- Художники разные бывают. Для нас с Бароном...

- Кто это такой?

- Саша. Брат. Он - Барон, я - Попа. С детства так повелось. Вы уж не судите нас... Мы ведь очень рано вкусили древнего немецкого искусства: Дюрер, Гольбейн, Лукас Кранах. Это - великое искусство. Красота его иная. Строгая, лаконичная... Короче говоря - кому что!

- А я учиться нашему ремеслу начал поздно. Практически - двадцатилетним.

- Может быть, это и не худо. Вы учились сознательно, зная, к чему стремитесь. А ведь мы с Бароном в том же Дюссельдорфе рисовали, отбывая срок, а душа была отдана, думаете чему - пиротехнике. Мы пермяки, потомственные инженеры. Наш дом - Михайловский завод. Глухомань фантастическая. Ни дорог, ни городов. До Камы и то тридцать верст. Начало нашего увлечения искусством тоже примечательно дикое. Сперли у саракульского лавочника краски. Матушка у нас была строгая, посадила в тарантас и приказала отвезти ворованное хозяину. Все тридцать верст ревели. Но обошлось, наградил нас старичок и красками и кистями... Мать рано овдовела, а потом, на наше счастье, вышла за умного человека, и тот увез нас в Германию.

- Там, наверное, и занялись пиротехникой?

- Да нет, раньше. Еще на заводе. Попалась нам на глаза книга. Тут и началось. Однажды чуть дом не сожгли... В честь большого семейного торжества решили мы устроить карусель с четырьмя пароходами. Пароходы должны были идти по кругу и палить из пушек. И вот, когда уже все было готово, оставалось сделать последние штрихи, к нам в комнату зашел наш двоюродный братец. С папиросой в зубах! Увидал порох, ступку, а он охотник был! И давай помогать нам порох толочь. Я увидел папиросу - обмер. Барон успел крикнуть: «Что ты делаешь?» И тут - ба-бах! Мы в окна. Как начали наши четыре парохода палить, ничем и не остановишь... Ну, а в Дюссельдорфе, назло обывателям, уж очень жизнь у них размеренная и правильная, бросали из форточки бутылки с зарядом. Как грохнет, все и выскочат на улицу. Два раза проделка удалась, а на третьей нас выследили и выселили не только из дома, но и с улицы.

- А с виду такие солидные, такие милые господа!

- Вот-вот!

По дороге в собор Васнецов спросил своего спутника:

- Павел Александрович, вам предстоит написать «Вход в Иерусалим», «Суд Пилата», «Тайную вечерю»... Не угнетает, что лица апостолов, исторических деятелей - того же Пилата - придется... выдумать?

- Но ведь так делали и до нас!

- И до нас... А все-таки...

- Вы знаете, я действительно об этом не задумывался.

- А у меня из головы не идет. Особенно когда думаю о лице Богоматери... А пророки!.. А русские святые? Какая она была, княгиня Ольга? Ведь получается, какую я напишу, такая она и будет.

- Такая и будет, - согласился Сведомский.

- А может, мусульмане правы, не позволяя рисовать лики?

- Не правы.

- Почему же?

- Да потому, что мы остались бы без работы.

- Деньги-то нас ожидают не очень большие.

- Знаете, почему я здесь?.. У меня роскошная вилла в Риме. Мои картины в Америке, в Англии и даже у египетского хедива, но я - русский человек, русской землей вскормленный и вспоенный. Я очень хочу оставить по себе память в России. И не просто память. Пишем свои картины мы красками, а только все же и кровью. Каково сердце в нас, таковы и картины наши. Вы простите за высокие слова, по такой уж разговор.

- Нет, нет! То есть как раз - да, да! Я понимаю вас, Павел Александрович. Я и сам здесь по той же самой причине, что и вы. Пора нам послужить простому русскому человеку.

- Церковь пока единственное место, где крестьяне, рабочие и самый-самый затрапезный наш люд может получить искусство из первых рук. Мне это Прахов втолковывал, по кто этого не знает?!

Л про себя подумал: «У меня во Владимирском соборе русский человек будет среди своих русских же святых».

Вслух об этом не сказал. Сведомский хоть и пермяк, а все-таки Сведомский, недаром в католический Рим его потянуло.

Работа с малым потолком шла быстро. Покончил с травами, покрыл кобальтом круг, а в центре его нарисовал золотой крест. Для богатства оттенков, для игры света прошелся по кобальту ультрамарином. И действительно, эффект получился замечательный: крест сиял так, словно в нем была заключена частица солнца.

Но едва краска просохла, фон вокруг креста порвало, да так сильно – снизу были видны глубокие, до самого белого грунта, трещины.

Васнецов обнаружил это утром. Бросился к Праховым.

– Адриан! Все пропало! Эмалевый фон лопнул, как орех.

– Вот и прекрасно! – спокойно сказал Адриан Викторович. – Садись, садись. И не волнуйся. Случилось то, что должно было случиться. Я долго доказывал инженерам: грунт надо сделать пористый, но специалисты слишком специалисты, чтобы слушать голос разума. Короче говоря, прекращай работы дней на пять. Созовем комитет и поставим его перед фактом.

– По свинцовым белилам нельзя углем рисовать, а как без этого? Есть и еще одно большое неудобство: белый свет слепит, мешает взять верный тон.

– Вот все это мы и выскажем господам инженерам и высокой комиссии.

Через пять дней храм преобразился: стены продрали кирпичом и пемзой, в белила добавили светлую охру.

– Ну, Адриан, – сказал Васнецов, явившись в собор после нежданных каникул, – приступаю к заглавной работе.

Наконец-то приехала в Киев семья: Александра Владимировна и четверо детей, мал-мала. Квартиру сняли неподалеку от Софийского собора. Квартиру просторнейшую: Виктор Михайлович перевез из Москвы «Трех богатырей».

Перед тем как идти в собор, художник любил посидеть возле своей картины. Иногда и за кисти брался, но чаще сидел, смотрел, то замечая всё ужасающее множество несовершенств в картине, то удивляясь великому своему детищу. Удивляясь, как это

он напал на столь явственную мысль. Почему эта мысль пришла ему, а не хваткому Репину, например?

Прошел год.

Пора было посылать картины на очередную выставку.

Виктор Михайлович вдруг стал ходить на конюшни. Рисовал тяжеловозов. Принялся прописывать Добрыню Никитича.

- А чем Васнецовы не богатыри? - сказал однажды Александре Владимировне. - Быть Добрыне нашего корня - рыжим.

Пристроил зеркало, писал с себя.

И вдруг однажды завесил «Трех богатырей» холстом.

- Не успеть, - сказал жене. - Столько лет не спешил и теперь не буду.

До Киева дошли слухи, что на очередной, Пятнадцатой выставке Поленов и Суриков выставляют огромные исторические картины. Васнецов чувствовал себя изгоем, душа заметалась в тоске, как белка в клетке. Та бурная, счастливая жизнь, которая совсем еще недавно была его жизнью, его волнениями, теперь шла без него, и шла замечательно.

Васнецов со своих высоких киевских лесов не замечал, что все они - надежда и опора русского искусства - идут плечом к плечу: от жанра к истории, от истории - к религии. Ведь что же может быть выше жизни человеческого духа? Великим мастерам - великие замыслы.

Репин поставил на Пятнадцатой Передвижной две проходные для себя картины «Собирание букета», «Прогулка с проводником на южном берегу Крыма» и портреты: Глинки, Листа, Гаршина, дочери, Беляева, Самойлова, но писал он теперь картину «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». В 1887 году праздновалось

восьмисотлетие перенесения мощей Николая-чудотворца из Мир в Бари.

Суриков написал и выставил «Боярыню Морозову» – драматический эпизод из русской истории, когда борьба между приверженцами старых обрядов с никонианами и царем достигла крайнего обострения.

Поленов, как и Суриков, тоже размахнулся на десятиаршинный холст. Его «Христос и грешница» не только делила успех с шедевром Сурикова, но по воздействию на публику, особенно на студенчество, еще и превосходила этот успех.

Репин обратился к образу святого Николая-угодника, получив заказ женского монастыря «Никольская пустынь». Это был заказ земляков, вернее, землячек, монастырь находился неподалеку от Чугуева. Репинская картина и все ее авторские повторения не были новым достижением художника. Это еще одна картина, и только. В ней есть что-то от академических работ. Душа не воспылала вдохновением. Дело, видимо, в том, что Илья Ефимович переживал естественный спад после своего «Ивана Грозного». Вершина исторической живописи была покорена, и теперь шел выбор очередной вершины.

Сурикову, с его неистовым темпераментом, после тесной избы, где мыкал свои последние дни широкий Меншиков, нужно было выплеснуть всю накопившуюся в нем, стреноженную Березовом страсть. Более подходящего сюжета, чем боярыня Морозова, трудно себе и представить. И тут еще нюанс: обиды старообрядцев – это для сибиряка Сурикова было своим, личным делом. Свои русские люди, своя история, свой гнев, свой смех, своя драма. Народная драма. Высшая драма, потому что она касалась веры и еще – правительства, ибо правительство XVII века ради государственных интересов посягнуло на само крестное знамение, изменив его в угоду ученым-богословам,



богословам-чужакам, оказавшимся к тому же нечистоплотными в своем угодничестве перед сильными мира сего. Картина Сурикова о вере, но не религиозная.

Она не судит ни верующих фанатиков, ни смеющихся над ними. Она об одном из самых больных изломов жизни русского народа, она о силе духа русских людей. Вот эта необычайная концентрация русского и делает картину шедевром мировой живописи. Но в том, 1887 году это была всего лишь еще одна картина Сурикова, очень большая картина и очень хорошая. Чистяков, посмотрев Пятнадцатую Передвижную выставку, признал: «Самая выдающаяся картина – это картина В. И. Сурикова „Боярыня Морозова“... В картине этой столько жизни, столько правды и сути – этой бесшабашной, бесконтрольной людской глупости, просто увлекаешься и прощаешь всякую технику».

Картина Поленова «Христос и грешница» – тоже о герое и народе. Но это взгляд и на героя и на народ – глазами интеллигента.

Современников, однако, более всего поразила свет, лившийся с огромного полотна.

«Луч живой любящей правды сверкнет сейчас в этот мрак изуверства... И уже готовы слова, которые будут говорить векам: „Кто из вас без греха – пусть бросит первый камень“. Христос был странствующий проповедник. Ему нужна была физическая сила, чтобы носить бремя великого деятельного духа. Он, как и мы, загорал на солнце, уставал от трудного пути, ел и пил. Художник и изобразил нам человека с чрезвычайной правдивостью. Это реально, но не надо забывать, что реализм есть лишь выработанное нашим временем условие художественности, а не сама художественность...» Так писал о картине Поленова Короленко.

«В картине нет ни одной, что называется, драпировки, все это – настоящее платье, одежда; и художник, пристально изучивший Восток, сумел так одеть своих героев, что они действительно носят одежду, живут в ней, а не надели для подмостков или позирования перед живописцем». Это слова из критической статьи Гаршина.

«„Грешница“ была светлым, жизнерадостным, горячо-солнечным произведением в холодной снежной Москве, к тому же она была дерзким вызовом для религиозных ханжей», – писал о своем восприятии картины художник Татевосян.

Но то, что заметили студенты и молодые литераторы, заметили и опытные цензоры. Едва картина заняла свое место в одном из залов, как встал вопрос о ее запрещении. Вот рассказ об этом из первых рук. «...В субботу поутру был у нас цензор Никитин, – писал Поленов своей матери, – который, осмотрев выставку, не сказал ни слова, но поехал к Грессеру и сообщил, что есть картина Поленова, которую он пропустить не может. Грессер прислал какого-то полковника – своего чиновника особых поручений для проверки, тот отозвался об картине Поленова положительно, т. е. что он в ней ничего непозволительного не видит. В воскресенье приехал великий князь Влад(имир) Алекс(андрович), долго стоял перед моей картиной, нашел, что она плохо поставлена, но что вещь чудесна и для нас, образованных людей, очень интересна своим историческим характером, но что для толпы это еще недоступно и может возбудить толки... Во вторник поутру приехал Грессер, привез Победоносцева и повел прямо к моей картине. Этот нашел, что картина серьезная и интересная, по больше ничего не сказал. Но после его отъезда запретили печатать каталог... Приехал государь, государыня, наследник... Наконец пришли к моей картине... Уходя,

государь сказал, что для такой картины тут света мало и что было бы очень интересно ее увидеть при хорошем освещении. Пошли они в следующую залу. Я остался у себя. Вдруг бежит Влад(имир) Ал (ександрович) и зовет: „Поленов, что Ваша картина – свободна?“ – „Никому не принадлежит, Ваше имп(ераторское) высоч(ество)“. – „Государь ее приобретает...“»

Итак, Поленов, взявшись за вечную тему, преуспел. Картина его, во-первых, была выходом из творческого тупика, в котором он, так это ему казалось, пребывал все послеакадемические годы. Во-вторых, это была картина, созданная на подлинно палестинских наблюдениях. Это был новый взгляд на личность Иисуса Христа, потому-то так и взволновалось студенчество и так насторожилась цензура... После же того, как картина была куплена Александром III и за очень большие деньги, в адрес пошли письма с восклицательными знаками. Подобное письмо пришло, кстати, от Климентовой-Муромцевой: «Поздравляю с громадным успехом Вашей картины! Это просто гениальная вещь... Счастливец, какой в Вас талант!.. Желая Вам продолжать идти по пути гения и славы».

Художник не понимал, отчего это картина его с восторгом принята как двором, так и передовым студенчеством. Ведь он не ловчил, не подстраивался под чьи-либо вкусы.

Не понимал и Васнецов, что, расписывая киевский храм в русском духе, он работает по официальную доктрину Александра III, который революции противопоставил православие.

Между тем работа обрушивалась на Васнецова, как горный сель. Она несла его в своей чудовищной круговерти и ничуть не убывала. Больше всего придавливали не объемы труда, но творческое одиночество. Абрамцево вошло в плоть и кровь, здесь ведь в талантливых соседях недостатка не было. Дом

Праховых тоже был и шумен и весел. И мудрствовали тут и серьезнее, и ученее, но больше все-таки говорили о делах, нежели в доме делового человека Мамонтова. Тут реже рождались художественные идеи. Тут среди таких же близких людей, как и в Абрамцеве, можно было шутить и устраивать веселые проказы, но не тянуло исповедаться в своем искусстве. Не было здесь Елизаветы Григорьевны.

Впрочем, чуткая душа выростала и на этой почве – Лёля Прахова, но в те годы она была еще совсем девочка.

Успех поленовской «Грешницы» окрылил Васнецова. Явилась надежда залучить Василия Дмитриевича па леса Владимирского собора, тем более что поленовская семья пережила летом 86-го года страшное потрясение: умер их мальчик Федя. Перемена места, перемена работы – не лучшее ли лекарство от безысходной тоски и боли?

31 декабря 1887 года Виктор Михайлович решился-таки написать Поленову письмо-приглашение.

«Помимо того, что я желал с тобою видеться как с человеком, наиболее мне близким и родным по духу, несмотря на различие характеров, я жаждал иметь в тебе серьезного критика, и затем я мечтал, что, увидевши собор наш, решишься взять на себя работу и будешь моим товарищем. Когда я услышал, что ты проехал обратно, минуя Киев, мне было до крайности горько.

Мне очень важно, чтобы мою работу видел хоть один из серьезных художников, а тем более ты, как знаток именно этого моего дела, которое едва ли кто-либо понимает ясно. Затем я услышал, что ты продолжаешь болеть и едва ли возьмешься за дело собора; эти слухи меня прямо обескуражили...

Уговаривать тебя я не смею и считаю нецелесообразным и рискованным, так как брать на

себя такое серьезное дело, хотя и увлекательное, должно совершенно самостоятельно. Я только буду всей душой радоваться, если ты решишься взять на себя это трудное и святое дело...»

Василий Дмитриевич ответил сразу, его письмо датировано 8 января 1888 года.

«Милый друг, Виктор Михайлович, не заехал я к тебе из Крыма потому, что очень нехорошо себя чувствовал и торопился домой. Мне бы ужасно хотелось и повидаться с тобой и посмотреть на твои работы, и думал я собраться весной к тебе, да все не могу справиться с болезнями...

Что касается работы в соборе, то я решительно не в состоянии взять ее на себя. Я совсем не могу настроиться для такого дела. Ты – совершенно другое, ты вдохновился этой темой, проникся ее значением, ты искренне веришь в высоту задачи, поэтому у тебя и дело идет. А я этого не могу, мне бы пришлось делать вещи, в которые я не только не верю, да к которым душа не лежит; искреннего отношения с моей стороны тут не могло бы быть, а в деле искусства притворяться не следует, да и ни в каком деле не умею притворяться. Ты мне скажешь, что я же написал картину, где пытался изобразить Христа. Но вот в чем дело: для меня Христос и его проповедь одно, а современное православие и его учение – другое; одно есть любовь и прощение, а другое... далеко от этого...

Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит. В жизни так много горя, так много пошлости и грязи, что если искусство тебя будет сплошь обдавать ужасами да злодействами, то уже жить станет слишком тяжело... Ты не думай, что я упрекаю в притворстве при теперешней работе, ты вдохновился ею и нашел в ней смысл, и я глубоко это уважаю. Все тебе кланяются...»

Итак, никого из прежних друзей в соратники Васнецову заполучить не удалось. Прахов пригласил в собор Вильгельма Александровича Котарбинского. Он был чуть моложе Васнецова и младшего Сведомского. В 87-м году, когда он приехал в Киев, ему исполнилось тридцать шесть лет. Еще позже приехал Врубель, появились совсем молодые Костенко, Замирайло. Для разбивок клеток на стенах приглашались ученики художественной школы, созданной другом Репина Мурашко.

Все написать своею рукою никаких сил не хватило бы. Однако контуры фигур Васнецов наносил сам, считал, что точность рисунка – главное. Помощники делали подмалевки, а заканчивал фигуру Виктор Михайлович опять-таки своею рукою. Впрочем, удачные куски фона, драпировок – оставлял, не подправляя.

Центральную фигуру Божьей матери Васнецов написал без подмалевок и всю сам. Но уже херувимов он отдал Костенко.

Пророков, святителей, евхаристию тоже никому не передоверил. А вот ангелов разрешил писать помощникам: одного написал Куренной, другого – Костенко. Костенко же написал и евангелистов на парусах. Правда, заканчивал их все-таки сам Васнецов.

Костенко был у Васнецова любимым помощником, обещал вырасти в большого художника, но судьба оказалась к нему немилостивой. Как и многие русские живописцы, он отправился учиться совершенству в Париж. Одну его работу взяли на осенний Салон. И тут случилось несчастье: помешательство, заключение в больницу, ранняя смерть.

Другим помощником, которым Васнецов очень дорожил, был Замирайло. Замечательный шрифтист, он выполнил все надписи в соборе. Позже он сделал с Васнецовым еще одну прекрасную работу: Васнецов нарисовал, а Замирайло написал своими шрифтами

«Песнь о вещем Олеге», изданную в юбилейном 1899 году, в год столетия Пушкина.

Вся огромная, многослойная усталость перетекала в единую серую тоску. Васнецов еще и подшучивал над собой: «А дрозд – тосковать, дрозд – горевать!»

Писал жалобные письма Третьякову: «Музыку часто слышите? А я редко очень-очень, а мне она страшно необходима: музыкой можно лечиться».

Эмилия Львовна, как могла, восполняла эту недостачу. В дом приглашались музыканты: Пухальский, братья Блюменфельд, бывал совсем еще молодой Лысенко.

Часы пробили половину десятого. Александра Владимировна привычно сняла с вешалки пальто, чтобы быть ближе к мужу в последнюю минуту перед его долгим рабочим днем. Он вышел из комнаты с «Богатырями» и вдруг поднял руки, как заслонился:

– Не надо, Саша! Не хочу!

– Что? – не поняла Александра Владимировна.

– Да ничего я не хочу! Ничего! Повесь, пожалуйста, пальто.

Она исполнила его просьбу, а он все стоял в прихожей, видимо, не зная, на что решиться.

– Ты хочешь отдохнуть?

– Да... Ведь не каторжный я, в самом деле?

– Может быть, в Москву съездить?

– Нет, – покачал он головой. – Просто посижу дома. Ты знаешь, я по сказкам соскучился... Пошли, поглядим «Царевича на Волке».

– Но ведь это опять работа.

– Ну, какая это работа?! Это, Сашенька, – безмятежное счастье. Знаешь, зови детишек, почитаем сказки. Ты почитай, а мы послушаем.

Поставил Васнецов свою состарившуюся и все еще не конченную картину «Иван-царевич», сели всем

семейством на большом диване и посмотрели на Александру Владимировну.

- Что же вам почитать? - спросила она.

- Веселое! - ответил за всех Миша.

- Веселое, так веселое. - И прочитала первую сказочку. - «Заприметил солдат, что у хохла в сенях висело под коньком пуда два свиного сала в мешке: прорыл ночью крышу, стал отвязывать мешок да как-то осклизнулся и упал вместе с салом в сени. Хозяин услышал шум и вышел с огнем: „Чего тебе треба?“ - „Не надо ли тебе сала?“ - спрашивает солдат. - „Ни, у меня своего богацько!“ - „Ну, так потрудись, навали мне мешок па спину“. Хозяин навалил ему мешок на спину, и солдат ушел».

Посмеялись, а Миша сказал:

- Еще.

- «Раз зимою ехали по Волге-реке извозчики. Одна лошадь заартачилась и бросилась с дороги в сторону; извозчик тотчас погнался за нею и только хотел ударить кнутом, как она попала в майну и пошла под лед со всем возом. „Ну, моли бога, что ушла, - закричал мужик, - а то я бы нахлестал тебе бока-то!“»

- Ну, это грустная сказка, - сказал Васнецов.

- Еще! Еще! - потребовал Миша.

- «Трое прохожих пообедали па постоялом дворе и отправились в путь. „А что, ребята, вить мы, кажется, дорого за обед заплатили?“ - „Ну, я хоть и дорого заплатил, - сказал один, - зато недаром!“ - „А что?“ - „А разве вы не заметили? Только хозяин засмотрится, я сейчас схвачу из солоницы горсть соли, да в рот! да в рот!“»





*И. Е. Репин. Портрет В. М. Васнецова. Рис. 1882.*



*В. М. Васнецов. Голова Христа.*



*Киев. Владимирский собор.*



*В. М. Васнецов. Богоматерь с младенцем. Эскиз для абсиды.*



*В. М. Васнецов. Портрет -4 Е. А. Праховой. 1894.*



*В. М. Васнецов. Ангел Молчания. Рис. углем на стене мастерской. Начало 1900-х.*



*Фасад Дома-музея. Проект В. М. Васнецова. 1893-1894.*

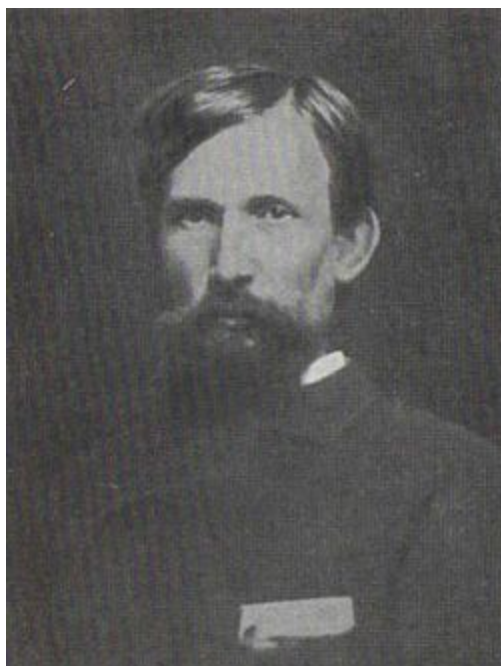


*В. М. Васнецов. Витязь на распутье. 1882.*



*В. М. Васнецов. Баян. 1910.*





*В. М. Васнецов.*



*Среди друзей. Слева направо: А. Н. Алексин, А. М. Горький, В. М. Васнецов, Л. Д. Средин. 1900.*



*В. М. Васнецов с братьями Аполлинарием, Александром, Аркадием и детьми.*



*В. М. Васнецов с женой Александрой Владимировной.*



*В. М. Васнецов с родными и близкими. 1906.*



*В. М. Васнецов и В. И. Суриков в саду дома. 1908.*



*В. М. Васнецов с женой и дочерьми.*

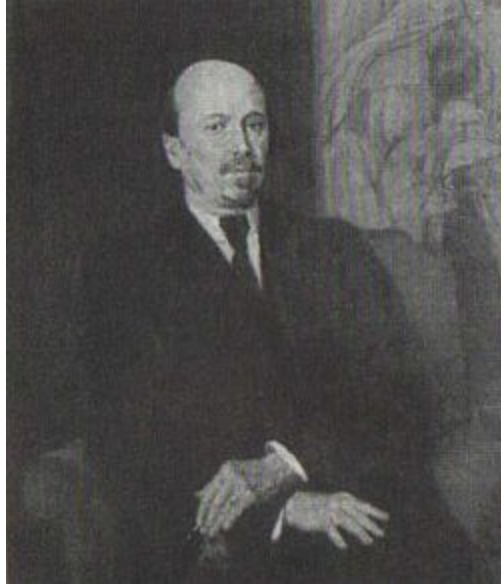


*В. М. Васнецов. Иван-царевич на Сером Волке. 1889.*



*В. М. Васнецов с внуком Витей. 1922.*





*В. М. Васнецов. Портрет М. В. Нестерова. 1925.*



*М. В. Нестеров. Портрет В. М. Васнецова. 1925.*

- А знаешь, матушка! - сказал вдруг Виктор Михайлович. - Дубы на картине очень уж хороши. Всё! Буду писать ее. Собор подождет, да и нет у меня па него больше ни толики силенок.

Отпуск был взят, но не от живописи. Теперь, к великой гордости и радости детей, в дом ежедневно приводили из киевского зверинца настоящего волка.

- Как хорошо натуру-то пописать! - радовался Васнецов. - Экие глаза-то у него, волчьи, белые. Людоед! Чистый людоед!

Передвижная выставка 1889 года подарила зрителям картинами, без которых теперь русское искусство представить себе невозможно. Тряхнул стариною Максимов. Его картина «Все в прошлом» напомнила о былой силе этого художника. Потихоньку да помаленьку пропил он свой талант. Оттого-то, может, и не было прежней дружбы у них с Васнецовым.

Шишкин выставил «Утро в сосновом лесу», знаменитых «не своих» мишек. Репин представил «Николая-чудотворца», Левитан «Пасмурный день на Волге», Степанов «Лосей», Васнецов «Ивана-царевича на Сером Волке».

Критика снова отчитала Виктора Михайловича. Особенно постарался художественный обозреватель журнала «Русская мысль». «Иван-царевича Виктора Михайловича Васнецова не приобрел Павел Михайлович Третьяков, - писал он, то ли не зная, что картина куплена в Третьяковку, то ли умышленно, и далее следовал весьма примечательный критический опус. - У него (у Третьякова. - В. В.) уже достаточно собрано произведений этого художника, столь неудачно увлекшегося новшеством, якобы долженствующим создать особливую русскую живопись, непохожую ни на какую другую. Выходило нечто, в самом деле ни на что непохожее, свидетельствующее о том, что и с талантом можно забраться в такие дебри бессмыслицы, из которых почти нет средств выбраться на свет божий. В новой картине Васнецова сказывается попытка вернуться на общечеловеческую стезю в искусстве, но до осуществления столь благого намерения еще далеко. Васнецов написал лес, воду и цветы несколько похожими на настоящие, а не на его „Васнецовские“.

Но „серый волк“ все еще претендует по-прежнему на сказочность и вышел совершенно таким, каким мы видим „серых волков“ в окнах меховых магазинов. Прыгает „серый“ через воду, а зритель убежден, что это чучело, только сделано в такой позе, что прыгать никак не может и обречено всю жизнь пребывать с вытянутыми вперед ногами и высунутым языком».

Иное мнение у Саввы Мамонтова: «Твой царевич на волке привел меня в восторг. Я всё кругом забыл, я ушел в этот лес, я надышался этого воздуха, нанюхался этих цветов. Все это мое, родное, хорошее! Я просто ожил! Пусть говорят, что в картине много недостатков, неверностей, я не буду спорить, но пусть кто-нибудь другой так просто и непосредственно повлияет на мою душу, как твоя картина. Вот где поэзия! Молодец!..»

С Мамонтовым вполне согласилась авторитетная среди художников газета «Художественные новости».

«Такого сказочного леса до сих пор не бывало. В сказке – своя логика и своя законообразность: по таким проклятым местам можно скакать только на сером волке. Византийская красота Ивана-царевича и его суженой, смягченная эпическими чертами народной сказки, производит цельное и чрезвычайно приятное впечатление».

Итак, первое серьезное совместительство состоялось. Еще одна «детская» картина Васнецова явилась в мир, чтобы обрадовать главного и постоянного своего зрителя, о котором Васнецов специально не думал, но для которого, но сути дела, и работал всю свою огромную художественную жизнь. Этим зрителем были дети.

Так ли уж это бесспорно, что человеку на жизнь дана одна пара глаз. Так ли это бесспорно? Детские глаза много совершеннее глаз взрослого человека, они чересчур доверчивы, а потому и видят много больше: во-первых, они видят всё множество деталей, мимо

которых скользит пресыщенный глаз взрослого, а во-вторых, они видят не смысл картины, до которой спешат докопаться взрослые люди, но мир картины. А это, как понимаете, совсем не одно и то же. Идея-то чаще всего испаряется, иногда до такой степени, что критики начинают приписывать картине совсем противоположные толкования. Мир картины – это не только изображенная объективная реальность, но это еще и чудесное свойство впускать в себя зрителя. Можно и с Аленушкой на сером камне посидеть, можно за витязя решить, куда ему ехать, а потом и отправиться в путь... Тут только одна заковыка: не всякому картина откроется. Взрослому наверняка – нет. Потому что для взрослого сказка – это сказка и картина – это только картина. Дети такого не понимают и не принимают. Они реалисты, и сказка для них – жизнь, и всякая картина, пусть хоть о гибнущей Помпее, – жизнь, совершающаяся сегодня.

Детская литература существует столетия, если вспомнить сказки Перро. Существует и специальная детская графика. А вот живописи для детей и сегодня нет, хотя, имея Васнецова, так уже говорить нельзя.

Детскость Васнецова – в серьезном отношении к сказке, в насыщении этого мира множеством деталей. Ведь у него не бывает героя вообще, вообще Сивки-Бурки, вообще ковра-самолета. На всякое снаряжение хоть технический паспорт выдавай. Детский зритель точность ценит превыше всего. Ему важно, что и как, а куда и почему, он сам решит.

Ну и последнее. Детские глаза умеют и любить на всю жизнь, и помнить на всю жизнь. Способность смотреть по-детски взрослый человек в конце концов утрачивает, но он никогда не утратит и не расстанется со своей преданностью детству. Он обязательно передаст кому-то любовь к художнику. Эта любовь, как колдовская сила, ее нельзя унести с собой.

Работа над «Иваном-царевичем», успех у зрителей, приобретение картины Третьяковым освежили силы Васнецова, по крайней мере, освободили от иллюзии замкнутости в четырех стенах.

Вороны – предвестники жестокой сечи, дамы – предвестники славы. Сначала это было ново: показывать, объяснять, давать подержать палитру и кисти. Потом это стало обременительно. Наконец ввели пропуска. Сторож Степан без визитки Прахова или председателя комитета никого в собор не пропускал. Молва донесла до наших дней рассказ об одном таком посещении.

Две молодые особы явились в собор с пропуском от самого генерал-губернатора Игнатьева. Повел их Васнецов и не без ехидства заставил полазить по лесам. Дамы, однако, в долгу не остались.

– Откуда вы берете все эти картинки? – спросила одна по-французски.

– Из мозгов, государыни! – по-русски ответил Васнецов.

– А мы думали, вы из «Нивы» срисовываете! – как бы само собой разумеющееся сказала дама.

Бывали у Васнецова и прямые столкновения с посетителями.

Однажды явился генерал. Шинель на красной подкладке, шаг командирский, голос громкий. Топают по собору и восклицает: «Ого! Ага!»

Художники отвлеклись от работы, смотрят сверху, кто это? А Васнецов взъярился – и вниз.

– Предъявите пропуск!

– Какой вам еще пропуск? – изумился генерал. – Я фон Роот, одесский генерал-губернатор.

– А я художник Васнецов, которому вы мешаете работать. Будьте любезны, прочтите правила для посетителей собора, обязательные для всех, независимо от их чинов и рангов.

- Я буду жаловаться на вас в Петербург! - заорал взбешенный хозяин одесского края. - Я пошлю телеграмму министру внутренних дел. Это вам не пройдет! Меня при дворе знают!

Васнецов вывел генерала и закрыл дверь на засов.

В те поры одному молодому художнику по фамилии Нестеров приснились подряд два вещих сна. Один сон - высокая до небес лестница. Поднимается он по этой лестнице до облаков... и тут пробуждение... Другой сон про картину «Видение отрока Варфоломея». Будто висит картина на почетном месте в Ивановском зале Третьяковки. Через год и впрямь увидел Нестеров своего «Варфоломея» в Ивановском зале. Что же касается лестницы, то и это сбылось: Михаил Васильевич поднялся вскоре на леса Владимирского собора, чтобы разделить труды и славу его создателей.

С праздником в душе ехал Нестеров в Киев, но и сомнений тоже было достаточно: прибавит ли его кисть к подвигу Васнецова, да что там прибавит - пригодится ли?

Михаил Васильевич умел писать не только красками. Пусть же прозвучит сейчас его светлый голос во славу дружбы двух чудных русских художников, так много давших отечественному искусству.

«Вхожу, передо мной леса, леса, леса, в промежутках то там, то здесь сверкает позолота, глядят широко раскрытыми очами лики угодников, куски дивных орнаментов.

Зрелище великолепное...

Я медленно подвигаюсь среди такой невиданной, непривычной, таинственной обстановки, подвигаюсь робко, как в заколдованном волшебном лесу. Куда-то проходят люди, запыленные, озабоченные рабочие. Тащат бревна, стучат топоры, где-то молотком бьют по камню...

Спрашиваю Васнецова. Говорят, что он на хорах, вон там, на левом крыле их. Сейчас он занят. Снизу кричат ему мое имя.

Голос сверху приглашает меня на хоры...

По лесам я иду впервые, иду робко, озираясь влево на увеличивающуюся пропасть. Перил нет, голова немного кружится, а мой спутник летит по ним сломя голову. Да и я скоро буду бегать по ним, как по паркету.

Наконец площадка, мы на хорах... И я вижу между лесов, перед огромным холстом высокую фигуру в блузе, с большой круглой палитрой в руках. Это и есть Виктор Михайлович Васнецов, тот, о ком тогда говорила уже вся художественная Россия.

Заслышав наши шаги, Виктор Михайлович оборачивается, кладет палитру на бревно, идет навстречу. Мы сердечно здороваемся, целуемся, и с этой минуты начинается наша долгая дружба; несмотря на значительную разницу лет, мы надолго, на всю жизнь, лишь с некоторыми перебоями, едва ли от нас самих зависящими, остаемся „Васнецовым и Нестеровым“».

Приглашение молодого Нестерова в собор последовало после успеха его «Пустынника» и особенно «Варфоломея». Успеха, кстати говоря, далеко не бесспорного. Но если Стасов, Суворин, Григорович и Мясоедов оказались воинственными противниками художника, то у него был и могучий сторонник, впрочем, потерянный в одиночасье и навсегда.

Центром Передвижной выставки 1890 года была работа Н. Н. Ге «Что есть истина?». Однако и «Варфоломей» прозвучал. Прославленный ветеран передвижничества решил взять молодого под свое орлиное крыло, пожелал побеседовать наедине.

«Я, как очарованный, слушаю Николая Николаевича, – вспоминал Нестеров. – Его дивная

дикция волнует меня... Мы все ходим, ходим. Николай Николаевич все говорит, говорит...

И я начинаю утомляться от ходьбы, от напряженного внимания к словам, не всегда понятным, „учителя“, а он, как бы угадывая мое состояние, неожиданно останавливается со мной у своей картины, у „Христа перед Пилатом“, и спрашивает мое мнение о ней... Что я скажу ему, этому славному художнику, такому ласковому со мной?.. У меня нет тех слов, кои ему нужны от меня... Солгать?.. Нет, солгать не смогу. Не могу и сказать той горькой „правды“, что думаю о картине...

А время идет, идет... Молчание мое для Николая Николаевича становится подозрительным, наконец, неприятным. И так мы простояли перед „Пилатом“ минут десять. Я нем, как рыба. Для старика все стало ясно, и он... повернулся и ушел... Он никогда не простил мне моего неумелого молчания, много раз пламенно осуждал мои картины...

Последний раз я его видел в Киеве в те дни, когда я расписывал Владимирский собор. Помню, мы сидели с Виктором Михайловичем Васнецовым на балконе на Владимирской улице. Мы отдыхали после рабочего дня, о чем-то лениво говорили, как вдруг Васнецов говорит: „Смотрите, ведь это едет Ге“.

Я обернулся и увидел Николая Николаевича, ехавшего на извозчике в сторону Софийского собора. С ним на пролетке сидел почтительно, бочком, молодой человек, по виду художник. Николай Николаевич что-то оживленно ему говорил, и нам показалось, что на наш счет, так как смотрели оба на наш балкон. Ни он нам, ни мы ему не поклонились, и этот наш поступок мы не могли забыть и простить себе всю жизнь. Вызван же он был тем, что Ге с великой враждой относился к росписи Владимирского собора».



Не все сочувствовали делу Васнецова. Далеко не все. Были у него недоброжелатели по личным мотивам. Было и принципиальное неприятие его устремлений сделать для русских людей русский храм. Имелись у него враги и среди духовенства. Один из киевских архиереев говорил, что молиться во Владимирском соборе никак нельзя, вместо святых сиволапые мужики на стенах. Влиятельный среди монашества Иоанникий сделал все, чтобы роспись Великой Лаврской церкви не досталась Васнецову.

Так что поддержка от молодого собрата была очень нужна Виктору Михайловичу. Тем более что дружбы или какой-то творческой близости с Врубелем, работавшим в соборе до Нестерова, не получилось. Врубель был моложе Васнецова всего на восемь лет, но он принадлежал, и целиком, иному художественному поколению.

Строительный комитет отверг эскизы Врубеля, хотя они были необыкновенно талантливы. Для воплощения художественных идей Врубелю был нужен свой собственный собор, которого он, конечно, не получил. Его участие во Владимирском соборе кончилось росписью орнаментов.

Комитет напугало не разностилье. В конце концов, картины Сведомского и Котарбинского рознятся между собой и совершенно не совпадают со стилистикой Васнецова. Дело было в самой сути врубелевской живописи.

Васнецов смущал киевских пастырей реализмом образов, их полнокровием и человечностью. Перед старой иконой, которая воспроизводит человека с большой степенью условности, молиться проще. Старая икона никогда не рассказывает о личности святого, она рассказывает о служении богу. Молящегося икона всячески отстраняет от жизни, ведь он даже родного пейзажа не узнает и родного города тоже. Васнецов же

написал на своих иконах и картинах русских людей, русскую природу и русские города.

Система образности Врубеля была совершенно иной. Его оплакивание Христа Богоматерью – не пересказ известного всем события на свой лад, но воистину плач. В таком храме, может быть, и сами слова произносить грех, тут надо молчать, потому что говорят стены.

Обе стихии – васнецовская, эпическая, и врубелевская, обращенная к чувству, – уживаясь, создали Нестерова. Правда, в этом «тихом» искусстве нет врубелевского вселенского страдания. Здесь – своя боль, молитва за себя.

Виктор Михайлович человек был покладистый и благожелательный. В Нестерове он видел продолжателя своей стези, но и талант Врубеля был ему симпатичен. Он пытался оберегать этот талант. Прежде всего от самого Врубеля, выходки которого не понимал и не мог принять.

Да ведь и то! Однажды в соборе Михаил Александрович капнул себе на нос зеленой краской.

– Вы испачкались, – сказал ему Сведомский.

– Ах, это! – Врубель погляделся в зеркало, взял с палитры ярко-зеленую «Поль Веронез», вымазал нос и пошел в город, к Праховым.

Эмилия Львовна тоже не преминула сказать:

– Вы запачкались!

– О нет! – возразил Врубель. – Женщины красятся. Скоро будут и мужчины, в разные цвета. Смотри по характеру и темпераменту. Одним пойдет желтый цвет, другим – синий или красный, третьим – лиловый. Мне идет зеленый.

Шалость гения? Богема? То и другое, хотя позднее в этом видели зачатки психического надлома.

Врубель в жизни был человеком неустроенным, но ему нравилось играть роль аристократа. В застольях он строго соблюдал очередность вин, он тратил деньги без

счета, когда они у него были. Мог обливаться «Коти» и сидеть на одной картошке.

К сожалению, этот широкий стиль Врубель использовал и в своей работе. Ради сиюминутного желания он уничтожал свои картины с легкостью необыкновенной. Прибегает Васнецов однажды к Праховым, радостно возбужденный.

- Адриан! Какую чудесную Богоматерь написал Врубель. Ты зайди завтра в подсобку. Я думаю, такую икону надо использовать в соборе.

Утром пришли в подсобку, где художники рисовали «для себя», и ахнули: на холсте вместо Богоматери гарцевала рыжая циркачка.

- Что вы наделали? - Васнецов за голову схватился.

- Ах, это?! - Врубель ужасно смутился. - Холста не было. Но я напишу другое, лучше прежнего.

И написал Оранту. Позвал посмотреть. Васнецов ужаснулся: зубы ощерены, пальцы скрючены и похожи на когти.

- Что это?!

- Она защищается, - объяснил Врубель.

В другой раз Васнецов и Прахов, зайдя в меблированные комнаты, где жил Михаил Александрович, увидели чудесную картину «Христос в Гефсиманском саду». Правый угол картины был еще не дописан. Тотчас поехали к промышленнику и коллекционеру Терещенко. Терещенко вручил Врубелю задаток, триста рублей. Казалось, дело сделано, надо дописать угол картины, передать покупателю и получить всю сумму целиком.

И снова поверх Христа появилась все та же рыжая циркачка.

Для такого нормально живущего человека, как Васнецов, все это было дикостью, сплошным несчастьем. Конечно, появление во Владимирском

соборе Нестерова, человека тоже с характером, но своего по духу, было для Васнецова подарком судьбы.

К тому времени имя Виктора Михайловича уже гремело по стране, и «похожесть» Нестерова на Васнецова воспринималась критиками как ученичество. Критика так долго об этом твердила, что в конце концов своего добилась – заколотила между двумя родственными душами ржавый железный клин.

Уже в начале 1891 года Нестеров в письме к другу вылил все свое негодование, которое, как там ни крути, падало на неповинную голову Васнецова.

«Я не могу обмануть себя и вижу яснее, чем нужно, свои силы, – писал Нестеров. – До сего дня я был и есть отклик каких-то чудных звуков, которые несутся откуда-то издалека, и я лишь ловлю их урывками... Истинный художник есть тот, кто умеет быть самим собой, возвыситься до независимости.

В недавнем письме Соловьева к Виктору Михайловичу он замечает в ободрение Васнецова, что у него есть уже последователя, и именно – „Нестеров“. Признавая гений Васнецова, колоссальное его значение в будущем, я могу лишь признать себя подражателем его относительно, в той же мере, как я подражаю Франческо Фанча, Боттичелли, Беато Анджелико, Рафаэлю, Пювис де Шаванну, Сурикову и не более, но никак не исключительно Васнецову. И последователь его я лишь потому, что начал писать после него (родился после), но формы, язык для выражения моих чувств у меня свой, и чувства эти исходят не из подражания Васнецову или кому-либо, а из обстоятельств, которые предшествовали моей художественной деятельности. Удастся ли что сделать в жизни действительно творческое – вопрос остается открытым...»

Письмо, которое мы только что цитировали, было отправлено 14 февраля. Оно – реакция на статью

Владимира Соловьева. Всего тремя днями раньше Михаил Васильевич писал тому же адресату совсем иное: «Скажу Вам, что много стоит трудов Васнецову отстаивать меня перед киевским обществом, и он это делает с таким же жаром, как бы отстаивал себя самого... На этой неделе я, Хрусталеv и Менк были вечером у Васнецова, и он им показывал свои эскизы („Апокалипсис“), от которых не только они, но и я, видевший их десять раз, потеряли совсем голову – это гениально!»

Радость, что он, Нестеров, работает рядом с таким человеком, как Васнецов, совершенно открытая, восторг перед творчеством старшего товарища – безоговорочный.

Вот как может повернуть отношения между людьми одна статья, вроде бы доброжелательная.

Что касается «Апокалипсиса», то – гениальное для Владимирского собора, как мы уже говорили, не годилось, – не только смутьяну Врубелю дали от ворот поворот, по и степенному Васнецову тоже. Пришлось Виктору Михайловичу сочинять иные композиции.

Разумеется, Соловьев не ставил себе целью поссорить художников, отвадить Нестерова от Васнецова. Да и никто другой столь коварной задачей не задавался. Одни попросту чесали себе языки, а другие не позаботились унять говорунов, тем более что особые отношения между знаменитыми людьми – пища для всеми желанных захватывающих сплетен.

После успеха «Пострига», картины, которую купил царь и за которую Михаил Васильевич удостоился звания академика, заговорили о том, что Васнецов весь в прошлом и будущее за Нестеровым. И вот уже Нестеров пишет своему другу, что Васнецов принял весть о покупке его картин без удовольствия и утешается только тем, что он, Нестеров, «продешевил».

Возможно, так оно и было: и весть принял без удовольствия, и позлорадствовал финансовой нераспорядительности молодого друга. Приятно ли, когда на тебе, признанном мастере, далеко еще не старике – пятидесяти нет! – публично ставят крест, а имя твоего младшего товарища и ведь действительно ученика – нарочито пишут впереди твоего. И разве твоему духовному ученику, давно уже сложившемуся художнику, не обидно читать о себе как об эпигоне знаменитости?

Интрига банальная, всем известная, но срабатывающая вновь и вновь и всегда наверняка. Сплетники явного скандала и явного разрыва – не дождались, но художников развели на годы. А ведь Михаил Васильевич любил и талант Васнецова, и человека Васнецова.

Сколь ни грандиозна бывает работа, если ее делают, то и дело в конце концов приходит к концу.

«В моем Киевском сидении совершился очень серьезный факт: в алтаре сняли леса, – отчитался Васнецов Елизавете Григорьевне в августе 1890 года. – Можете представить, что это значит для меня. До сих пор я мог видеть только, как моя страшная работа еще страшней разрастается и разрастается... Временами чувствовалось, что даже и силы не хватит на продолжение. И вдруг вижу воочию, что больше трети работы уже совершившееся дело, уже часть этой горы за спиной, уже тяжкие муки выполнения идеи пережиты. Одного сознания, что дело уже сделано, достаточно для награды за тяжелый труд. Как сделано, не мне судить, довольно того, что я свой долг исполнил „еже писах-писах“. Альфа моего громадного – теперь это вижу – труда написана, помоги Бог написать в нем неуклонно и Омегу».

Он пришел в собор в воскресенье, когда не работали. Дверь была не заперта.

- Посетители, что ли? - испугался Виктор Михайлович.

- Посетителей-то нет, - как-то очень неуверенно ответил сторож Степан, и Васнецов догадался: видно, старик хватил чарочку ради праздника.

- Ты не пускай никого.

Художник вправе побыть наедине со своим творением.

Ступая по облаку, как по тверди, шла вечно молодая женщина, прекрасная в материнстве. Ее мальчик рванулся навстречу пришедшим в их дом, всплеснул ручонками, и в одной из них - цветок, он так резво рванулся, что мать невольно прижала дитя к груди. Ребенок прекрасен, за спиной ясное золото неба, но в глазах матери нет радости. Она знает наперед, кто ее сын и какая доля ожидает его. Сияют, как солнце, нимбы, в движениях матери спокойствие. Высший суд, высшая правда, высшее счастье - на их стороне, на стороне ее сына. Широкие всплески крыл осеняют их вечный путь к людям, какие бы они ни были, эти люди.

Он поднял и поднес к лицу своему ладони.

- Вот ведь!

И было непонятно, как это могло совершиться. Чем его руки, сделавшие это, лучше иных?

- Четырнадцать метров тридцать сантиметров! - сказал он и даже глаза сощурил, чтобы отметить на полу четырнадцать метров с гаком.

И опять смотрел на идущую по облакам. Шевельнулась странная мысль: «А могу ли я молиться на дело рук своих?» Ему неприятна была эта мысль - наверняка навеяна окаянным, - он даже зажмурился, а потом опять смотрел, смотрел, и женщина с младенцем шла к нему по облакам, и в глазах ее стояла собранная с поля человеческого человеческая боль. Вся-то хитрая хитрость была для нее проста, а простое было светом для глаз ее.

- Какой уж тут Рафаэль!

Иные ретивные уже в с Рафаэлем поспешили сравнить его Богоматерь, даже Нестеров туда же - Рафаэль. Пришлось вразумить молодого: «Кукольник тоже думал о себе, что он - Пушкин. Да так Кукольником и остался». Молодому такое полезно услышать, придет время, тоже павлиньи-то перышки распустит.

- Нет, это не Рафаэль. Это - Васнецов, мальчонка из Рябова. Господи! Как же это у тебя такое бывает?! Из Рябова, да в Киев, да сюда вот, в божий дом...

Он вышел из собора и увидел, что у Степана вопрос в глазах.

- Посмотрел, - сказал он ему.

- Я вот тоже часами гляжу, - признался сторож. - Загляденье.

- Спасибо.

- Да за что ж мне-то?

- За то, что глядишь.

- Ах, Виктор Михайлович! Я и на тебя теперь гляжу... Вроде человек как человек, тихий... Нет, не сумею сказать.

- Ну и ладно. Хорошо помолчать тоже хорошо.

Виктор Михайлович надел картуз и тотчас сиял, прощаясь со Степаном. Пошел вверх по улице, по золотой дорожке, высланной осенью.

И что-то ему все казалось - глядят на него или вроде бы кто-то идет след в след. Он не любил оглядываться, но тут не утерпел, остановился, повернулся - никого! И увидел: на другой стороне улицы приостановилась в смущении и нерешительности... Александра Владимировна. Удивился, перешел к ней, посмотрел в лицо и все понял.

- Ты в соборе была.

- Была... Поглядеть ходила. Одной поглядеть хотелось.



- Вот оно какое наше счастье, Саша. Бог и тут нас соединил.

- Лицо у тебя было... Как у мальчика.

Они засмеялись и пошли рука об руку, два хороших человека, давно уже не умевших жить друг без друга.

Проездом через Киев явился в собор старик Неврев. Поглядел росписи, растрогался, расплакался, расцеловал творца.

А вечером Виктор Михайлович жаловался жене:

- Ты знаешь, Саша! Все эти похвалы, которые теперь на меня сыплются - от лукавого! Я сегодня Евфросинью писал. Пишу, а дьявол под руку толкает - ах как у тебя красиво! Как чудно! Никто так не может!.. Бросил кисти, ушел на Днепр... В Москву надо возвращаться. Без Москвы я погиб.

Лекарство от самовлюбленности явилось нежданное и страшное. За годы привыкнув на лесах держаться за воздух, отступил, чтобы поглядеть на мазок со стороны, а перил на лесах не было - и полетел.

- Васнецов разбился!

Послушали - дышит, потрогали - вроде не стонет, но без памяти. Отвезли домой - и за хирургом. Оглядел, ощупал - кости целы. Приказал полежать, дал успокоительное. Обошлось.

В Москву Васнецовы переехали летом 1891 года. Поселились в Абрамцеве, а осенью сняли квартиру в Демидовском переулке.

Через год Виктор Михайлович перевез из Киева «Трех богатырей».

Однако Владимирский собор не отпускал от себя. В начале 1892 года художник был занят окончанием трех потолков, тема - «Единородный сын». На работы ушла зима и весь март. Осенью снова был в Киеве, написал «Крещение Руси» и начал «Страшный суд».

Из мирских картин за это время было создано мало. Летом 91-го года повторил, несколько изменив,

композицию «Трех царевен». Картину приобрел и увез в Киев Е. М. Терещенко.

В 1889-м - написал портрет Бориса, в 1892-м - Михаила, сыновей своих. В 1894-м - сочный, прекрасно проработанный и, главное, ничуть не потерявший от завершенности в трепетности и даже восторженности портрет Лёли Праховой.

Было еще повторение старого рисунка «На льдине», созданы иллюстрации к «Песне про купца Калашникова» для собрания сочинений Лермонтова, издаваемого Кушнеревым.

Огромная вдохновенная работа приносит творцу прежде всего огромную опустошенность. Не потому, что все отдано, а потому что после многолетней сосредоточенности на одном художник вновь оказывается лицом к лицу с хаосом беспрестанно меняющегося, кипящего, клокочущего пространства, которое есть жизнь. Эту жизнь, распыленную, никак не организованную, бессмысленную, предстоит по крохам собрать в себе и начать, в который раз, еще один акт творения. Человек самолюбив, его новый шедевр по логике творчества обязан превзойти предыдущий, а если это Владимирский собор? Так возникает жалоба души, и надо, чтоб кто-то выслушал эту жалобу. Поверенным в душевных радостях и невзгодах Виктора Михайловича была Елизавета Григорьевна Мамонтова. «Не тянет как-то особенно заглядывать в текущую мою жизнь, - писал он ей. - Болеют все инфлюэнцией, голод... (1891-й - в России голод. - В. Б.)... все это настраивает на печальный лад. Люди тоже не интересуют - сам людей не разрисовываешь, как бывало прежде, разными интересными красками. И как бы человек ни маскировался и ни загримировывался, а суть его видна насквозь, и видишь, по какому шаблону скроен человек, и - ах, как редко промелькнет кой-где живая искорка... и скучно донельзя станет. А в свою

душу поглубже заглянешь, так и того меньше утешения... а любить людей все-таки нужно. Нам дано для любви и утешения искусство, только тогда и живешь во всю полноту, когда им увлекаешься, ну а когда устанешь – то плохо».

А между тем признание начинало оборачиваться милостями и чинами. В 1893 году избрали академиком Академии художеств. Предложили руководство мастерской религиозной живописи, которая была бы отделением Петербургской Академии, а помещалась, как того желал Васнецов, в Москве.

Дал согласие сгоряча, быстро опомнился, подал в отставку, которую у него приняли.

Педагога из Виктора Михайловича не получилось. Его педагогика – его картины. В те годы, пожалуй, не было в России другого художника, кто оказал бы более сильное влияние на отечественную живопись. Началось с насмешек, Нестеров вспоминал, как на выставках в Москве учащиеся Московского училища живописи, ваяния и зодчества изощрялись в остроловии перед картинами Васнецова. Но уже очень скоро у самого Нестерова неприятие перешло в восторженную любовь. Не все торопились идти тем же путем, но глаза открылись у всех: оказывается, в искусстве можно говорить своим языком, «своими» красками, видеть мир не так, как требуют каноны, но как видят твои глаза, твой ум, твое сердце.

Отказавшись от мастерской, Васнецов, однако, не только имел особое мнение о системе художественной выучки, но и старался проводить свои педагогические идеи в жизнь.

Приняв в 1892 году участие в обсуждении нового устава Академии, он писал ее конференц-секретарю графу И. И. Толстому: «Императорская Академия художеств в настоящее время призвана занимать первенствующее место в деле развития Русского

искусства и служить по-прежнему центром, привлекающим молодые художественные силы со всех концов обширной России. Свободная художественная и художественно-образовательная деятельность отдельных лучших мастеров и деятельность других подобных школ (в Москве, Киеве, Одессе) едва ли могут вполне заменить ее...»

Но уже через несколько строк выясняется, что «первенствующее место» за Академией Васнецов признает теоретически и главным образом потому, что в Петербурге Эрмитаж, есть возможность учиться у старых великих мастеров. «Выходя из такого взгляда на значение и задачи Академии художеств, – пишет он, – естественно задумываешься о том, насколько она выполняет эти задачи или при каких возможных условиях она могла бы их выполнять. Уже самое обращение к мнениям художников указывает, с одной стороны, что современная постановка дела в Академии не отвечает своей цели, а с другой – указывает на искреннее желание со стороны стоящих во главе управления повести дело возможно правильнее».

Исходя из своего горького опыта, Васнецов усовершенствование академического образования видит прежде всего в вопросе «о преподавателях, как самого существенного, дающего смысл всему делу». Думается, сам подбор слов здесь не случаен. И хотя у Васнецова есть идеал «профессора-преподавателя» – это Чистяков, но значит, и бессмыслицы в преподавании было немало, коли приходится говорить о смысле.

«Второй существенный вопрос для Академии художеств (и, разумеется, для Васнецова. – В. Б.) – составляет поступление учеников, т. е. какая должна быть подготовка учеников в художественном и научном отношении».

Требование среднеобразовательного ценза некогда закрыло академические двери перед родным братом

Васнецова, перед талантливым Аполлинарием. Да и сам Виктор Михайлович не закончил курса из-за «хвостов» по общеобразовательным дисциплинам.

Выходец из малоимущих, товарищ Максимова и Куинджи - крестьянина и пастуха, - он за демократическую Академию: «Значительное большинство талантливых русских художников выходит из среды незажиточной и из простых классов. Некоторые из них едва могут достигнуть возможности пробраться в Петербург, и редкие из них на родине в состоянии получить образование в средних учебных заведениях как по недостатку средств, так и по страстному стремлению заниматься исключительно искусством в ущерб образованию...»

Академия - живой деятельный организм, и так как годы ее перевалили во времена Васнецова за столетие, то, естественно, что-то в ее методе устаревало, ветшало, требовало перемен. Перемены эти происходили. Профессорами Академии стали Репин, Куинджи, Серов...

Проблемы выбора целей, жизненных и художественных, вставали и перед Васнецовым. Работы в соборе заканчивались, от преподавательской деятельности отказался, а что дальше?

Прахов, думая о дальнейшей судьбе художника и тревожась, советовал ехать в Италию за новыми художественными впечатлениями, но сам же затевал постройку православного храма в Варшаве и расписывать этот храм предлагал, конечно, Васнецову и, конечно, Нестерову.

Храм этот действительно был построен и расписан. Нестеров от работы в нем отказался, а Васнецов нет... Эскизы для Варшавского храма он написал в 1900-1911 годах, а просуществовал храм только до 1920 года. В Польше Пилсудского всякую добрую память о России

вырывали с корнем. Храм с росписями Васнецова был сровнен с землей.

Работа в соборе хоть и убывала, да никак не кончалась. Семья жила в Москве. Без «мамы», как теперь Васнецов называл Александру Владимировну, без детей было ему в Киеве тоскливо и пусто.

«Дорогая, милая моя мама, милые мои детки Таня, Боря, Алеша, Миша и Володюнчик – здравствуйте! – писал он в январе 1893 года. – Как вы поживаете? Будьте непременно все здоровы – гулять тоже непременно ходите и с горы катайтесь, а маму не обижайте и слушайтесь. Боре желаю поскорее выздороветь и помнить, о чем просил... Дневник его поведения, мама, все-таки веди, и надеюсь, что будут все 5... Володюнчику спасибо за картину – прекрасная картина – хочу послать ее на выставку в Чикаго, только сам ли он рисовал ее...»

О выставке в Чикаго – шутка. Художнику Володюнчику было три года. Боре, у которого по поведению имелись не только пятерки, шел тринадцатый, Алеше исполнилось десять, Мише – восемь, Тане было четырнадцать.

По такой детворе как не заскучать? И Виктор Михайлович скучает, по два раза на неделе пишет письма.

«Ухожу на работу в половине 9-го до 12, потом с 3 до 5. Более нельзя еще работать – темно. Устаю к вечеру очень... Никуда не хочется ходить... У Праховых все та же канитель... Посетители ихние, кроме прежних, – всякий неприятный сброд... Тебя-то, голубушка, очень уж жалко – сколько тебе забот, хлопот, боли... Ну, милая, не унывай... люблю тебя! Не грусти, дорогая! Деток моих милых: Таню, Борю, Алешу, Мишу и Володюнчика, – целую крепко! Маму не обижайте и помогайте ей!.. 30 янв. ждут эмира

Бухарского в Киев – опять, вероятно, потащат в собор – мешают только».

И еще через несколько дней.

«Скучно, скучно, моя голубушка! Дело тянется-тянется... на дворе все туманы, слякоть, темень! Хоть бы солнышко выглянуло, светлей бы на душе стало».

Ошибся в размерах со «Страшным судом». У Аполлинария неприятности, ни одной его картины не купили на Передвижной выставке.

«Немножко не радуется отношение к тебе передвижников, а, впрочем, дуй их горой! – советует старший брат. – На всякое чихание не наздравствуешься. Гораздо важнее холодное отношение к картинам Павла Мих. – это действительно стоит задумчивости... Не следует готовить к выставке и ставить много картин, более двух больших ни в коем случае не следует ставить...»

Кончилась еще одна киевская зима. А весна на Украине прекрасна. Работа начала спориться, и настроение поднялось.

«Радуюсь поступлению Алеши в гимназию, – пишет Виктор Михайлович 23 мая. – Поздравляю его с таким важным шагом в жизни!.. А еще более поздравить с успехом должно тебя, моя дорогая Шура, за твой труд и терпение – троих подготовить в гимназию – не шутка!..»

С весной прибыло света, работы и помех... Поглядеть собор явился один из великих князей. Следом знакомый из Вятки. Этот не только для просмотра, но и с настойчивым предложением написать для иконостаса вятского собора Александра Невского ни много ни мало – шестьдесят два образа!

И хоть это заказ земляков, пришлось отказывать.

Но слава была уже очень велика, спрос на Васнецова все возрастал.

Для Георгиевской церкви в Гусь-Хрустальном Виктор Михайлович написал четыре огромных холста:

«Голгофу», «Сошествие во ад», «Страшный суд», «Евхаристию». Кроме того, для алтаря им исполнен эскиз мозаики «О тебе радуется благодатная» и рисунок бронзового иконостаса с эмалью. Десять лет отдал Васнецов этой работе, а сохранилось из оригиналов только два произведения: уже в наши дни восстановлены «Страшный суд» и мозаика «О тебе радуется».

Создавал Виктор Михайлович иконы и картины для собора Александра Невского в Софии, для церкви в Дармштадте. Писал образа по заказу царской семьи для коронационных и свадебных торжеств, откликался и на иные заказы религиозного содержания. Большинство этих работ разошлись по белу свету, а среди них есть произведения замечательные. Сужу по голове Иисуса Христа в терновом венке, которую видел у К. П. Вендланда.

Много, очень много сил забрала у Васнецова религиозная живопись.

Молодой Нестеров уже на лесах Владимирского собора понял: втянуться в религиозную живопись – значит обречь себя на художественную немочь. Васнецов же, при всей мудрости, думал иначе. Он, видимо, настолько уверовал в могущество своего таланта, что пытался увлечь русских атеистов своим искусством.

Еще продолжалась работа в Киеве, а Виктор Михайлович был готов взвалить на себя роспись Воскресенского собора в Петербурге. Воскресенского собора Васнецову целиком не дали. Можно только радоваться, что комитет, сославшись на малые средства, предложил художнику исполнить местные образа для иконостаса.

Увлечение Васнецовым рождало множество заказов. Художник жил и работал в постоянной спешке – вечный



должник. Не успевал исполнить один заказ и уже начинал другой.

Нестеров, несмотря ни на что все-таки очень любивший Васнецова, не мог ему простить ни застоя в его церковных работах, ни тем более попустительства по отношению к собственному таланту. О церковности Васнецова, о его общественной позиции он говорил очень резко и ядовито. Вот выдержки из письма к Середину: «Сообщение Ваше о В. М. Васнецове меня порадовало, видимо, человек стряхнул с себя обузу труда да к тому же и снял свое „архиерейское облачение“, оно совсем его задавило, как бедную голову Бориса шапка Мономаха. Из когда-то милого, живого, увлекательного и увлекающегося – он в Москве у себя стал олицетворением „Московских ведомостей“, да хорошо бы если времен Каткова – а то нет...»

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### ДОМ

Высокий старомосковский терем золотисто сиял им тесаными бревнами, крепкий, надежный. А кругом трепетала на солнечном ветерке совсем еще нежная зелень.

- Деревом пахнет, - улыбаясь, сказала Александра Владимировна.

- Деревом, мама! Деревом! - откликнулся Виктор Михайлович, не удерживая в себе счастливой радости. - Разве сравнишь с кирпичом?! Кирпич для печки хорош, а для дома - дерево. Нам ведь не на вечность, нам - на жизнь.

Дом требовал еще уйму всяческих работ и забот: не готовы изразцы для печей, не сделаны внутренние двери. Стекла не вставлены, нет наличников, перил на лестницах, да мало ли еще каких мелочей. Однако дом-то уже был, жил, статью и душою - хозяин, серьезностью и степенностью - хозяйка.

- Саша, родная! Неужто мы с тобой в люди вышли?

- В люди?! - засмеялась Александра Владимировна.

- В люди! У бездомного перед жизнью никакой ответственности. Сегодня здесь, а завтра он порхнул и улетел. Птичка! Домохозяин иное дело! Домохозяин обязан домоседствовать.

- Хорош домосед, - она оглянулась на пролетку, из которой уже поглядывал в их сторону Аполлинарий, пора было на вокзал: киевский собор ждал своего живописца.

- Ничего, - сказал Виктор Михайлович. - Уж близок, близок миг победы. Еще одно последнее сказанье, хоть

оно и первое, напишу Адама с Евой – и снова я вольный казак.

– Погоняй, пожалуйста, – попросил Аполлинарий извозчика, – припаздываем.

– Виданное ли дело – припаздываем! – засмеялся Васнецов-старший. – Давно ли за три часа до отхода поезда па вокзал прибывал? А теперь до того изъездился, что и опоздать не страшно... Здесь-то ладно. В Венеции умудрился, было дело, опоздать. Оно, правда, получилось к лучшему, вместо ночи явился днем...

Оглянулся на свой терем.

– Итак, Аполлинарий Михайлович, у брата твоего отныне постоянный адрес: Третий Троицкий переулок, собственный дом.

Надо было бы лишний раз напомнить Аполлинарию об изразцах, которые обжигали в Абрамцеве, но не стал его теревить просьбами: все сам знает, его сил тоже немало в терем-то вложено. Сказал о другом:

– Знаешь, Аполлинарий, вон уж мы с тобой какие... бородатые, а я нет-нет да и ущипну себя. Поверишь ли, все еще рябовским мальчиком себя чувствую. Дивлюсь! Втихомолку, конечно. Как же это мы из нашего-то чуть не кайского далека – в Москву, в художники, и уж поговаривают, что, мол, слава России...

– А ты вспомни, сколько труда положил на художество! Я когда про тебя, Виктор, думаю: мурашки бегут по спине. Это ведь все равно, что изо дня в день кувалдой по Кавказскому хребту. Без особой надежды, но изо дня в день.

– Эко ты расчувствовался. – Однако положил брату руку на плечо как-то очень ласково, такие руки лишь у любящих отцов бывают. – Знаешь, что мне сейчас подумалось. Какие бы мы с тобой дома ни построили, а такого, как в Рябове, – не повторить.

– Надо ли повторять-то?

- Может, и не надо... Только уж очень сладкая тоска по тому нашему дому...

- Детство, - сказала Александра Владимировна.

И они помолчали, глядя на суету московских улиц.

Еще не сняли леса во Владимирском соборе, а уж начали появляться в Киеве искусствоведы.

Стасову Васнецов и на этот раз не угодил. Вот что писал Владимир Васильевич Е. М. Бему: «В Киеве я долго и основательно изучал живопись Васнецова в Владимирском соборе. Я несколько часов сряду оставался в соборе совершенно один, ни с кем не говоря (потому что никого тут и не было), никем не тревожимый и никем не развлекаемый, и это продолжалось два дня сряду. Могу сказать, что никто в целой России не знает этих фресок лучше меня. Я, кажется, могу хоть сию секунду отдать отчет во всех этих композициях и не только вообще, но в мельчайших подробностях, мог бы сейчас хоть диспут держать с кем угодно, хоть с самим Праховым, хоть с самим Васнецовым. И результат всего тот, что я признаю у Васнецова талант, но не очень значительный, не очень-то далеко идущий и представляющий (по-моему) очень-очень много неудовлетворительного в самом главном: характерах, типах, выражении, во всем духовном и душевном мире. А этого не заменят никакие прелести орнаменталистики, никакие излишества исторически верного костюма. Сверх того, я совершенно согласен с Ге, что вся эта живопись (кроме орнаменталистики и костюма) какое-то смешение византийского с французским, а это мне ужасно враждебно и неприятно».

Еще хлестче сказано о Васнецове в письме Антокольскому: «Главное мое прегрешение против Васнецова, кажется, то, зачем и как я смею не признавать превосходными и чудесными всех его

святых, пророков, апостолов, ангелов, херувимов и серафимов. А они мне противны, и гадки, и глупы!»

Леса во Владимирском соборе сняли в августе 1896 года. Нестеров записал в те дни: «19 августа была в соборе всенощная, о которой мы с Васнецовым мечтали на лесах. Это „праздник сердца“».

Освящение состоялось 20-го. Событие для живописцев радостное, но не без горечи. Отныне они в соборе – лишь прихожане. То, что многие годы было их душою, сердцем, мыслями – теперь общее достояние.

«Сам удивился неожиданно громадному художественному впечатлению, – писал Васнецов Елизавете Григорьевне. – Чувствуется, что годы труда и мучений недаром пропали».

Началось паломничество в Киевский собор.

Восторженно писал о васнецовских росписях историк Сергей Бартенев. Он приехал во Владимирский собор по дороге из Константинополя: «Я испытал здесь нечто такое, – писал он в „Русском обозрении“, – что заставило меня забыть красоты античного мира. Есть в мире Бог, есть святость! В саркофаге Александра (Македонского. – В. Б.) – мотивы жизни, мотивы мужества и силы, красота плотская, тут, в картинах Васнецова – духовный мир встает с неотразимой силой. Становится понятна история Духа... Я благословлял и благодарил этого чудного художника, который влил в мою душу целебный елей духа и веры».

Итак, одни выходили из собора, озаренные религиозным чувством, другие, и среди них киевское священство, с возмущением. Святой князь Владимир – скорее царь из сказки, чем из жития. А Ольга? А Евфросинья с Евдокией? Это же красавицы! И срам, срам! В «Крещении Руси» – голая баба! На голых баб, что ли, молиться?!

Действительно, фигура обнаженной есть. Повернута она спиною, и голого у нее – плечи.

6 октября приехал в Киев Павел Михайлович Третьяков. Смотрел долго и хорошо. Эскизы росписей он купил еще раньше. После этой продажи у Васнецова наконец-то появились деньги. Работа в соборе его отнюдь не обогатила, как думали его современники и как судачили, называя друг другу самые фантастические суммы. За десять лет тяжелейшей работы Строительный комитет Владимирского собора заплатил художнику сорок тысяч рублей, причем краски и позолоту он обязан был покупать на свои деньги. Да еще приходилось помощникам приплачивать...

После окончания Владимирского собора, сделавшись чуть ли не национальным героем, Виктор Михайлович понимал, что от него ждут великого и на прежнем его, на гражданском поприще. Тем более что грядет пятидесятилетие. Великая картина у него была – не обнародованные «Три богатыря». Но близилась еще одна замечательная дата – двадцатипятилетие Товарищества передвижников.

И снова можно говорить о благоприятном стечении обстоятельств. За год до юбилея, в 1896 году, Виктор Михайлович принял участие в создании некоторых костюмов для одной из последних постановок Частной оперы, для «Псковитянки». На репетициях Шалапин, певший Грозного, восхитил не только голосом. Васнецов Федора Ивановича похвалил за трактовку костюма и вдруг услышал приятное для себя признание: образ Грозного артист высмотрел в его старом рисунке: поразили черные, замершие глаза.

- Да, я это помню! – обрадовался Виктор Михайлович. – Я чего добивался в рисунке? Хотел словно бы застать Грозного врасплох, когда он колеблется: войти или не войти? Ведь он жил в вечных потемках подозрений, сам себя в чулане запер и выйти из него боялся.

Разговоры о Грозном всколыхнули в Викторе Михайловиче былые замыслы. Он написал Грозного очень быстро. Образ был выношен в душе. Грозный – плоть от плоти, кровь от крови – Москва. Но скоропалительность создания картины имеет, по мой взгляд, и политическую подоплеку. Почему все-таки Грозный?

Нам уже приходилось говорить о неслучайности появления васнецовского богатыря на распутье, перед коронацией Александра III. Теперь ситуация повторялась.

1896 год – год восшествия на престол последнего из Романовых. Страна вновь закипала революционными настроениями, бастовали рабочие, бунтовали крестьяне, распространялась нелегальная литература, возникали религиозные секты, толстовство явилось. Все это для правильно живущего Васнецова было непорядком, помехой, ослабляющей государство. Его «Царь Иван Васильевич Грозный» – это не просто образ сильного русского царя, собирателя русских земель и человека, преданного всему русскому. Это – иносказательное пожелание новому царю: держать государство столь же уверенно и спокойно, как держит в руке свой посох царь Иван. Взгляд у Грозного пронизывающий, тяжелый, но какова осанка! Он стоит, как сама Русь. Это – не репинский истерик и убийца, это – само государство.

Таким вот, уверенным в себе художником и человеком, встречал пятидесятилетие Виктор Михайлович Васнецов.

О высоком значении его искусства зримее всего говорит страстное письмо Ивана Ивановича Шишкина, одного из старейшин передвижничества. Он писал:

«Петербург, 30 ноября 1896 г.

Многоуважаемый и высокочтимый мой земляк Виктор Михайлович! Пришла счастливая мне мысль

написать Вам несколько строк и тем самым выразить Вам свое удивление и восторг, который Вы вызываете Вашими произведениями и которыми Вы увековечили Ваше славное имя - я горжусь Вами как кровный русский великим художником и радуюсь за Ваше искусство как товарищ по искусству, и, пожалуй, как земляк - не примите это за лесть, избави Бог - приятно вспомнить то время, когда мы прокладывали первые робкие шаги для Передвижной выставки - и вот из этих робких, но твердо намеченных шагов выработался целый путь, которым смело можно гордиться, организация, смысл, цели и стремления Товарищества создали ему почетное место, если только не главное, в среде русского искусства.

Следующая выставка будет 25-я, и ее называют юбилейной. Виктор Михайлович! Дайте-ка на нее Ваших Богатырей, ведь они у Вас, сколько я помню, почти окончены, или другое что - нужны Вы, Ваше участие, нужно, чтобы видели все, что связь между Товариществом и вами не порвана...»

Поэт «А. К.», прославивший в стихах и юбилейную дату передвижничества, и самих художников, тоже не забыл упомянуть Васнецова:

...Когда сквозь душный мрак и рабства и застоя  
Свободы проблески над родиной зажглись,  
Тогда во всех слоях общественного строя  
Шло обновление от власти, сверху - вниз.  
Но области искусств реформа не коснулась.  
Свободу творчества верховный суд отверг.  
И вот движенье здесь под почву проснулось,  
Здесь жизнь пошла обратно: снизу - вверх.  
...Вот грезит Васнецов, как в сказочном угаре.  
Царевич на ковре свершает свой полет...



Однажды июньским теплым вечером 1898 года в Троицкий терем приехал Павел Михайлович Третьяков. Он исхудал, пожелтел, поседел, «Трех богатырей» они с Васнецовым разглядывали, сидя на низеньких табуретках.

Пять лет тому назад Павел Михайлович передал свою бесценную коллекцию любимой Москве. 1276 картин русских художников, 471 рисунок, 10 скульптур плюс 84 картины иностранных мастеров, собранные его братом Сергеем Михайловичем.

- Думаешь, пора? - спросил Васнецов, глядя на тощие елочки перед богатырями.

- Пора, Виктор Михайлович.

- Да, пора, - Васнецов вздохнул и вдруг спохватился радостно. - Алеша-то не совсем кончен! Все-таки надо бы его еще прописать.

- А ты и пропиши... Но картину я за собой оставляю. Моя цена - шестнадцать тысяч.

- Шестнадцать тысяч, - повторил Васнецов.

Это была большая сумма, это была огромная сумма, но деньги перестали быть важными в их жизни.

- Как себя Вера Николаевна чувствует?

- Плохо, - у Павла Михайловича навернулись слезы на глаза. - Плохо ей, Виктор Михайлович. Паралич рук, ног. Я и сам - небольшой теперь жилец.

- Павел Михайлович!

- Не таращь глаза-то... Я привык к этой мысли... Привыкаю. Дело жизни моей сделано. Теперь не страшно. Вон как хорошо кончается собирательство - «Тремя богатырями».

- Место будет трудно найти.

- Место найдется. Новые залы уже отделаны. Летом начну перевеску. Хлопот много, но я хочу успеть. Давай еще поглядим.

Поднялся осторожно, словно оберегая себя от боли. Подошел к картине «Сирин и Алконост».

- Что значит художник! Странная фантазия, а веришь. Вот такие они и есть – райские птицы.

Опять вернулся к «Богатырям».

- Помню, в Киеве еще, загорелось мне Добрыню переписать, – вспомнил вдруг Виктор Михайлович. – А я, бывало, как за кисть, так и за песню. И, видно, уж очень распелся. Входит в комнату Миша, глазенки круглые. «Папа, – говорит, – не пой! Когда ты поешь, мне очень страшно».

- Да, дети! – Павел Михайлович даже не улыбнулся. – Моя Маша за Александра Сергеевича Боткина вышла...

Вдруг горячо припал к плечу Васнецова, расцеловались, заплакали.

- Кланяйся Александре Владимировне! – говорил Третьяков, быстро отирая слезы. – Кланяйся. И не провожай. Я пошел, пошел.

Быстро оделся, спустился вниз по крутой лестнице, застучали конские копыта...

Виктор Михайлович быстро поглядел на «Богатырей» и отвернулся – представил, какая пустота будет в этой огромной комнате без них.

- Ничего! «Баяна» наконец напишу. – Лег на диван, вытянулся, кивнул богатырям: – Вот так-то, ребяташки. Пора вам! Верно Павел Михайлович сказал – пора.

Последним приобретением Третьякова был эскиз левитановской картины «Над вечным покоем». Картину он купил раньше, а эскиз в Петербурге, на выставке, в ноябре 1898 года.

Умер Павел Михайлович 4 декабря, шестидесяти шести лет от роду. Вскрытие показало: прободение язвы желудка, перитонит. Были бы врачи повнимательнее, спасли бы.

Хоронила Москва почетного своего гражданина 7 декабря. Гроб несли художники. Впереди Васнецов и Polenov.

Долго не расходились с кладбища, теснились, подхватывали угасающий разговор. Каждому страшно было уйти отсюда и остаться одному. Теперь только и поняли: Третьяков был для них – семьей.

Первая персональная выставка Виктора Михайловича Васнецова открылась в начале 1899 года. Репин в письме Поленову обронил такую фразу: «На выставку Васнецова наконец толпа валит, последний день сегодня». В первые дни обошлось без толпы.

Виктор Михайлович писал жене: «Сегодня обедал у кн. Тенишевой: Она оказалась очень искренней и простой женщиной, не такой, как мне о ней рассказывали. Бываю у Репина... Был и у Куинджи – расплакался почти и очень меня тронул... Максимов был у меня – такой яге кудлатый. Выставка моя среди художников и любителей имеет успех. Говорят, что ученики все в восторге (может, и не все). Публики же маловато – первый день – 95 ч., второй – 99 ч., а сегодня – 140. Что-то завтра будет?»

Но какие бы тысячи ни перебивали на выставке, отсутствие на ней одного человека половину радости забирало. Это была первая выставка без молчаливой фигуры Павла Михайловича Третьякова.

Жизнь шла себе... В канун нового столетия готовилась огромная Всемирная Парижская выставка. Русский павильон для нее строили по эскизам Васнецова.

Потихоньку отдохнув душой от громад Владимирского собора, Виктор Михайлович приступил к новым картинам. Написал «Снегурочку», «Гусляров», вернувшись к мысли о «Баяне», начал собирать для него изобразительный материал и одного героя увидел в своем сыне Владимире. Написал портрет с него. В 99-м году были созданы блистательные канонические иллюстрации к «Песне о вещем Олеге», но вдохновение, все нежное могущество своего таланта он отдал опять-

таки образу Богоматери. Теперь это была Богоматерь на фоне звезд, написанная для Дармштадтской церкви.

По пальцам можно пересчитать женские образы Васнецова, созданные им за пятьдесят лет жизни. Но среди них – Аленушка! Богоматерь Владимирского и Дармштадтского соборов – вершины мирового значения.

В 1896 году вслед за портретом Лёли Праховой Виктор Михайлович написал портрет еще одной своей любимицы – Веры Саввишны Мамонтовой, ту самую Верушу, которую обессмертил Серов в «Девочке с персиками». Счастливейшая картина на белом свете.

Новые работы Васнецова особого восторга у публики не вызывали. Это был отдых после великих трудов. Но художник, если он только не ремесленник, не умеет творить, не ставя перед собой определенных художественных задач.

«Гусляры», может быть, самая музыкальная картина Васнецова. В ней он пытался преодолеть естественную ограниченность станковой живописи, саму суть живописи, которая не что иное, как гетевское «Остановись, мгновение!». Не нарисовав ни одного плясуна, Васнецов передал пляску, не имея возможности изобразить звук, он все-таки внушил нам его заразительную стремительность. А «Снегурочка» – это голубая симфония, еще один лирический вздох по красоте мира, по красоте русской сказки.

Художники были в делах, у своих мольбертов, на своих выставках и ведать не ведали, что многим из них, лучшим из них, уже уготована беда.

11 сентября 1899 года в семь часов вечера в московский дом Саввы Ивановича Мамонтова явился следователь для обыска и ареста в случае немедленной неуплаты ста тысяч рублей.

В доме, однако, нашлось всего 53 рубля 50 копеек и кредитный билет на сто марок.

Сам Савва Иванович тоже подвергся обыску. При нем нашли заряженный револьвер, билет Варшавско-Венской дороги, заграничный паспорт, у парадного, кстати, стоял запряженный парой лошадей экипаж, и еще записку: «Тянуть далее незачем: без меня все скорее и проще разрешится. Ухожу с сознанием, что никому зла намеренно не делал, кому делал добро, тот вспомнит меня в своей совести. Фарисеем не был никогда».

На дом, на вещи, на предметы искусства, на все бумаги был наложен арест, а сам Савва Иванович под конвоем, пешком, через всю-то Москву – был отправлен в Таганскую тюрьму.

Произошла интрига и безобразная гадость, где на роль козла отпущения избрали Мамонтова.

Мамонтов финансист был рисковый. Умея мыслить по-государственному, человек из новой плеяды дельцов, он, однако ж, привык действовать по старой купеческой выучке, тихо, по-свойски. Этим-то и воспользовались враги.

То, что сделал для России Савва Мамонтов, – здесь мы оставляем в стороне искусство, – в полной мере поняли только тогда, когда жареный петух клюнул... В 1914 году, во время войны с Германией, дороги, построенные Мамонтовым, Донецкая и Московско-Ярославско-Архангельская, стали стратегически самыми важными. А сколько он некогда перетерпел издевок по поводу Северного пути, по поводу своей мечты превратить русский Север в подобие процветающей Норвегии.

Узел, приведший к финансовым махинациям и к аресту, был завязан еще в 1890 году. Чтобы возродить к жизни русский Север, Мамонтов предложил казне сделку. Казна выкупает у акционерного общества, председателем которого был Савва Иванович, Донецкую железную дорогу, и весь высвобожденный

капитал идет на строительство железной дороги на Архангельск. Сделка состоялась, но в нагрузку Мамонтов вынужден был купить Невский судо- и паровозостроительный завод. Позже министр финансов С. Ю. Витте настоял на покупке акционерным обществом восточно-сибирских рельсопрокатных заводов, а Мамонтов, развивая дело, построил еще Мытищинский вагоностроительный завод и добился от правительства концессии на прокладку Петербургско-Вологодско-Вятской железной дороги.

Столь быстро расширившееся дело привело Савву Мамонтова к мысли об объединении всех малых железнодорожных компаний, всех заводов отрасли в один могущественный трест. И, как знать, не была ли трагедия Мамонтова спланирована где-либо за границей? Ведь в самую критическую минуту Мамонтов вынужден был обратиться за финансовой помощью к Ротштейну – директору Общества взаимного кредита, и тот любезно согласился оказать помощь, но в обмен на контрольный пакет акций, то есть на вежливое отстранение Саввы Ивановича от дел.

Какова же все-таки суть мамонтовской аферы? Железнодорожная компания получила Невский завод от прежних владельцев в самом жалком и запущенном состоянии. Мамонтов, недолго думая, решил провести модернизацию производства. Деньги – девять миллионов рублей – он взял из кассы Ярославской железной дороги, и отнюдь не тайно. По крайней мере, он не скрывал этой противозаконной операции от Витте. Завод был модернизирован, но в кассе железной дороги зияла брешь. Покрыть ее Мамонтов собирался из тех денег, которые казна отпускала на строительство Вятской дороги.

Тут-то и выходит на сцену личная неприязнь. Министр юстиции Н. В. Муравьев, узнав о финансовой проделке Мамонтова, решил уничтожить Витте. Слухи о

грандиозном взяточничестве в министерстве финансов давно уже не давали покоя законникам. Схватить взяточников за руку никак не удавалось. И вот судьба посылала Муравьеву в его борьбе с Витте верный шанс.

Забегая вперед, скажем, что министр юстиции опять остался с носом. опередив санкции Муравьева, Витте послал к Мамонтову ревизию, потребовал начать следствие по задолженности Невского завода и добился отмены для железнодорожного общества концессии на строительство Вятской дороги.

Это было откровенное предательство, и это был крах всех мамонтовских дел и предприятий.

Пять месяцев просидел Савва Иванович в тюрьме, в тюрьме же встретил новое столетие. Отпустили его под домашний арест только в феврале 1900 года, сыграло свою роль заступничество Серова, который писал портрет царя.

Хлопотали за Савву Ивановича Поленов, Васнецов. На пасху группа художников направила ему письмо, сочинителями которого были все те же Васнецов и Поленов.

«Дорогой Савва Иванович! Все мы, твои друзья, помня светлые прошлые времена, когда нам жилось так дружно, сплоченно и радостно в художественной атмосфере приветливого, родного круга твоей семьи, близ тебя, – все мы, в эти тяжкие дни твоей невзгоды, хотим хоть чем-нибудь выразить тебе наше участие.

Твоя чуткая художественная душа всегда отзывалась на наши творческие порывы. Мы понимали друг друга без слов и работали дружно, каждый по-своему. Ты был нам другом и товарищем. Семья твоя была нам теплым пристанищем на нашем пути; там мы отдыхали и набирались сил. Эти художественные отдыхи около тебя, в семье твоей, были нашими праздниками.

Сколько намечено и выполнено в нашем кружке художественных задач, и какое разнообразие: поэзия, музыка, живопись, скульптура, архитектура и сценическое искусство чередовались...

В этой сфере искусства у нас твоими усилиями сделано то, что делают призванные реформаторы в других сферах. И роль твоя для нашей русской сцены является неоспоримо общественной и должна быть закреплена за тобою исторически.

Мы, художники, для которых без высокого искусства нет жизни, провозглашаем тебе честь и славу за все хорошее, внесенное тобою в родное искусство, и крепко жмем тебе руку...

Молим бога, чтобы он помог тебе перенести дни скорби и испытаний и вернуться скорее к новой жизни, к новой деятельности добра и блага. Обнимаем тебя крепко.

Твои друзья: В. Васнецов, Polenov, Репин, Антокольский, Неврев, Суриков, Серов, Л. Васнецов, Остроухов, Коровин, Левитан, Кузнецов, Врубель, Киселев, Римский-Корсаков».

Причем подпись Антокольского была получена из Парижа.

Суд присяжных в июле 1900 года оправдал Мамонтова. Однако он был разорен и к делам уже не вернулся. Дом на Спасско-Садовой стоял заброшенным. Корреспондент одной газеты побывал в этом доме зимой и с негодованием писал, что на картинах Васнецова, Серова, Polenov, Репина, Коровина, Врубеля лежит слой изморози.

Кончилось все аукционом, самой шальной распродажей. Картинам Васнецова повезло, большинство их попало в Третьяковскую галерею.

Сам Савва Иванович прожил долгую жизнь, но гнездо его было разорено, словно палкой в муравейнике покопались. Жизнь мало радовала его. В 1907 году от



воспаления легких умерла совсем еще молодая Вера Саввишна. На следующий год – Елизавета Григорьевна. Горестную эту весть Васнецов сообщил своей любимице Лёле Праховой: «Потеряли мы все, ее окружавшие, какой-то светлый согревающий центр – около ее мы все сердцем ютились».

Мамонтовы для Васнецова были людьми более, чем родными. В деятельности Саввы Ивановича он видел историческую миссию. Никогда не произносивший речей, Васнецов пришел на сороковины, устроенные в память Мамонтова во МХАТе, и не только публично помянул его добрым словом, но и оценил деятельность друга художников и артистов, как равную самому искусству: «Радостно на душе, что были на Руси... люди, как Савва Иванович, – говорил Васнецов 4 мая 1918 года, – около которых мог ютиться, расти и расцвести нежный цветок искусства и давать плоды зрелые, которые не потеряют своей ценности до тех пор, пока не замрут в душе человека инстинкты и потребности прекрасного... Нужны личности, не только творящие в искусстве, но и творящие ту атмосферу и среду, в которой может жить, процветать, развиваться и совершенствоваться искусство. Таковы были Медичи во Флоренции, папа Юлий II в Риме и все подобные им творцы художественной среды в своем народе. Таков был и наш почивший друг Савва Иванович Мамонтов». Вернемся, однако, в 1900 год. Май. Крым.

Васнецов с дочкой Таней приехал навестить больного Алешу.

В Ялте вокруг Алеши они нашли прекрасных, отзывчивых людей. Это были и врачи Леонид Васильевич Средин, Александр Николаевич Алексин, и семья Григория Федоровича Ярцева. Все это были талантливые, умные, простые в обращении люди. Недаром среди их друзей оказались А. П. Чехов и А. М. Горький.

Пили чай у Чехова.

- Я в детстве, в Вятке-то нашей, все корабли рисовал, - говорил Виктор Михайлович. Он сидел к морю спиной, смотрел на горы.

- А я ведь тоже обмирал по морю, - признался Алексей Максимович.

- Сейчас вы объявите, что у каждого русского душа - это место, где обитают сирены... Скажу вам сразу, я как вырос, так тотчас ушел от моря и поскорее и подальше...

- Нет, - возразил Васнецов, ему было жалко Чехова, - нет, я не о море хотел сказать. Верно, в детстве мечтал... Но вот здесь, у моря, меня в горы потянуло. Какой вид с Ай-Петри!

- Коли тянет в горы, чего же этой тяге противиться? - вкрадчиво спросил Алексей Максимович.

- Это вы о чем?

- Да о том! В горы так уж в горы! Едемте на Кавказ. И Чехова с собой прихватим.

- А я возьму, да и поеду.

- Как у Жюль Верна! - воскликнул Васнецов и встал от возбуждения.

И Горький встал, и Чехов. И оказалось, что они все трое - ровня друг другу.

- Я всюду каланча, - удивился Виктор Михайлович, - а с вами - человек и человек.

- Васнецов, друг ты наш! - сиял рыжеусой улыбкой Алексей Максимович. - Да как ты не догадаешься. Вот они - три богатыря-то. Вот они, голубчики.

- А не худоваты? - спросил серьезно Чехов, серьезно разглядывая Васнецова и Горького.

Они поехали-таки на Кавказ: Чехов, Горький, Средин, Алексин и Васнецов. Подкачала погода, но путешественники-то были какие!

Документом этой чудесной поры сохранился портрет Алексея Максимовича с дарственной надписью:

«От калики перехожего М. Горького богатырю русской живописи Виктору Михайловичу Васнецову на память».

Курортная дружба не прервалась.

Осенний ветер, шастая вокруг Терема, волочил по мокрой земле тяжелые палые листья, по-медвежьи тряс деревья, ветки стучали... Глядеть и то холодно.

Но мастерская натоплена березовыми дровами, и Виктор Михайлович по-детски чувствовал себя счастливецом. Ветер страшен для бездомных стрекоз, а у него, домовитого муравья, – крепкая, правильная жизнь.

Пора было соснуть после обеда, и он лег на лавку, искоса взглядывая на «Баяна». Уж больно власы вьются! Театр... Однако ж это былина. Для былины чрезмерное – норма.

Прикрыл глаза, чтоб думы сон не развеяли, и тут па лестнице, ведущей в мастерскую, застучали торопливые шаги. Дверь отворилась, и сын Борис, сияя глазами, объявил:

– Горький приехал!

Алексей Максимович уже разделся и разглядывал изразцовую печь, лавки, шкаф.

– Вот они где, берендеи-то, живут!

– Берендеи, берендеи! – радостно согласился главный берендей.

– Откуда прелесть такая? Изразцы сказочные, шкаф – царь, лавки богатырские. Где мастерскую сыскали, Виктор Михайлович?

– Да сами все, сами, по-берендейски, по-свойски! Шкафы Аркадий Михайлович мастерит. Брата в искусствах перещеголять стесняется, вот и творит шкафы. Между прочим, он у нас, Аркадий-то Михайлович, теперь большая шишка, заместитель головы!

– Это где же?

– В Вятке, на родине.

Из соседней комнаты выглядывали молодые лица: Горький был знаменит.

- Виктор Михайлович, представьте меня берендеям.

- Татьяна! Борис! Михаил. А это наш зоолог - Володюнчик.

- Не художник, а зоолог?! Эко диво!

- Алексей Михайлович! Художник у нас - Татьяна, а зоология, между прочим, - это тоже вполне наследственное. Брат Александры Владимировны Николай - физиолог, профессор. Ее двоюродный племянник Владимир Афанасьевич Караваев - исследователь фауны Украины, Кавказа. Он и в Африке бывал, и в Азии. Так что наш Володюнчик не из рода, а в род.

Зоолог тотчас и коробку с коллекцией жуков принес.

- Какие красавцы! - восхитился Алексей Максимович. - Особенно этот - с гусарскими усами.

- Хрущ мраморный, - назвал Володя жука.

- А это небесное чудо?

- Жужелица крымская.

- И все-таки я бы выбрал этого. Настоящий изумруд!

- Навозник весенний.

Все рассмеялись, и больше других Алексей Максимович.

- Ай да изумруд! Поднялись в мастерскую.

Горький в дверях вдруг замешкался, застеснялся.

- Проходите, проходите! - пригласил Васнецов.

- Да ведь святая святых.

- Ну, то писатели творят, как рожают. У художника все его потуги и тайны совершаются на виду, на свету, а то и на людях.

Вдвоем иное гляденье.

- Дух захватывает! - сказал Горький. - Мы все носим в себе - святоотеческое: богатыри, тризны, гусяры... Но то одно лишь брожение душевное, а Васнецов

потому и Васнецов, что мы отныне и богатырей своих в лицо узнаем, и земли русской святых, а вот и Баян.

- Смотрите, Алексей Максимович, захвалите!

- Да разве у нас в России умеют хвалить? Поносить умеют. А ведь похвала, если она правдива - созидательна. Видите как я, - и улыбнулся во все лицо. - Нельзя ли что-то еще посмотреть?

Виктор Михайлович повернул лицом к гостю «Гусляров».

- По заказу царя с акварели старой написал. У Цветкова пришлось акварель испрашивать. Такая наша доля. Картина за порог - и ты уже ей не хозяин.

- Творец, да не хозяин, - повторил Горький задумчиво. - Славно играют ваши гусли. Удивительно, как я их раньше-то не знал? Такие они, гусли! Такие вот. И уж простите великодушно, Виктор Михайлович, чем еще собираетесь порадовать? Какие замыслы одолевают?

- Хе! Замыслы! Церкви расписываю. Отбою от заказов нет...

Таня принесла поднос: фарфоровый чайник, чашки, орехи, сладости. Принесла, поставила на табурет возле дивана и ушла.

Попивая чаек, Виктор Михайлович признался-таки:

- Хочу к ненаглядным сказкам вернуться. Все заняты высоким искусством, все что-то кому-то в своих картинах доказывают, кого-то ниспроверяют, уничтожают даже... А я хочу сказки сказывать.

- Сказки сказывать, - повторил Горький. - Дело немалое, Виктор Михайлович. Народ иго с себя, как медведя с горба, скидывал, Петербург строил, одолел француза, кабалу мыкал. Но ведь и сказки сказывал! Нет, Виктор Михайлович, тут вы хитрите. Не малое это дело - сказки сказывать.

- Да ведь, конечно, не малое! - согласился Виктор Михайлович. - Замахиваюсь на целую сказочную

симфонию. Семь нот, семь красок – вот и картин семь.

Снова появилась Таня.

– Мама к столу просит.

«Я только что воротился из Москвы, – напишет Горький Чехову в октябре 1900 года, – где бегал целую неделю, наслаждаясь лицезрением всяческих диковинок вроде „Снегурочки“ Васнецова и „Смерти Грозного“. Все больше я люблю и уважаю этого огромного поэта. Его Баян – грандиозная вещь. А сколько у него живых, красивых, могучих сюжетов для картин! Желаю ему бессмертия».

1900-й – это еще и год Всемирной выставки в Париже. У Васнецова на выставке были если не самые большие картины, так самые превосходные. «Аленушка», «Витязь на распутье», «Битва русских с печенегами», «Гамаюн, птица вещая», «Пруд» и эскиз престольного образа Богоматери во Владимирском соборе. Дело в том еще, что Третьяковская галерея отказалась выдать картины из своего собрания.

Вот что писал Антокольский с выставки Василию Дмитриевичу Поленову: «Очень меня порадовало, что наша молодежь получила награды на Парижской выставке; особенно я был доволен за моих двух любимых художников – за Серова и Костю Коровина. Одно, что меня удивило, это – за что получил награду подражатель Нестеров, а не Виктор Михайлович Васнецов, который создал новое самобытное направление в искусстве; отчего дали (награду) посредственности, как Дубовской, и не дали крупному и оригинальному таланту, как Левитан?»

Да, Васнецов на выставке не прозвучал, говорили, что был плохо, невыгодно повешен, как и Левитан. Не был отмечен наградами и Поленов, и все же выставка стала триумфом русского искусства. По отделу прикладного искусства золотые медали получили: М. А. Врубель, С. И. Мамонтов (за майолики Абрамцевского

завода), Е. Г. Мамонтова (за резную мебель), М. Ф. Якунчикова, М. В. Якупчикова-Вебер. Двух медалей, золотой и серебряной, удостоился А. Я. Головин. И. Е. Репин получил высшую награду вне конкурса, В. И. Суриков – серебряную медаль за картину «Взятие снежного городка», серебряной медали удостоился Аполлинарий Васнецов. Золотую медаль получил Малявин, Серов – «Гран-при», Константин Коровин собрал урожай медалей: две золотые, одну серебряную.

В этих наградах уже просматривается определенная тенденция в пересмотре оценок в мировом искусстве. Генеральным комиссаром выставки, кстати, был Альфред Пикар, а генеральным комиссаром русского отдела князь В. Н. Тенишев.

«А наши декаденты все в гору идут – вот-то притча!» – воскликнул в письме к Е. М. Бему Владимир Васильевич Стасов.

Дягилев и сотрудники «Мира искусства» ликовали. Признание на мировой арене тех художников, на которых они и делали свою ставку, развязало им руки, и они уже не церемонились со старыми признанными мастерами. Передвижничество теперь оценивалось как анахронизм, вчерашний день, безвкусица и тому подобное.

Чуть ли не в последнем письме своем Павел Михайлович Третьяков обеспокоился странностью первого номера журнала «Мир искусства».

«Ты, мой милый Сережа, разумеется, получил Дягилевский первый номер, – писал он С. С. Боткину, – а я хотя еще не получил, но видел его. Уж не знаю, кто хуже, Собко или Дягилев? Внешность хороша, но ужасно сумбурно и глупо составлено: зачем помещены снимки с Васнецова, почему с Левитана и для чего с Поленовой? С какой стати вид старого собора и проч.?.. в статьях об них не упоминается ни одним словом...»

Видимо, Дягилев бросил перед Васнецовым пробный шар, с кем будет маститый художник, столько лет считавшийся новатором в русском искусстве?

Васнецов остался с Репиным, который с обычной своей прямоотой в глаза высказал «мирискусникам» правду-матку: «В ваших мудрствованиях об искусстве вы игнорируете русское, вы не признаете существования русской школы. Вы не знаете ее, как чужаки России. То ли дело болтать за европейцами: Давид, Делакруа, Болер, Зола, Рёскин, Вистлер; вечно пережевываете вы европейскую лавочку, достаточно устаревшую там и мало кому интересную у нас».

Первый прицельный удар по Васнецову нанесли сразу из пушек.

«Читал ли ты новый выпуск „Истории искусства“ Мутера, где А. Бенуа в статье о русской живописи разделяет В. Васнецова, а попутно и М. Нестерова? – спрашивал Михаил Васильевич своего друга Турыгина. – Хорошо теперь пишут истории искусств, хлестко. Лежишь, как карась на сковородке, а тебя то с того, то с другого бока поджаривают, маслица подбавляют... Для этой статьи стоило издавать и Мутера и писать о Воробьевых и о Шебуевых, и еще черт знает о ком, предвкушая удовольствие „писнуть“ на закуску о Васнецове, первому „облаять“ большую знаменитость всякому лестно. Да, брат, – или я уж стар становлюсь, или эта статья о Васнецове статья свинская».

Что же так возмутило Нестерова, причем в ту пору, когда он уже сторонился Васнецова? «Объективность» Александра Бенуа в отношении Васнецова заключается не в том, что он указал на отсутствие у того хорошей школы: «Васнецов – настоящее дитя самой безотрадной для всей истории „живописного мастерства“ эпохи 70–80-х годов. Техника Васнецова беспомощна и полна дилетантской робости...» И не в том, что он отказал Васнецову в самой возможности создать школу. Не в



грубости критических приемов, наконец: «Общее недомыслие в художественных вопросах, неподходящие для его дарования заказы, успех его самых недостойных вещей, увлечение ложными национальными идеями».

Александр Бенуа в своей статье насильственно столкнул лбами двух великих русских художников Иванова и Васнецова. Бенуа понимал не опасность влияния Иванова, творившего в мировом масштабе, на новое поколение художников. Современник Васнецов с проповедью русских корней, русских лиц, русской красоты был как гвоздь для проповедника красоты вообще. Васнецов был попросту неприятен А. Бенуа, неприятен, как тихая зубная боль. Столкнуть двух атлантов – значит уронить обоих и само состарившееся небо тоже. «В. Васнецов, еще недавно всеобщий кумир, – спокойно рассуждает А. Бенуа, – художник очень крупный и интересный, также безусловно не может считаться за настоящего продолжателя Иванова».

А почему, кстати, Васнецов должен быть продолжателем Иванова? Но не это занимает критика, лоб об лоб, искры сыплются, читатель запоминает, что Васнецов хуже Иванова, значит, это художник не первейший. Но за Васнецовым остается слава народного, стало быть, надо и эту славу отнять.

«Васнецову ставили в заслугу его происхождение из народа, – олимпийски спокойно продолжает Бенуа далеко не олимпийские по духу рассуждения, – но нам кажется, что именно в следах этого происхождения, в очевидной некультурности этого, впрочем, очень умного художника – вся причина недолговечности его искусства. Разумеется, чисто народное искусство вечно, так как это живое слово огромного и значительного общественного организма... Менее драгоценно „полукультурное“ народное искусство. И, наконец,

наименее отрадны те произведения, в которых люди, вышедшие из народа, вкусившие несколько общей культуры, стараются это немногое связать с тем, что им удалось впитать во время своего первоначального воспитания. Получается искусство компромиссное, неясное...»

А теперь надо отнять Васнецова у молодежи: «Заслуга Васнецова, как пионера неоидализма, выступившего со своими опытами тогда еще, когда все его товарищи еще молились на Прудона и Чернышевского, заслуга его очень велика. Но художественно религиозное творчество Васнецова, так кстати явившееся в царствование Александра III в период официального славянофильства, в дни известного всем „возрождения“ русского православия – творчество это далеко не той художественной важности, которой оно еще недавно считалось почти всем нашим обществом. Как-никак, но это лишь удачная пародия на выработанные каноны древнерусской и византийской иконографии, к которым Васнецов без особенного художественного такта примешал довольно легковесный пафос и сказочную эффектность».

И еще один удар напоследок, очень болезненный, но хорошо замаскированный и опять-таки с противопоставлением теперь уже не Иванову, а Левитану: «Мыслями Васнецова не только воспользовался официальный мир, увидавший в нем вожделенного истинно русского национального художника, но и все, что было свежего и молодого в русском искусстве. Елочки „Аленушки“ вместе с „Весной“ Саврасова, с пейзажными фонами Сурикова – привели нас к Левитану». И далее следует панегирик Исааку Ильичу. Противопоставили, значит, разлучили.

Оценка творчества Васнецова, поднесенная публике в такой солидной упаковке, как сама «История искусства», стала сигналом для противников. Вот опус

под названием «Васнецов и японцы» некоего А. Ростиславова, напечатанный в 1905 году в журнале «Театр и искусство»: «Казалось бы странное, для многих, может быть, даже обидное сопоставление. Культ Васнецова очень велик: он все еще для многих выразитель „религиозных идеалов и верований русского народа“, „гениальный“ русский художник. С другой стороны, японская живопись, несмотря на ее общепризнанную огромную художественность, на несомненность ее крупнейшего влияния на все современное европейское искусство, многим кажется мало интересной, бессодержательной, чуть ли не примитивной. Многим кажется даже странным сравнивать вообще скромные японские „какемоно“ с нашими махинами в золотых рамах.

Увы! Заслуга Васнецова очень крупна, но и падение его, вернее, ярко теперь сказавшееся основное недоразумение его художества, также очень крупно. Васнецов дал почувствовать новую интересную область в русской живописи, дал толчок, открыл глаза русским художникам и публике, но сам остался бессилён, несмотря на всю талантливость... Не отрицаю известной декоративной „красивости“ его картин, но ведь это именно внешняя легкомысленная красота, столь далекая от истинной декоративной красоты древней иконописи... Одним словом, что-то безвкусно-эклектичное, не цельное, поверхностное и... глубоко некультурное в художественном отношении.

И вот именно в степени этой некультурности такой крупнейший контраст с живописью японцев».

А Дягилев? Что последовало за его молчаливой публикацией картин Васнецова в «Мире искусства»?

«Первая и наибольшая заслуга Сурикова, Репина и, главное, Васнецова в том, что они не убоялись быть сами собой, – писал С. Дягилев в рецензии на выставку Виктора Михайловича. – Их отношение к Западу было

вызывающе, и они первые заметили весь вред огульного восторга перед ним. Как смелые русские натуры, они вызвали Запад на бой и благодаря силе своего духа сломали прежнее оцепенение...»

Так ведь это похвала! Похвала, когда бы не была всего лишь молодецким замахом для оплеухи.

«Нельзя сказать, что Васнецов не любит Запад, – продолжает Дягилев, – но он боится его, не за себя боится, а за тех слабых, которых по его убеждению „загубит Запад“. В России долго не знали Запада, а теперь, последние годы, он лезет к нам и много непрошеного и продажного мутит наш взор. Но что же хуже? Что опаснее? Не знать или знать слишком много? Васнецов, не задумываясь, ответит: не знать...»

Вся эта модная критика своего добилась, оттеснила Васнецова от молодежи, хотя близкие по духу молодые художники и критики не оставляли Васнецова на растерзание мелкокусающейся братии, как могли защищали его.

«Сила искусства в том и заключается, что оно способно восстановить и оживить то, что угасло и поблекло, – писал П. Ге. – Ведь сумел же произвести это обновление старых преданий Пушкин в „Руслане и Людмиле“. Виктор Михайлович Васнецов в этом отношении сделал очень много для русского искусства».

«Редко с кем из художников поступала русская публика с такой непоследовательностью, как с Виктором Васнецовым, – защищал любимого мастера Николай Рерих. – Велика по своему значению для русской живописи проникновенность Васнецова в серую красоту русской природы, важно для нас создание Аленушки, и дорого мне было однажды слышать от самого В. М., что для него Аленушка – одна из самых душевных вещей.

Именно такими задушевными вещами проторил В. Васнецов великий русский путь, которым теперь идут многие художники».

«Васнецов создал школу. Теперь это ясно», – утверждал Сергей Маковский.

«Твоя позиция насчет Виктора Васнецова правильная, – писал Нестеров Турыгину в декабре 1916 года. – Это художник – и большой. Если бы он написал только „Аленушку“, „Каменный век“ и алтарь Владимирского собора – то и этого было бы достаточно для того, чтобы занять почетную страницу в истории русского искусства. Десятки русских художников берут свое начало из национального источника – таланта Виктора Васнецова. Не чувствовать это – значит быть или нечутким вообще к русскому самобытному художеству, или хуже того – быть недобросовестным по отношению своего народа, его лучших свойств, коих выразителем и есть В. Васнецов, может быть, грешный лишь в том, что мало учился и слишком расточительно обращался со своим огромным дарованием».

Критика, ниспровергая застарелые авторитеты, что только не наговаривала на Васнецова. Но весь этот азартный водоворот словес, похожий на морские приливы и отливы, не мог поколебать вечный материк, носящий имя «Васнецов». Зрителям уже казалось, что «Богатырь на распутье» и «Три богатыря», «Аленушка» и «Иван Царевич на Сером Волке», «Три царевны», «После побоища» – были всегда, не могли не быть. Такова иллюзия классики.

Такой же всегда существовавшей стала и новая картина «Баян». Она была показана художником в 1910 году. Ее тоже лихо критиковали, а Нестеров так даже намекнул о закате художника. «В „Баяне“, быть может, впервые обнаружилось, что прежнего Васнецова мы больше не увидим». Но у новой картины нашлись и восторженные зрители. В дневнике поэта Брюсова

читаем: «В Москве опять был Бунин. Заходил ко мне. Потом я был у него в каких-то странных допотопных меблированных комнатах с допотопными услужающими. Бунин только что вернулся с Михеевым от Васнецова. Восторгались оба безумно его новой картиной „Баян“». Как это ни горько, но Нестеров, углядевший в песенной, в жизнеутверждающей картине надлом художественной силы мастера, оказался прозорливцем.

«Баян» – последний заверченный холст Васнецова. Были еще «Песня о Сальгаре», «Один в поле воин», портреты Двинянинова и Успенского, этюды, наброски, симфония из семи сказок... Но прежнего Васнецова, как и предсказал Нестеров, уже не увидели.

В какие бы художник ни рядился одежды, из корысти, по малодушию, по самой невозможности выжить иначе, талант – этот природный движитель будущего – остается верен самому себе, со всей непреклонностью отгораживаясь от суеты сует. Как его ни корежь, как ни перекрашивай, он за себя стоит, обрекая хозяина на всяческие неудобства и лишения. Но ведь есть еще усталость от невероятных объемов труда. Усталость и старость. И случается, обвисают даже великие крылья, потому что сам-то человек, носитель и потребитель таланта, никогда и не желал летать – несло против воли к бурям, к солнцу.

Вот и получается, что взгляды художника на общественное развитие, политические симпатии и антипатии есть живая или мертвая вода творчества.

В революцию 1905 года два академика демонстративно сняли с себя академические звания. Во-первых, Серов, заступившийся за революционно настроенных студентов, во-вторых, Васнецов, который тех же студентов осудил. Студенты устроили митинг в залах, где размещалась персональная выставка Васнецова.

«Насильственными действиями своими г.г. ученики доказали, во-первых, полное неуважение к свободе и правам личности, а во-вторых, что, на мой взгляд, еще прискорбнее – полное и совершенное неуважение к свободному искусству, которое, очевидно, уже не составляет главной их жизненной задачи и цели пребывания их в Академии. Не предъявляя ни к кому никаких обвинений по поводу такого печального положения дела, в виду общего ненормального духовного состояния нашего так называемого образованного общества и шаткости в нем нравственных основ, я тем не менее не предвижу возможности в скором будущем, чтобы учащаяся молодежь и ее руководители поняли, наконец, и по внутреннему убеждению подчинились единственно здравому принципу – что все учебные заведения предназначены только для науки и обучения, а никак не для занятий политикой, которая должна быть совершенно выведена из стен университетов, академий и прочих учебных заведений.

Так как Академия художеств есть высшее учреждение, предназначенное для развития и совершенствования искусства в России, и так как, при современном состоянии русского общества, она, очевидно, не может отвечать своему прямому назначению, то я считаю напрасным именовать себя членом учреждения, утратившего свой живой смысл».

Вот такой документ написан и подписан разгневанным Виктором Михайловичем.

Для творческого человека смысл существования в достижении вершины, которая всегда у него в будущем.

Видимо, такой вершиной была для Васнецова его сказочная симфония, но создание картин откладывалось. Заказы, заказы. Один другого ответственнее: храм в Варшаве, храм в Софии, образа для особ царской фамилии...

Приходило международное признание. То одна, то другая картина отправлялась на европейские выставки: в Италию, во Францию, в Швецию. Франция удостоила ордена Почетного легиона. От своего правительства получил генеральский чин статского советника. Духовная академия избрала в академики. Обеды у великих князей и просто князей, дружба с великими людьми.

Л мечтал о Рябове. Купил в Подмосковье небольшое имение и назвал Новым Рябовом. Здесь жили летом. Виктор Михайлович отдыхал работая. Ходил на этюды, которые в письмах к дочери называл плоховатыми. Не без насмешки над собой пускался в рассуждения: дескать, иные говорят, что чем плохие этюды писать, лучше ничего не писать, а по мне, мол, все-таки лучше плохие, чем ничего.

Это был ненавязчивый урок молодой художнице – не заноситься перед его величеством искусством. Искусство само решит, что плохо, что хорошо. Труд преодолевает неумелость, а вот душа без испытания неудачами на высокую гору может и не вознести...

Художнику нужна особая духовная прочность. Ведь его дорога в гору, а когда под гору – это уже не дорога, падение.

С февраля по март 1910 года в Историческом музее была развернута большая выставка религиозных работ Васнецова.

Не сторонился Виктор Михайлович и общественной жизни.

Участвовал в реставрации Московского Кремля. В 1913 году работал над проектом памятника патриарху Гермогену и архимандриту Дионисию. На барельефах предполагал изобразить героев 1612-го, 1613-го, 1812-го, 1380 годов. Памятник предназначался для Красной площади, и не о славе дома Романовых заботился художник, но о запечатленной красоте народного духа.



Подкрадывалась старость, только дел не убавлялось, и Васнецов все торопился, не поспевал, надрывался и не заметил, как дети выросли. Алексей учился в консерватории, Татьяна стала художницей, Михаил увлекался астрономией и математикой, Борис избрал военную стезю, но получил в мирное время тяжелое ранение. Владимир собирался на Байкал работать землеустроителем. И никто не ведал, что наступивший 1914 год – год войны.

А покуда был мир. Виктор Михайлович поехал на родину. Это было его последнее свидание с Вяткой с Рябовом.

«Там очень грустно и печально, – писал он жене, – даже план села изменился, только наш перестроенный дом да церковь остались... Сохранилась в огороде липа да рябина, я срезал на память ветки. Издали церковь и село очень навеяли старину. Места наши оказались горестнее, чем я помнил».

22 августа 1914 года пришло письмо от Ильи Ефимовича Репина.

«Могучий богатырь живописи Виктор Михайлович, – писал старый друг. – Как ты меня обрадовал. Вез колебаний, крепко держишь ты веру в свое дело и мужественно побеждаешь недоразумения. Еще недавно, в Музее А. III-го (Александра III, ныне Русский музей. – В. Б.) я с великим наслаждением провел время перед твоей картиной „Баян“.

Какая глубина в лицах! Какая психология! Воскресшая жизнь седой старины... Спасибо! Спасибо!

Но теперь только шептать можно: мир завален смертью и страданиями... Неужели кому-нибудь интересно золото?! А ведь все из-за него... Все грабежи. Будь здоров. Твой Илья».

В тот же день 22 августа Виктор Михайлович и Александра Владимировна проводили на войну сыновей, Михаила и Владимира.

Михаила направили в Одессу, и Виктор Михайлович ездил к нему. Сын командовал ротой, обучал новобранцев. Отец и сын побывали в Одесской обсерватории, и Виктор Михайлович по просьбе ее директора А. Я. Орлова сделал проект ворот для въезда.

Древние войны памятны победами. Война для современников – сплошное бедствие. Если что она и открывала, так это лазареты. Татьяна Викторовна оставила художественные занятия и пошла работать в лазарет.

Виктор Михайлович тоже поворотил к стене холсты со сказками. Хотел быть полезным стране. Оформил календарь, на котором изобразил битву Александра Невского с немцами. Написал две картины «Архангел Михаил» и «Один в поле воин». Рисовал плакаты, открытки. Сделал рисунок «Пересвет и Ослябя», начал картины «Святогор-богатырь» и «Куликовская битва».

А война все не кончалась. Под тяжестью ее кренились обветшалые своды российского царизма, да и рухнули, в пыли и прахе, в 1917-м...

Старая жизнь еще корчилась в судорогах, а новая, бушующая очистительными ливнями и грозами, уже зеленела над развалинами. Ей, этой новой жизни, искусство было дорого и необходимо. Председатель кружка любителей искусств при Московском Коммерческом училище Игорь Эммануилович Грабарь писал Виктору Михайловичу 11 декабря 1917 года: «На днях... был прочитан доклад на тему „Черты русской самобытности в произведениях В. М. Васнецова“... Члены кружка поручили Президиуму выразить Вам, уважаемый Виктор Михайлович, от имени нашей молодой организации горячий привет, чувства искреннего уважения и глубокой благодарности за все Вами содеянное во славу русского искусства».

Между тем быт становился все неустроенней. Совершенно обесценились деньги. Хлеб, продукты, дрова уже не покупались, а выменивались на вещи. Художникам совсем беда: исчезли собиратели картин. Одни бежали за рубежи революционного государства, другие были в стане его врагов, у новых же хозяев страны ни денег, ни палат.

Революция – испытание всех сил народных. Всем было трудно. Только для одних трудности – счастливейшее время великих созидательных перемен, а для других – крах жизни.

Интересное воспоминание о своем дяде оставил Всеволод Аполлинариевич Васнецов: «Уклад жизни в семье дяди был под стать его старорусскому облику и обстановке – несколько „домостроевский“. Ярких ламп не любили, и вечерами в комнатах бывало довольно мрачно. Перед тем, как сесть за стол, в строго установленное время, читалась молитва. За столом сидели молча. Молодежь должна была только есть, молчать, а закончив еду, поблагодарить и удалиться. Если кто-либо из сыновей опаздывал к столу, то, в назидание, мог остаться без обеда».

А вот о размолвке между Аполлинарием и Виктором по политическим мотивам: «Как-то раз за пасхальным столом дядя поднял бокал с красным вином и провозгласил тост за какое-то событие, незадолго перед тем происшедшее. Отец поставил свой бокал на стол и то же самое событие резко охарактеризовал как позорное для России.

Дядя назвал отца изменником и разбил свой бокал об пол».

Васнецову было за что не любить новые времена. Рухнула многолетним трудом устроенная жизнь. Был «генерал», а тут поначалу даже пайка не удостоился, этого нового «Станислава Первой степени», как выразился Нестеров. Скопленное «про черный день»

шло прахом, на добывание картошки, муки, дров. Имение в Новом Рябове отняли. Совсем еще недавно он был главою клана, степенным и даже величавым, но теперь и семья распадалась. 4 мая 1918 года Виктор Михайлович писал в Киев: «Дорогая Лёля! Милая Лёля! Как Вы живете? Как Вас бог хранит? Давно ничего не знаем о Вас и не слыхали – ох, какое тяжкое время! За Мишу нашего Вам, за его приют в страшные киевские дни, великая, самая душевная, сердечная благодарность! А что с ним теперь? Ничего не знаем, посылали много писем и никакого ответа. Этому, конечно, нечего удивляться при великом хаосе, который царит у нас вовсю и сменяется владычеством за владычеством, украинцы, немцы, большевики... – великая социал-пугачевщина! Ждем не дождемся вестей из Евпатории, куда из Киева переехал Миша, где у них была авиаторская школа».

При очень смутном понимании, что же это такое – Октябрь, трудно было ожидать от старого художника, гордого своей преданностью старому, скорой перемены в отношении к Советской власти. Все названные выше причины не были главными. Главной причиной неприятия новой жизни были взгляды на искусство. Высшим для себя в искусстве Васнецов почитал свою работу для церквей и соборов, теперь же церковное искусство ни во что не ставили. Более того, церкви подвергались разорению и уничтожению. Пришла вест из Владимира, где скатанные в рулоны, разорванные, размокшие, пропадали его холсты для церкви в Гусь-Хрустальном.

Туча беды нависла над масляной живописью Владимирского собора, который зимой теперь не отапливался.

Васнецову и Нестерову пришлось написать множество писем в разные инстанции, доказывая ценность росписей.

Советская власть не была глуха к требованиям художников. Анатолий Васильевич Луначарский писал о церковных работах Васнецова: «Когда религия умрет, тогда особой красотой засияет та живописная сказка, которую создал Васнецов из ее мотивов».

Воздух уже был полосат: то теплая волна, то обжигающе бодрая, то чистая, как родник, то все еще зимняя, дымная, пахнувшая горячими печными кирпичами.

Сторож Антон, открывший калитку во двор, не вписывался в весеннюю отраду: в валенках, в шубе, шея из воротника, как у черепахи, тощенькая, складки кожи висят.

- Здравствуйте, Аполлинарий Михайлович!

- Не разбудил? Я - чуть свет.

- Живем по-куриному. Встаем рано, ложимся рано. Лампу жечь - керосина нет.

Аполлинария Михайловича слова сторожа не совсем успокоили, стоял посреди дворика, смущенный ранним своим появлением.

- Виктор Михайлович в саду, картины рисует, - сказал Антон.

Аполлинарий Михайлович обрадовался, пошел по дорожке, вокруг дома, и сразу же увидел брата.

Виктор стоял у мольберта среди старых корявых яблонь. Стоял неподвижно, и Аполлинарий тоже замер, взволнованный и смущенный.

Виктор стоял, запрокинув голову, подставляя лицо солнцу. Серебряно-рыжая борода светилась, светились легкие волосы, само лицо светилось.

Аполлинарий повернулся, чтобы уйти - он пришел к брату не с веселым, - но Виктор услышал шорох песчинок на дорожке и окликнул:

- Куда же ты? - и когда Аполлинарий подошел, сказал, улыбаясь: - А я почему-то знал, что ты придешь сегодня. Смотри! - указал на другой мольберт. - Это я

для тебя приготовил. Тряхнем-ка, брат, старинушкой. Ведь что бы в мире ни свершалось, мы – художники.

– Были художники, – сказал Аполлинарий.

– И были, и есть, и во веки веков...

– Вот, почитай, – Аполлинарий протянул брату листок бумаги.

Прочитал.

– «Предлагаю вам явиться ко мне 14 марта с/г в 1 час дня по указанному адресу. Явка по поводу передачи вам ваших картин. В случае неявки будет составлен акт. Комендант Зиновьев».

– Кто это? Что это? – сердясь, спросил Виктор Михайлович.

– Комендант ВХУТЕМАСа...

– Да начхать тебе на него!

– Я грипповал все эти дни... А они свалили кучей мое бесценное творчество па пару телег и привезли к дому: забирайте барахлишко, Аполлинарий Михайлович. Ваша мастерская пойдет под общежитие. Но врут! Мою мастерскую занял некий футурист. Их теперь множество, отрекшихся от старого мира, без корней, души и понятия о мастерстве.

Виктор Михайлович взял кисть и дал Аполлинарию.

– Становись к мольберту, пиши. Весна перед тобой. Аполлинарий кисть взял.

– Виктор, я не просто старый художник, я даже академик старый. Восемнадцать лет пейзажному классу отдал. И, кажется, был не из худших учителей: Корин, Мешков, оба Герасимовых, Иогансон, Татевосян, Яковлев, Исупов, рыжий Яковлев, Лысенко, Сырнев... Хорошие все мастера. И – выкинули. В прямом смысле – выкинули....

– Пиши. Зелененькие листики писать – дело нехитрое. Ты вот этакую весну ухвати. Она вся еще в почках, по – весна!

Аполлинарий взял с палитры брата краски, коснулся картона.

Взял наконец палитру. Работали молча.

- Рассказать тебе, чем мой Всеволод однажды занимался, когда службу проходил? Подняли их поутру, вооружили лестницами, клещами, плоскогубцами. Оказалось, новоявленные гении за ночь присвоили свои незабвенные имена множеству улиц и переулков. Всеволод одну вывеску домой принес: «Улица имажиниста Александра Кусикова». Так-то, брат!

- Никаких Кусиковых не будет. А вот улицу братьев Васнецовых я тебе обещаю... Так что, пиши, Аполлинарий, пиши весну. Старики о весне знают больше молодых. Пиши, художник, пиши!

Аполлинарий потянулся обнять брата, потому что ощутил в себе великое сиротство. Ведь они, два старика, может, последние художники в этом мире, отвернувшись от былых ценностей. Но сдержался, сказал буднично:

- Я вчера с новыми зодчими не на жизнь бился. И никому ничего не доказал. Собираются такими домами Москву застраивать, хоть плачь. Что-то серое, безликое.

- Безликие дома - безликие города, безликие города - бездуховные люди.

- Вот и я про то же. А они от меня, как от мухи. У них - Корбюзье. Ишь как - Корбюзье!

- Аполлинарий, значит, кому-то нужно, чтоб люди стали бездуховными овцами.

- Но кому? Мы в молодости с тем же Пашкой Халтуриным, с братом Степана, о другом мечтали.

- Миром правит выгода. Кому-то выгодно, чтоб красавица Москва стала плоской, как камбала... Пиши, художник! Смотри, как облако-то просияло. Пиши!

Вместе с летом ушло тепло. В тереме и в благополучные времена зимой жарко не было, это когда дрова были свои, их возили из Нового Рябова. Виктору

Михайловичу иногда казалось, что дом сердит на хозяина. Ему неуютно стало от своей красоты, от величия, и он, негодуя, нарочно поддается ветрам и морозам. Дом перестал быть крепостью от бурь.

Но вопреки всему – ненужности своей, отсутствию спроса на картины, старости, холоду, голоду, плохим краскам – художник каждое утро поднимался в мастерскую и хоть час, да писал.

Он посмотрел на свои замерзшие руки. Сквозь синеву посвечивала бледная желтизна старости. Сжал пальцы в кулаки, почувствовал, как послушно, железно напряглись мышцы. Сила не убывала. Стало вдруг весело. Подмигнул своей «компании».

Добрыня Никитич исхитрился хватить мечом по змеиной башке. Сказка.

Царевна в изумрудном уснувшем царстве глядела сны про принца-спасителя. Сказка.

Ванька-молодец скакнул на Сивке-Бурке до заветного окошка, где царская дочь стоящего жениха выбирает. Сказка.

– Старикам сказки надо сказывать. Вот и сказываем...

Померещилось, что у царевны, летящей на ковре-самолете, глаз нехорошо косит.

Подышал на руки, спрятал пальцы под мышки, опять на них подышал. Взял кисть, палитру. А краски-то нужной нет! Пятнышко от краски. Все же и с пятнышка попробовал собрать хоть сколько-то.

Подошел к картине. Прицелился. Ошибиться было никак нельзя.

– Не хуже хирурга...

Тронул картину и тотчас бросил и кисть, и палитру.

Запахнул шубу, надел шапку, рукавицы. Ишь какая разумная жизнь! Холодно, зато одеваться не надо. И одет, и обут.

Сердито грохнув дверью, пошел вниз.



- Далеко? - спросила Александра Владимировна.

- За дровами! Я же ведь не простыня все-таки! Меня вымораживать не обязательно.

Хлопнул входной дверью. А на улице пожалел о своей сердитости. Ни за что ни про что Шуру обидел. Ей ведь семьдесят три! Вот какие годы-то теперь у них. И для таких-то лет такое время.

Москва была в инее, в пресветлых жемчугах зимы.

Он пошел, пошел и тотчас по привычке - полетел, не ведая на ходу свои семьдесят пять.

Думал о Толстом. Нестеров в друзьях у великого старца был, а вот Васнецов пришелся не ко двору. В самый расцвет «толстовства» сошлись пути. А «толстовство» - такая же ложь, как все прочие лжи. Правдовидец, правдоборец, Лев Николаевич на свое-то был слеп, как и все смертные... А ведь - гений. Без намека на оговорку. Гений! Как он умел объять человечество. И войну, и мир, а большего-то и нет в человечестве.

Что-то затрещало, загрохотало, рушась, валясь, в скрипах и столах. Отпрянул, а потом только увидел - забор уронили. И как саранча - ломают, тащат, бегут!

Повернулся, сгорбился - и домой. Увидел обломок доски... Остановился, поднял. Еще обломок. Опять поднял.

- Эй, буржуй! - окликнули его. - Чего побираешься? Ты липы свои спили.

Поглядел на крикнувшего. Молодой парень, в шинельке, зубы скалит, а сам худой, желтый.

- Они живые, липы. Они как мы с тобой.

- Буржуй ты и есть буржуй. Липы пожалел. Главное, чтоб революция жила. Понял? А ты художества свои разводишь.

Парень убежал, таща большую добычу.

Посмотрел вослед ему: лицо у парня было умное, сообразит когда-нибудь и про живые липы, и про

художества.

Он вышел к ужину последним, но, как всегда, минута в минуту. Все ждали его. И это было ему приятно. Весь мир полетел к чертовой бабушке, а в его дому покуда все на своих местах.

Рядом с дедом па высоком стуле – внук Витя. Далее молодежь. Дочь, племянники, племянницы. Прибыли Москву завоевывать. А Москва в топку летит... Впрочем, последнее – старческое брюзжание.

Варево было изобретено из чего-то невообразимого, но ели молча, как и принято было в этом доме. И вдруг – колокольчик.

Татьяна, дочь, пошла узнать, кто и почему.

– К тебе, папа! На автомобиле!

– Пусть ждут! Ждут! – сказал громко, чтоб те, в прихожей, слышали, знали...

С минуту посидел, но... встал. Глянул на Александру Владимировну.

– Мама, накрахмаленную рубашку... Ну, и сама знаешь. Полный парад. Пусть видят, что это такое – художник. Нынешние – в охламонов рядятся. А это охламонство с одежды-то на картины перекидывается. Диалектика. Это, что ли, у вас теперь любимое словечко? – сердито посверлил глазами свою молодежь.

Ушел к себе и уже через две-три минуты был одет, причесан и куда как величав.

Его привезли на какой-то Совет, показали нечто кубическое, нечто, по мнению авторов, совершенно такое, чего никогда до них не бывало.

– Бывало, – сказал он. – Ну, что тут смотреть? Да и о чем разговоры разговаривать? Коли прежнее на помойку истории, значит, – вы первые, как Адам и Ева. Только вот не поворачивается язык сказать вам: плодитесь и размножайтесь.

Он хотел уйти, но его слушали, и он еще сказал:

- Я старый человек, однако память мне не изменяет. Все ваши новшества уже в самом начале века были. Меня один биограф донимал, что я думаю и о том и о сем. Вот об этом, - пальцем указал на иссеченное кубиками лицо, - я писал ему: горьки плоды нашего европейского просвещения! Все это - помрачение русских умов. Исполать всякому, кто хоть пальцем пошевелит, чтоб помешать расползанию этих лишаев. А они расползлись-таки. Вот они - лишаи художества!

Домой вернулся веселый, помолодевший.

- Мама, я-то их и в хвост и в гриву! А они, знаешь, что? Собираются мне правительственную пенсию выхлопотать. Ибо, говорят: достоин по художеству моему.

Уже глубокой ночью он сел писать письмо сыну Михаилу.

«23 декабря 1923 г.

(...) Работаю все над старыми картинами. Думаешь, что совсем кончил, а когда раскроешь картину, то тут, то здесь опять поправки, и так без конца. Придется, вероятно, насильственно поставить точку.

Хотелось бы новую картину начать, да холста нет и красок хороших нет. А у меня и эскизы уже готовы, напр. - „Микула Селянинович“ и др. Да вот когда дойдут руки? - не знаю!

...В последнее время я перечитываю „Войну и мир“ (Льва Николаевича) - произведение великое! Многое мне стало понятнее и яснее. Великая эпопея русского народа!..»

Терем в Троицком переулке был похож на музыкальную шкатулку. По четвергам сюда приезжали блеснуть виртуозной игрой известные всей Москве музыканты, пели знаменитые певцы, и Федор Иванович Шаляпин тоже бывал. Но прогремели выстрелы на площадях, на самых благополучных улицах, и словно бы некто вычеркнул из календаря и четверг, и все другие

дни тоже. Жизнь пошла на часы, терем умолк. Обитателям его казалось, что оборвалось само время.

А мир не умолкал. Гремела медью новая напористая музыка. Птицы по весне возвращались в старый яблоневый сад. И девочки, вчерашние гадкие утята, обретали лебединую стать. И однажды, когда каждая веточка в саду сияла от птичьих звонов, хозяин терема, старик, суровостью похожий на вулкан, подсел к пианино и сыграл мелодию, простенькую, как пастушок. Мелодия кончилась, но он еще раз сыграл ее, еще, еще.

И в терем вернулась музыка. А тут еще из Вятки приехал сын старшего, давно уже покойного брата, Аркадий Николаевич.

- Твоя виолончель без тебя сиротствует, - за вечерним столом сказал ему Виктор Михайлович. - Сыграй нам.

Виолончель растрогала старика до слез. Молодежь заметила это, заговорщицки перекинулась шепотком, и когда виолончель умолкла, Дмитрий и Людмила - дети Аркадия, Надя - дочь Александра, и свои - Татьяна и Владимир - запели издавна любимое: «Улетай на крыльях ветра...»

Пришел Аполлинарий Михайлович. И уже все вместе, молодые и старшие, спели «В старину живали деды» и вятские, деревенские.

- А я помню, - сказала Людмила, - как вы, дядя Виктор, с папой плясали и пели по-рябовски. Вот весело-то было.

- И я тот день помню! - обрадовался Виктор Михайлович. - Это мы, наверное, в 14-м году приезжали... А может, и раньше. Теперь все слилось в одно и распалось надвое - прежнее время и нынешнее. Вроде бы я тогда был увлечен проектом памятника для Красной площади. Хотел увековечить двух великих людей, о которых нынешнее племя знать не знает и уж, видимо, и знать не будет да и не захочет... О патриархе

Гермогене, погибшем за Русь-матушку, где бы вы думали, в кремлевском застенке. От поляков претерпел. И о сподвижнике его, архиепископе Дионисии.

- Возблагодари небо за несбывшееся, - сказал Аполлинарий.

- Чего ради? - удивился Виктор Михайлович.

- Сколько бы ты сил на памятник ухлопал, а нынче его уж и не было бы: взорвали, распилили, раскололи.

- Не посмели бы!

- Виктор, ныне уж начали поговаривать о том, не смахнуть ли храм Христа Спасителя, не фукнуть ли динамитом Василия Блаженного: Красную площадь куполами порочит.

- Если все это... произойдет, - Виктор Михайлович осунулся вдруг, и стало видно, как он стар, как он глубоко стар, их богатырь. - Не сделают... Ну а сделают - обнищают. И вот, когда с рукой пойдут по миру, - духовное нищенство телесного много страшнее! - вот когда по Руси-то зарыщут, в поисках уж не церковей, а камня разоренного - тогда и вспомнят все... Ну, да мы с тобою, Аполлинарий, до разора не доживем... Не позволят русские люди разорить дом свой! Это ведь красота! Наша, незаемная.

- Мало ли, Виктор, красоты по белу свету изведено?! Рим, Греция, Византия - все, что мы знаем, - осколки...

- Осколки, - согласился Виктор Михайлович. - Что далеко ходить, набежавшая в Россию немчура - исконное русское благолепие до того исказила, что мы о нем до последнего даже и не ведали. Катька-немка из московских соборов повыкидывала иконостасы с Дионисием, с Рублевым. И никто не взволновался. А ведь то, древнее искусство, нашему не чета.

- Зачем вы свое принижаете, Виктор Михайлович? - не согласился с дядей виолончелист Аркадий. - Разве ваши киевские росписи не вершина духовной живописи?

- Нет, не вершина! Ах, коли бы я знал в те поры истинную русскую икону! Незнание - тоже порок. Я, расписывая Владимирский собор, по наивности думал, что возвращаю миру утерянную красоту наших предков. А на самом деле все это было измышление моего ума. Русская икона была иной. И красота ее - немеркнущая - осталась мне недоступной. Разве я так бы расписал собор, зная творения Ферапонтова монастыря? Но - дело сделано и время мое ушло... Иной раз и теперь бывает, погоржусь собой: чего скромничать? Красота собора - не феофановская, не рафаэлевская или какого иного гения Возрождения, - моя красота, васнецовская. Этого уж никуда не денешь, не спрячешь. А другой раз подумаю - страшно: махина-то вся эта великое мне наказание за великую мою гордыню.

Виктор Михайлович встал.

- Вы поиграйте еще, попойте. А мы с Аполлинарием пойдем подышим.

У крыльца в вечернем неверном свете, как соты драгоценного минерала, светилась сирень.

- Вот и вспомнишь Врубеля, - сказал Виктор Михайлович.

Они сошли по ступеням в сад и, до нежности чувствуя братскую близость, молча пошли по темной, насупившейся липовой аллее. Сели на лавочку.

- Я картину задумал, - сказал Аполлинарий. - Эта будет - последняя...

- Да, - вздохнул Виктор, - такие ужасные слова, а уже не пугаешься. Что же ты задумал?

- Вечер... Зеленый, молодой от зелени парк. Деревце, поддавшееся ветру. В движении, в жизни. Пруд. Усадьба без признаков жизни. Старик на каменной скамье. Седой, согбенный, погруженный в свое прошлое... «Баллады Шопена» - назову.

- Не красивенько ли? Аполлинарий пожал плечами.

- Все будет просто. Простота не позволит уронить искусство.

Виктор Михайлович вдруг взял брата за руку. - То, что ты говорил о Василии Блаженном, о храме Христа Спасителя... Может ли это быть?

- Может, - сказал Аполлинарий.

- Этого не будет! - яростно крикнул Виктор. - Репин, говорят, возвращается. Мы не позволим... Аполлинарий, пока мы живы, этого нельзя позволить. Тут о себе и думать даже не надо... Я-то, брат, совсем уж... не тот. Но если ты даже один останешься, не отступай.

Тихо, радуясь теплу, пели в канавах лягушки...

Аполлинарий Михайлович не отступил.

В 1929 году общество «Старая Москва», которое в одиночку боролось за сохранение исторических памятников, было распущено.

В книге «Страницы прошлого» Всеволод Аполлинариевич Васнецов приводит черновик письма, которое Аполлинарий Михайлович отправил в 1930 году в газету «Известия». Речь шла о сохранении храма Христа Спасителя.

«Этот памятник - народное достояние огромной материальной стоимости, - читаем мы в сохранившемся документе, - над которым работали более пятидесяти лет, представляет несомненную художественную ценность. На его стенах мы видим работы таких известных художников, как Суриков, Семирадский, Марков, Сорокин, Савицкий, В. Маковский, и других. Кроме того, масса скульптурных изображений, украшающих его наружные стены и бронзовые двери, также сработаны известными в то время скульпторами. Помимо того, прекрасной тщательной работы мраморная облицовка стен внутри храма стоит того, чтобы ее сохранить как техническую и художественную ценность.

Не прибегая к сносу памятника и жилых домов, для постройки Дворца имеется прекрасная местность: ближайшая часть Ленинских (Воробьевых) гор, примыкающая к городу...

Величественное здание Дворца Советов на... Воробьевской возвышенности, окруженное садами: Нескучным и огромным парком Воробьевых гор, будет отовсюду видно и еще усилит мнение о Москве как о красивейшем городе Европы».

К мудрым доводам великого знатока древней Москвы Аполлинария Михайловича Васнецова не прислушались. Уничтожение памятников старины продолжается и в наши дни.

В начале мая 1926 года на выставке АХРР, где очень хорошо были представлены Архипов и Кустодиев, встретились Виктор Михайлович и Михаил Васильевич. Обрадовались друг другу и договорились написать портреты. Васнецов – Нестерова, Нестеров – Васнецова.

Они сидели, взглядывая друг на друга быстро, остро, и потом улыбались, покачивая головами. То, что они писали теперь портреты, было и прощением всех вольных, невольных обид, но ведь и состязанием. И былая молодость вскипала в их сердцах, и дело спорилось.

- Ты знаешь, что обо мне Чистяков-то говорил? – спросил Виктор Михайлович.

- Он много успел наговорить.

- Ну, обо мне так сказанул, что и через сто лет не забудут. Были, дескать, у него два ученика: Васнецов – не допекся, а Савинский – перепекся. Так что, Михаил Васильевич, коли у меня не получится – не обессудь, я из недоделанных.

В огромной мастерской было чисто, светло и тихо.

- Люблю свежевывмытые полы, – сказал Нестеров.

- Племянница постаралась.

- Хорошо у тебя. Как под волшебной шапкой.



- Под какой такой шапкой?

- Ну, не знаю, под какой. Словно, говорю, заповедное царство. За стенами великая буря, а здесь ни одна вещь с места не сошла.

- Это правда, - сказал Васнецов. Он отложил кисть и палитру, подошел к картине «Сивка-Бурка». - Небось осуждаешь... Жидковато! Сам знаю, что жидковато, да написалось эдак, и никак иначе.

На большой картине было слишком много легкого пространства: небо, терем, белый конь.

- Хитрым критикам иносказание подавай! Без иносказания уже вроде бы и картина не картина.

- А разве Баба Яга твоя не иносказание?

- Да нет же... У меня все в чистом виде, Баба Яга так Баба Яга. Погляди на «Царевну-Лягушку» - эвон как лебеди-то вверху летят, танцу вторят. Хорошо ведь летят, Михаил Васильевич? А плясунья-то! Истинная царевна.

- С Царевной-Лягушкой согласен. Это картина Васнецова.

- Они все мои... Мы с Горьким хорошо на сказках душу отвели. Горький меня понял. Тут вот на диване... он усы свои поглаживал, а я бороду. До чего же сладко с иным человеком беседуется... Вот говорят - сказка, детишкам на сон грядущий. А хотя бы и так! Только из снов-то этих и является на божий свет и душа народа, и ласка его, и хитрость, и вздох по несбыточному. В сказке - вся наша жизнь, ум, совесть...

- И бессовестность.

- И бессовестность, Михаил Васильевич! Правильно. На махинку мою погляди - сказка о спящей царевне, об уснувшем царстве. Что это, нелепица? Игра фантазии, никому не нужной?

- Ну а что же все-таки?

- Не знаю.

- Как же так?!

- Так вот, Михаил Васильевич. Может, мальчик-то какой-нибудь придет к моей картине, поглядит и расколдует. Всех нас расколдует.

- Почему же мальчик?

- Принцесса ведь! Для мальчиков принцессы очень даже притягательны.

- А не та ли в сказке мысль: беспробудный сон - это оберег всего нежного и прекрасного, что есть в народе, красота про запас, ради светлых грядущих дней?

- Вот видишь? Видишь, как ты хорошо придумал! А ведь не вьюноша. Значит, и нам с тобою, людям много прожившим, сказка все-таки нужна.

Виктор Михайлович сел было, но тотчас привскочил, тыча пальцем в усача в картине «Царевна Несмеяна».

- Видишь Катара?! Сюда я его поместил, пусть тут теперь живет. Помнишь, как подкручивал свои усишки - настоящий польский круль... Ах, Вильгельм Александрович, как ты теперь живешь-можешь? Ведь и ему семьдесят пять.

- А где он? Я его совсем из виду потерял.

- В Киеве. Он так и жил в мебелирашках. А дом этот всем властям нравился. И у красных там был штаб, и у белых. Белые-то и приняли старика за шпиона, чуть не кокнули. Сбежал к Эмилии Львовне, да так и остался у них. Лёля его пожалела, золотая наша девочка.

И прикусил язык. Вылетела из головы давняя история. Нестеров с Лёлей чуть было под венец не пошли, да расстроилось дело. Васнецов считал, что к лучшему.

- Ничего, Виктор Михайлович, - сказал просто Нестеров. - У меня к Лёле доброе отношение... Ты про сказки свои говорил.

- Да! Вот они семь сказок - симфония. Я для нее выбирал, Михаил Васильевич, вечные темы. Вечно будут биться богатыри со змеюгами, вечно будут летать на коврах-самолетах царевны с царевичами. Скажешь,

какой он розовый сироп развел, как сладко. – Нежно погладил новый «Ковер-самолет». – А по-моему, только розово... Цвета юности, девичьи цвета. А вот он Кашей. Народ о вечности больше нашего думает. Знаешь, Михаил Васильевич, я кое-что понимать начинаю в новой жизни. Сам себе сопротивляюсь, но ведь не все же у них плохо. Очень много хорошего делается. Людей вот принялись учить. Всех без разбору... Да ты скажи, отчего мы с тобою здесь, а не во франциях, не в америках, как иные, и даже не в финляндиях?

– Вот ты и скажи, отчего.

– Да, оттого, что не говны! Красными флагами не помахивали, но и русскую землю не променяли. Ей не сладко, и нам не сладко!

Нестеров любовался неистовым стариком. Патриарх: седовлас, строен, как юноша, глаза сверкают.

– Ты слушаешь, Михаил Васильевич? Мы многим недовольны, ворчим, зубами, бывает, поскрипываем, но ярмо-то пало! Народ, кровь наша, ум наш, наша судьба – скинул ярмо и трость, которая столько веков охаживала простолюдина по спине, о господскую спину – да в мочало! в мочало!

– Ты красный у нас совсем!

– Я – старый, а все же не из таких, как Костя Коровин, как... Э! Чего их поминать-то!

Михаил Васильевич стал вдруг остреньким, лицом, бородкой, глаза выпуклые и те вытянулись вопросительными знаками.

– Ну, ладно! Мы ведь о сказках говорили! Скажи, Виктор Михайлович, положи руку на сердце, а не схоронился ли ты за сказку от жизни-то?

Васнецов крикнул, набычил голову.

– Хороший вопрос, – сказал, ударяя на «о». – Хороший. Отвечу. И отвечу вопросом же. Куда было после Владимирского собора выше? Ку-да? Купчих писать? Государственный совет? После бога-то?! Выше бога нет,

ибо это мечта всечеловеческая о всечеловеческом покое для земли и неба. Выше нет! Но есть нечто, что стоит вровень. Это, брат, сказка.

Они замолчали, поглядели на свои работы и принялись за дело горячо, посапывая, стараясь, как упрямые ребята.

- Пошли чай пить, Михаил Васильевич, - сказал наконец Васнецов, не без удовольствия оглядывая свою работу.

- Домой уж пора.

- Чайку-то давай выпьем. Как знать, много ли у нас впереди дней, а то ведь и часов.

Нестеров портрет Васнецова закончил в декабре 1925 года, а вот Виктор Михайлович свою работу оставил из-за холода. Сыну Михаилу, жившему в Праге, он писал о нестеровской работе: «О сходстве я сам говорить не могу: но, говорят, похож. Написан у меня в мастерской на фоне старых икон, так что, пожалуй, можно принять за торговца стар(ыми) иконами вроде Салина».

14 июля 1926 года Нестеров сообщил С. Н. Дурылину: «Портрет с меня почти написан. Сходство, кажется, большое, но то, что поставил себе художник (написать автора „Варфоломея“ и проч.) - задача не из легких. Кто портрет видел (из близких Виктора Михайловича) - находят его удачным. Нравится он и мне... Но годы берут свое... В чем, полагаю, я не ошибаюсь, это в том, что в портрете нет ничего вульгарного, дешевого, но и то сказать, что написан он Виктором Васнецовым, написавшим „Аленушку“, „Каменный век“, создавшим алтарь Владимирского собора! Это все к чему-то обязывает и от чего-то страхует».

А 26 июля С. Н. Дурылину ушло еще одно письмо.

«Сегодня отвечаю лишь несколькими строками: 23 июля в 11 часов вечера скончался Виктор Михайлович

Васнецов! Помолитесь о душе его.

Васнецова не стало. Ушел из мира огромный талант. Большая народная душа.

Не фраза – Васнецова Россия будет помнить как лучшего из своих сынов, ее любившего горячо, трогательно, нежно.

Ваше и последующее поколение ему недодало в оценке, оно его не было уже способно чувствовать.

Виктор Михайлович умер мгновенно. Еще за час до кончины он бодро говорил с бывшими у него об искусстве, о моем портрете. Причем назвал его последним своим портретом».

Нестеров, последний из великих русских художников XIX столетия, принял на себя миссию летописца. Он считал, что и завершающий акт жизни Виктора Васнецова должен дойти до потомков со всею точностью и правдой, «Вот похоронили и Васнецова! Не стало большою художника, ушел мудрый человек.

Верю я, что немного пройдет лет, как затоскует русский человек, его душа по Васнецову, как тоскует душа эта по многому и многому, чего не умела ни видеть, ни понять. Ушел из немногих, горячо любивших Россию, ее народ, умевших в образах показать ее героев, всю сложность души того странного парода.

Однако попробую передать Вам то, что видел и пережил с 24 по 26 июля. Шли обычные и необычные панихиды. Приходили малоизвестные батюшки, пели импровизированные певчие...

Ночью тихо мерцали лампы, свечи. Тишина нарушалась мерным, значительным чтением псалтыря.

В воскресенье 25-го за панихидой было очень многолюдно...

В понедельник 26-го похороны. С 9 1/2 утра у дома много народа. Сейчас вынос в церковь Андриана и Наталии. Епископ прислал отказ „по болезни“. Лития... И гроб подняли сыновья и мы – художники...

Гроб поставили перед „Распятием“ – одной из самых последних работ Виктора Михайловича, подаренной своему приходу... Прекрасный хор, певший все время песнопения старых композиторов, Бортнянского и Турчанинова. Художников мало – они разъехались на лето... День жаркий, томительный. Однако путь этот прошли незаметно...

Щусевская умелая речь над могилой от Третьяковской галереи (депутация с венком) и от Археологического общества. Затем говорил Аполлинарий и кое-кто из публики.

Земля застучала о крышку, и скоро образовался холм, покрытый множеством цветов, с крестом, тоже покрытым цветами и венками...»

В газетах и журналах напечатали некрологи. «Являясь одним из пионеров переломного периода, – писал журнал „Жизнь искусства“, – В. М. Васнецов, имея подражателей, наметил развитие индивидуализма, эстетизма, ретроспективизма в будущей живописи, занявшей довольно большое место в русской живописи. Отсюда делается понятным, почему В. М. Васнецов остался совершенно в стороне от Октября и дальнейшего развития нашего строительства и до конца дней своих жил в мире неясных исторических грез».

В том же номере журнала читаем: «До Виктора Михайловича большие русские художники чурались декорационной живописи, смотря на нее как на „невысокий род искусства“. Васнецов покончил и с этим предрассудком, увлекши на поприще декорации плеяду талантливой художественной молодежи».

«В истории русской живописи его роль (Васнецова. – В.Б.) равноценна и равнозначаща роли Пушкина: он обрел живую красоту там, где иные не видели ничего, а другие находили лишь убожество, всяческую грубость и нищету». Так писал «Вестник знания».

О смерти великого русского художника сообщили «Известия», «Красная газета», «Красная панорама»...

В 1927 году в Москве состоялась большая посмертная выставка художника Виктора Михайловича Васнецова.

## ПОСЛЕДНЕЕ

Старый мастер схитрил. Он не отпустил от себя свои сказки, и они навек остались «неоконченными». Богатырским скоком скакнул «Сивка-Бурка», плывет по небесному тихому океану под тоненьким новым месяцем «Ковер-самолет», под гусли, под лебединый лет лебедем выступает Василиса Прекрасная, лягушечка-то квакушечка.

Только спящее царство не пробуждается, но ведь даже дыхание спящих слышно, все они живы. Вон как раскрылись губы у девочки, прилегшей на «Голубиную книгу», а медведь-то как похрапывает! Да ведь тут и лиса, и заяц. Воробышки на перилах. А вон они лебеди, сразу и не увидишь, головы под крыло попрятали. Башмачок упал с ножки принцессы. Никто и не кинется поднять его.

Ну, что ж, и баба-яга тут как тут. Через лес в ступе прет. Клыки жуткие, глаза убийцы, руки палача, а в руках этих – ребенок. Даже месяц кровав, как зародыш в яйце. Не заточил ли художник все зло, про какое знал, сюда, в этот холст, за темную раму?

Ах, как раздумалась Несмеяна! Чего ей веселиться, когда за царством ее явилось полчище выряженных в пух и прах мерзавцев? Как одолеть гадость человеческую? Мыслимо ли? И вот он, Добрыня Никитыч! Вместо неба – змей. Не жидок ли богатырь перед трехглавою-то злобой?.. Ладно, хоть конец сказки знаешь. Устоит. Одолеет.

Конечно, хорошо, что, памятуя о желании художника, картины его оставили в мастерской. Но ведь их дети наши должны видеть. Не те малые тысячи, что приходят в тихий переулок, в дом-терем, а



миллионы детей. Все дети нашей страны. Все! Поколение за поколением.

Я принес репродукцию «Богатырской заставы» шестилеткам.

– Что это за картина? – спросил я их.

Ребята начали поднимать руки, но я не торопился вызвать одного из них, и тогда они закричали:

– Три богатыря! Илья Муромец, Добрыня и Алеша!

– А кто написал картину? Кто художник?

Руки опустились, головы потупились, но один мальчишка, сияя глазами, потому что он знал, знал, вскочил и крикнул звонким голосом:

– Виктырь Васнецов!

Я посмотрел на него; и мне показалось, что тот, Виктырь из Рябова, был копия этого мальчика. Копия, потому что глазами торопился объять весь мир.

Тот, из Рябова, и объял, и выносил, и отдал за все доброе и великое, что есть в России и русских, отдал великим и добрым, что было в нем, до последнего своего сказания. Говорили про него его товарищи – «наше солнышко», вот и мы говорим: наше солнышко.

# **ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. М. ВАСНЕЦОВА**

1848 - 15 мая - родился в селе Лапьял Вятской губернии.

1858 - Поступил в Вятское духовное училище.

1867 - Не закончив семинарии, едет в Петербург, сдает экзамен в Академию художеств. Решив, что провалился, поступает в Школу общества поощрения художеств.

1868 - Зачислен штатным учеником Академии художеств.

1870 - Встреча с Чистяковым.

1874 - На 3-й выставке передвижников выставил картину «Чаепитие».

1875 - Оставляет Академию художеств.

1876 - Картина «С квартиры на квартиру». Поездка в Париж.

1877 - Участие на выставке Салона в Париже с картинами «Акробаты», «Чаепитие в трактире».

1878 - Возвращение в Петербург. Женитьба на Александре Владимировне Рязанцевой. Переезд в Москву.

1879 - Картина «Преферанс».

1879-1880 - Знакомство и сближение с домами П. М. Третьякова и С. И. Мамонтова.

1880 - Картина «После побоища».

1881 - «Аленушка». Начинает «Трех богатырей».

1881-1882 - Декорации и костюмы для домашнего театра С. И. Мамонтова к пьесе А. Н. Островского «Снегурочка».

1885-1886 - Декорации и костюмы к «Снегурочке» Римского-Корсакова для Частной оперы Мамонтова.

1882 - «Витязь на распутье».

1883-1885 - Фриз «Каменный век» для Исторического музея.

1885 - Переезд в Киев, работа во Владимирском соборе.

1889 - «Иван Царевич па Сером Волке».

1893 - Избран действительным членом Петербургской академии художеств.

1894 - Построен собственный дом в Москве по своему проекту.

1896 - Завершение работ в Киевском Владимирском соборе.

1897 - Картина «Царь Иван Васильевич Грозный».

1898 - Завершение «Богатырей».

1898-1911 - Эскизы мозаик и росписей церквей в Гусь-Хрустальном, Петербурге, Варшаве, Дармштадте и др.

1899 - Иллюстрации к «Песне о вещем Олеге» А. С. Пушкина. Персональная выставка в Академии художеств.

1900 - Знакомство с Горьким и Чеховым.

1900-1901 - Исполнил проекты фасада здания Третьяковской галереи и ряда других сооружений в Москве.

1905 - Отказ от академического звания.

1910 - «Баян».

1913 - Выставка в Историческом музее.

1918-1926 - «Симфония семи русских сказок».

1926 - Последняя работа - портрет М. В. Нестерова.

1926, 23 июля - Смерть от паралича сердца.

## КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Дедлов В. Л. Киевский Владимирский собор и его художественные творцы. М., 1901.

Головин Н. Виктор Васнецов. Его жизнь и деятельность. Спб. – М., 1905.

Успенский А. И. Виктор Михайлович Васнецов. М., 1906.

«Русские пословицы и поговорки в рисунках В. М. Васнецова». М., 1912.

Лобанов В. М. Виктор Васнецов в Абрамцеве. М., 1928.

Репин И. Е. Далекое близкое. М.—Л., 1960.

Крамской И. Н. Письма. В двух томах. Л. – М., 1937.

Головин А. Я. Встречи и воспоминания. Л. – М., 1940.

Нестеров М. Давние дни. Встречи и воспоминания. М., 1941.

Моргунов Н. и Моргунова-Рудницкая Н. Виктор Михайлович Васнецов. Жизнь и творчество. М., «Искусство», 1962.

Грабарь И. Э. «Каменный век». Монументально-декоративный фриз В. М. Васнецова в Государственном Историческом музее. М., 1956.

Всеволод Васнецов. Страницы прошлого. Л., «Художник РСФСР», 1976.

Лобанов В. Виктор Васнецов в Москве. М., «Московский рабочий», 1961.

Осокин В. Васнецов. М., «Молодая гвардия», 1958.

---

**notes**

## **Примечания**

**1**

Мазюня – толченая репа с патокой.

**2**

Передвижная и Академическая.

**З**

Картина В. Д. Поленова «Христос и грешница»  
(1887).



## 4

Дарья Давыдовна была няней Александра, но неизвестно, она или другая женщина была той «стряпухой», которую добрым словом поминал Виктор Михайлович, почему-то не назвав ее имени.

# 5

Друммондов свет - водородно-кислородный свет, применялся в маяках, для освещения улиц, театров, во время осад. Свет необычайно яркий. Его получали от нагревания конуса из мела в пламени гремучего газа.